Борис Леонидович Пастернак
Стихотворения и поэмы

Начальная пора
(1912—1914)

Февраль. Достать чернил и плакать!

Февраль. Достать чернил и плакать!
Писать о феврале навзрыд,
Пока грохочущая слякоть
Весною черною горит.

Достать пролетку. За шесть гривен,
Чрез благовест, чрез клик колес,
Перенестись туда, где ливень
Еще шумней чернил и слез.

Где, как обугленные груши,
С деревьев тысячи грачей
Сорвутся в лужи и обрушат
Сухую грусть на дно очей.

Под ней проталины чернеют,
И ветер криками изрыт,
И чем случайней, тем вернее
Слагаются стихи навзрыд.

Как бронзовой золой жаровень

Как бронзовой золой жаровень,
Жуками сыплет сонный сад.
Со мной, с моей свечою вровень
Миры расцветшие висят.

И, как в неслыханную веру,
Я в эту ночь перехожу,
Где тополь обветшало-серый
Завесил лунную межу,

Где пруд, как явленная тайна,
Где шепчет яблони прибой,
Где сад висит постройкой свайной
И держит небо пред собой.

Сегодня мы исполним грусть его

Сегодня мы исполним грусть его —
Так, верно, встречи обо мне сказали,
Таков был лавок сумрак. Таково
Окно с мечтой смятенною азалий.

Таков подъезд был. Таковы друзья.
Таков был номер дома рокового,
Когда внизу сошлись печаль и я,
Участники похода такового.
Образовался странный авангард.
В тылу шла жизнь. Дворы тонули в скверне,
Весну за взлом судили. Шли к вечерне,
И паперти косил повальный март.
И отрасли, одна другой доходней,
Вздымали крыши. И росли дома,
И опускали перед нами сходни.

Когда за лиры лабиринт

Когда за лиры лабиринт
Поэты взор вперят,
Налево развернется Инд,
Правей пойдет Евфрат.
А посреди меж сим и тем
Со страшной простотой
Легенде ведомый эдем
Взовьет свой ствольный строй.
Он вырастет над пришлецом
И прошумит: мой сын!
Я историческим лицом
Вошел в семью лесин.
Я – свет. Я тем и знаменит,
Что сам бросаю тень.
Я – жизнь земли, ее зенит,
Ее начальный день.

Сон

Мне снилась осень в полусвете стекол,
Друзья и ты в их шутовской гурьбе,
И, как с небес добывший крови сокол,
Спускалось сердце на руку к тебе.
Но время шло, и старилось, и глохло,
И, поволокой рамы серебря,
Заря из сада обдавала стекла
Кровавыми слезами сентября.

Но время шло и старилось. И рыхлый,
Как лед, трещал и таял кресел шелк.
Вдруг, громкая, запнулась ты и стихла,
И сон, как отзвук колокола, смолк.

Я пробудился. Был, как осень, темен
Рассвет, и ветер, удаляясь, нес,
Как за возом бегущий дождь соломин,
Гряду бегущих по небу берез.

Я рос. Меня, как Ганимеда

Я рос. Меня, как Ганимеда,
Несли ненастья, сны несли.
Как крылья, отрастали беды
И отделяли от земли.

Я рос. И повечерий тканых
Меня фата обволокла.
Напутствуем вином в стаканах,
Игрой печальною стекла,

Я рос, и вот уж жар предплечий
Студит объятие орла.
Дни далеко, когда предтечей,
Любовь, ты надо мной плыла.

Но разве мы не в том же небе!
На то и прелесть высоты,
Что, как себя отпевший лебедь,
С орлом плечо к плечу и ты.

Все наденут сегодня пальто

Все наденут сегодня пальто
И заденут за поросли капель,
Но из них не заметит никто,
Что опять я ненастьями запил.

Засребрятся малины листы,
Запрокинувшись кверху изнанкой.
Солнце грустно сегодня, как ты, —
Солнце нынче, как ты, северянка.

Все наденут сегодня пальто,
Но и мы проживем без убытка.
Нынче нам не заменит ничто
Затуманившегося напитка.

Сегодня с первым светом встанут

Сегодня с первым светом встанут
Детьми уснувшие вчера.
Мечом призывов новых стянут
Изгиб застывшего бедра.

Дворовый окрик свой татары
Едва успеют разнести, —
Они оглянутся на старый
Пробег знакомого пути.
Они узнают тот сиротский,
Северно-сизый, сорный дождь,
Тот горизонт горнозаводский
Театров, башен, боен, почт,
Где что ни знак, то отпечаток
Ступни, поставленной вперед.
Они услышат: вот начаток.
Пример преподан, – ваш черед.
Обоим надлежит отныне
Пройти его во весь объем,
Как рашпилем, как краской синей,
Как брод, как полосу вдвоем.

Вокзал

Вокзал, несгораемый ящик
Разлук моих, встреч и разлук,
Испытанный друг и указчик,
Начать – не исчислить заслуг.
Бывало, вся жизнь моя – в шарфе,
Лишь подан к посадке состав,
И пышут намордники гарпий,
Парами глаза нам застлав.
Бывало, лишь рядом усядусь —
И крышка. Приник и отник.
Прощай же, пора, моя радость!
Я спрыгну сейчас, проводник.
Бывало, раздвинется запад
В маневрах ненастий и шпал
И примется хлопьями цапать,
Чтоб под буфера не попал.
И глохнет свисток повторенный,
А издали вторит другой,
И поезд метет по перронам
Глухой многогорбой пургой.
И вот уже сумеркам невтерпь,

И вот уж, за дымом вослед,
Срываются поле и ветер, —
О, быть бы и мне в их числе!

Венеция

Я был разбужен спозаранку
Щелчком оконного стекла.
Размокшей каменной баранкой
В воде Венеция плыла.

Все было тихо, и, однако,
Во сне я слышал крик, и он
Подобьем смолкнувшего знака
Еще тревожил небосклон.

Он вис трезубцем скорпиона
Над гладью стихших мандолин
И женщиною оскорбленной,
Быть может, издан был вдали.

Теперь он стих и черной вилкой
Торчал по черенок во мгле.
Большой канал с косой ухмылкой
Оглядывался, как беглец.

Вдали за лодочной стоянкой
В остатках сна рождалась явь.
Венеция венецианкой
Бросалась с набережных вплавь.

Зима

Прижимаюсь щекою к воронке
Завитой, как улитка, зимы.
«По местам, кто не хочет – к сторонке!»
Шумы-шорохи, гром кутерьмы.

"Значит – в «Море волнуется»? В повесть,
Завивающуюся жгутом,
Где вступают в черед, не готовясь?
Значит – в жизнь? Значит – в повесть о том,

Как нечаян конец? Об уморе,
Смехе, сутолоке, беготне?
Значит – вправду волнуется море
И стихает, не справясь о дне?"

Это раковины ли гуденье?
Пересуды ли комнат-тихонь?
Со своей ли поссорившись тенью,
Громыхает заслонкой огонь?

Поднимаются вздохи отдушин
И осматриваются – и в плач.
Черным храпом карет перекушен,
В белом облаке скачет лихач.

И невыполотые заносы
На оконный ползут парапет.
За стаканчиками купороса
Ничего не бывало и нет.

Пиры

Пью горечь тубероз, небес осенних горечь
И в них твоих измен горящую струю.
Пью горечь вечеров, ночей и людных сборищ,
Рыдающей строфы сырую горечь пью.
Исчадья мастерских, мы трезвости не терпим.
Надежному куску объявлена вражда.
Тревожный ветр ночей – тех здравиц виночерпьем,
Которым, может быть, не сбыться никогда.
Наследственность и смерть-застольцы наших трапез
И тихою зарей – верхи дерев горят —
В сухарнице, как мышь, копается анапест,
И золушка, спеша, меняет свой наряд.
Полы подметены, на скатерти – ни крошки,
Как детский поцелуй, спокойно дышит стих,
И золушка бежит – во дни удач на дрожках,
А сдан последний грош, – и на своих двоих.

Встав из грохочущего ромба

Встав из грохочущего ромба
Передрассветных площадей,
Напев мой опечатан пломбой
Неизбываемых дождей.
Под ясным небом не ищите
Меня в толпе сухих коллег.
Я смок до нитки от наитий,
И север с детства мой ночлег.
Он весь во мгле и весь – подобье
Стихами отягченных губ,
С порога смотрит исподлобья,
Как ночь, на объясненья скуп.

Мне страшно этого субъекта,
Но одному ему вдогад,
Зачем ненареченный некто, —
Я где-то взят им напрокат.

Зимняя ночь

Не поправить дня усильями светилен,
Не поднять теням крещенских покрывал.
На земле зима, и дым огней бессилен
Распрямить дома, полегшие вповал.

Булки фонарей и пышки крыш, и черным
По белу в снегу – косяк особняка:
Это – барский дом, и я в нем гувернером.
Я один, я спать услал ученика.

Никого не ждут. Но – наглухо портьеру.
Тротуар в буграх, крыльцо заметено.
Память, не ершись! Срастись со мной! Уверуй
И уверь меня, что я с тобой – одно.

Снова ты о ней? Но я не тем взволнован.
Кто открыл ей сроки, кто навел на след?
Тот удар – исток всего. До остального,
Милостью ее, теперь мне дела нет.

Тротуар в буграх, меж снеговых развилин
Вмерзшие бутылки голых черных льдин.
Булки фонарей, и на трубе, как филин,
Потонувший в перьях, нелюдимый дым.

Поверх барьеров
(1914—1916)

Двор

Мелко исписанный инеем двор!
Ты – точно приговор к ссылке
На недоед, недосып, недобор,
На недопой и на боль в затылке.
Густо покрытый усышкой листвы,
С солью из низко нависших градирен!
Видишь, полозьев чернеются швы,
Мерзлый нарыв мостовых расковырян.
Двор, ты заметил? Вчера он набряк,
Вскрылся сегодня, и ветра порывы

Валятся, выпав из лап октября,
И зарываются в конские гривы.
Двор! Этот ветер, как кучер в мороз,
Рвется вперед и по брови нафабрен
Скрипом пути и, как к козлам, прирос
К кручам гудящих окраин и фабрик.
Руки враскидку, крючки назади,
Стан казакином, как облако, вспучен,
Окрик и свист, берегись, осади, —
Двор! Этот ветер морозный – как кучер.
Двор! Этот ветер тем родственен мне,
Что со всего околотка с налету
Он налипает билетом к стене:
"Люди, там любят и ищут работы!
Люди, там ярость сановней моей!
Там даже я преклоняю колени.
Люди, как море в краю лопарей,
Льдами щетинится их вдохновение.
Крепкие тьме полыханьем огней!
Крепкие стуже стрельбою поленьев!
Стужа в их книгах – студеней моей,
Их откровений – темнее затменье.
Мздой облагает зима, как баскак,
Окна и печи, но стужа в их книгах —
Ханский указ на вощеных брусках
О наложении зимнего ига.

Огородитесь от вьюги в стихах
Шубой; от неба – свечою; трехгорным —
От дуновенья надежд, впопыхах
Двинутых ими на род непокорный".

Дурной сон

Прислушайся к вьюге, сквозь десны процеженной
Прислушайся к голой побежке бесснежья.
Разбиться им не обо что, и заносы
Чугунною цепью проносятся понизу
Полями, по чересполосице, в поезде,
По воздуху, по снегу, в отзывах ветра,

Сквозь сосны, сквозь дыры заборов безгвоздых,
Сквозь доски, сквозь десны безносых трущоб.

Полями, по воздуху, сквозь околесицу,
Приснившуюся небесному постнику.
Он видит: попадали зубы из челюсти,
И шамкают замки, поместия с пришептом,
Все вышиблено, ни единого в целости,
И постнику тошно от стука костей.

От зубьев пилотов, от флотских трезубцев,
От красных зазубрин карпатских зубцов.
Он двинуться хочет, не может проснуться,
Не может, засунутый в сон на засов.

И видит еще. Как назем огородника,
Всю землю сравняли с землей на стоходе.
Не верит, чтоб выси зевнулось когда-нибудь
Во всю ее бездну, и на небо выплыл,
Как колокол на перекладине дали,
Серебряный слиток глотательной впадины,
Язык и глагол ее, – месяц небесный,
Нет, косноязычный, гундосый и сиплый,
Он с кровью заглочен хрящами развалин.
Сунь руку в крутящийся щебень метели, —
Он на руку вывалится из расселины
Мясистой култышкою, мышцей бесцельной
На жиле, картечиной напрочь отстреленной.
Его отожгло, как отеклую тыкву.
Он прыгнул с гряды за ограду. Он в рытвине,
Он сорван был битвой и, битвой подхлеснутый,
Как шар, откатился в канаву с откоса
Сквозь сосны, сквозь дыры заборов безгвозбых,
Сквозь доски, сквозь десны безносых трущоб.

Прислушайся к гулу раздолий неезженных,
Прислушайся к бешеной их перебежке.
Расскальзывающаяся артиллерия
Тарелями ластится к отзывам ветра.
К кому присоседиться, верстами меряя,
Слова гололедицы, мглы и лафетов?
И сказка ползет, и клочки околесицы,
Мелькая бинтами в желтке ксероформа,
Уносятся с поезда в поле. Уносятся
Платформами по снегу в ночь к семафорам.
Сопят тормоза санитарного поезда.
И снится, и снится небесному постнику…

Возможность

В девять, по левой, как выйти со страстного,
На сырых фасадах – ни единой вывески.
Солидные предприятья, но улица – из снов ведь!
Щиты мешают спать, и их велели вынести.
Суконщики, с. Я., То есть сыновья суконщиков
(Форточки наглухо, конторщики в отлучке).
Спит, как убитая, тверская, только кончик
Сна высвобождая, точно ручку.
К ней-то и прикладывается памятник Пушкину,

И дело начинает пахнуть дуэлью,
Когда какой-то из новых воздушный
Поцелуй ей шлет, легко взмахнув метелью.
Во-первых, он помнит, как началось бессмертье
Тотчас по возвращеньи с дуэли, дома,
И трудно отвыкнуть. И во-вторых, и в-третьих,
Она из Гончаровых, их общая знакомая!

Десятилетье Пресни
(отрывок)

Усыпляя, влачась и сплющивая
Плащи тополей и стоков,
Тревога подула с грядущего,
Как с юга дует сирокко.
Швыряя шафранные факелы
С дворцовых пьедесталов,
Она горящею паклею
Седое ненастье хлестала.

Тому грядущему, быть ему
Или не быть ему?
Но медных макбетовых ведьм в дыму —
Видимо-невидимо.

……
Глушь доводила до бесчувствия
Дворы, дворы, дворы…И с них,
С их глухоты – с их захолустья,
Завязывалась ночь портних
(иных и настоящих), прачек,
И спертых воплей караул,
Когда – с канатчиковой дачи
Декабрь веревки вил, канатчик,
Из тел, и руки в дуги гнул,
Середь двора; когда посул
Свобод прошел, и в стане стачек
Стоял годами говор дул.

Снег тек с расстегнутых енотов,
С подмокших, слипшихся лисиц
На лед оконных переплетов
И часто на плечи жилиц.

Тупик, спускаясь, вел к реке,
И часто на одном коньке
К реке спускался вне себя
От счастья, что и он, дробя
Кавалерийским следом лед,
Как парные коньки, несет

К реке, – счастливый карапуз,

Счастливый тем, что лоск рейтуз
Приводит в ужас все вокруг,
Что все – таинственность, испуг,
И сокровенье, – и что там,
На старом месте старый шрам
Ноябрьских туч; что, приложив
К устам свой палец, полужив
Стоит знакомый небосклон,
И тем, что за ночь вырос он.
В те дни, как от побоев слабый,
Пал на землю тупик. Исчез,
Сумел исчезнуть от масштаба
Разбастовавшихся небес.

Стояли тучи под ружьем
И как в казармах батальоны,
Команды ждали. Нипочем
Стесненной стуже были стоны.
Любила снег ласкать пальба,
И улицы обыкновенно
Невинны были, как мольба,
Как святость – неприкосновенны.
Кавалерийские следы
Дробили льды. И эти льды
Перестилались снежным слоем
И вечной памятью героям.
Стоял декабрь. Ряды окон,
Неосвещенных в поздний час,
Имели вид сплошных попон
С прорезами для конских глаз.

Петербург

Как в пулю сажают вторую пулю
Или бьют на пари по свечке,
Так этот раскат берегов и улиц
Петром разряжен без осечки.
О, как он велик был! Как сеткой конвульсий
Покрылись железные щеки,
Когда на петровы глаза навернулись,
Слезя их, заливы в осоке!
И к горлу балтийские волны, как комья
Тоски, подкатили; когда им
Забвенье владело; когда он знакомил
С империей царство, край – с краем.
Нет времени у вдохновенья. Болото,
Земля ли, иль море, иль лужа, —
Мне здесь сновиденье явилось, и счеты

Сведу с ним сейчас же и тут же.
Он тучами был, как делами, завален.
В ненастья натянутый парус
Чертежной щетиною ста готовален
Врезалася царская ярость.
В дверях, над Невой, на часах, гайдуками,
Века пожирая, стояли
Шпалеры бессонниц в горячечном гаме
Рубанков, снастей и пищалей.
И знали: не будет приема. Ни мамок,
Ни дядек, ни бар, ни холопей.
Пока у него на чертежный подрамок
Надеты таежные топи.

Волны толкутся. Мостки для ходьбы.
Облачно. Небо над буем, залитым
Мутью, мешает с толченым графитом
Узких свистков паровые клубы.

Пасмурный день растерял катера.
Снасти крепки, как раскуренный кнастер.
Дегтем и доками пахнет ненастье
И огурцами – баркасов кора.

С мартовской тучи летят паруса
Наоткось, мокрыми хлопьями в слякоть,
Тают в каналах балтийского шлака,
Тлеют по черным следам колеса.

Облачно. Щелкает лодочный блок.
Пристани бьют в ледяные ладоши.
Гулко булыжник обрушивши, лошадь
Глухо въезжает на мокрый песок.

Чертежный рейсфедер
Всадника медного
От всадника – ветер
Морей унаследовал.

Каналы на прибыли,
Нева прибывает.
Он северным грифилем
Наносит трамваи.

Попробуйте, лягте-ка
Под тучею серой,
Здесь скачут на практике
Поверх барьеров.

И видят окраинцы:
За нарвской, на охте,
Туман продирается,

Отодранный ногтем.

Петр машет им шляпою,
И плещет, как прапор,
Пурги расцарапанный,
Надорванный рапорт.

Сограждане, кто это,
И кем на терзанье
Распущены по ветру
Полотнища зданий?

Как план, как ландкарту
На плотном папирусе,
Он город над мартом
Раскинул и выбросил.
Тучи, как волосы, встали дыбом
Над дымной, бледной Невой
Кто ты? О, кто ты? Кто бы ты ни был,
Город – вымысел твой.
Улицы рвутся, как мысли, к гавани
Черной рекой манифестов.
Нет, и в могиле глухой и в саване
Ты не нашел себе места.
Воли наводненья не сдержишь сваями.
Речь их, как кисти слепых повитух.
Это ведь бредишь ты, невменяемый,
Быстро бормочешь вслух.

Оттепелями из магазинов

Оттепелями из магазинов
Веяло ватным теплом.
Вдоль по панелям зимним
Ездил звездистый лом.
Лед, перед тем как дрогнуть,
Соками пух, трещал.
Как потемневший ноготь,
Ныла вода в клещах.
Капала медь с деревьев.
Прячась под карниз,
К окнам с галантереей
Жался букинист.
Клейма резиновой фирмы
Сеткою подошв
Липли к икринкам фирна
Или влекли под дождь.
Вот как бывало в будни.
В праздники ж рос буран
И нависал с полудня

Вестью полярных стран.
Небу под снег хотелось,
Улицу бил озноб,
Ветер дрожал за целость
Вывесок, блях и скоб.

Зимнее небо

Цельною льдиной из дымности вынут
Ставший с неделю звездный поток.
Клуб конькобежцев вверху опрокинут:
Чокается со звонкою ночью каток.

Реже-реже-ре-же ступай, конькобежец,
В беге ссекая шаг свысока.
На повороте созвездьем врежется
В небо Норвегии скрежет конька.

Воздух окован мерзлым железом.
О конькобежцы! Там – все равно,

Что, как глаза со змеиным разрезом,
Ночь на земле, и как кость домино;

Что языком обомлевшей легавой
Месяц к себе примерзает; что рты,
Как у фальшивомонетчиков, – лавой
Дух захватившего льда налиты.

Душа

О, вольноотпущенница, если вспомнится,
О, если забудется, пленница лет.
По мнению многих, душа и паломница,
По-моему – тень без особых примет.

О, в камне стиха, даже если ты канула,
Утопленница, даже если – в пыли,
Ты бьешься, как билась княжна Тараканова,
Когда февралем залило равелин.

О, внедренная! Хлопоча об амнистии,
Кляня времена, как клянут сторожей,
Стучатся опавшие годы, как листья,
В садовую изгородь календарей.

Не как люди, не еженедельно

Не как люди, не еженедельно.
Не всегда, в столетье раза два
Я молил тебя: членораздельно
Повтори творящие слова!

И тебе ж невыносимы смеси
Откровений и людских неволь.
Как же хочешь ты, чтоб я был весел,
С чем бы стал ты есть земную соль?

Раскованный голос

В шалящую полночью площадь,
В сплошавшую белую бездну
Незримому ими – «Извозчик!»
Низринуть с подъезда. С подъезда
Столкнуть в воспаленную полночь,
И слышать сквозь темные спаи
Ее поцелуев – «На помощь!»
Мой голос зовет, утопая.
И видеть, как в единоборстве
С метелью, с лютейшей из лютен,
Он – этот мой голос – на черствой
Узде выплывает из мути…

Метель

1

В посаде, куда ни одна нога
Не ступала, лишь ворожеи да вьюги
Ступала нога, в бесноватой округе,
Где и то, как убитые, спят снега, —
Постой, в посаде, куда ни одна
Нога не ступала, лишь ворожен
Да вьюги ступала нога, до окна
Дохлестнулся обрывок шальной шлеи.
Ни зги не видать, а ведь этот пасад
Может быть в городе, в Замоскворечьи,
В Замостьи, и прочая(в полночь забредший
Гость от меня отшатнулся назад).
Послушай, в посаде, куда ни одна
Нога не ступала, одни душегубы,
Твой вестник – осиновый лист, он безгубый,
Безгласен, как призрак, белей полотна!
Метался, стучался во все ворота,

Кругом озирался, смерчом с мостовой…
– Не тот это город, и полночь не та,
И ты заблудился, ее вестовой!
Но ты мне шепнул, вестовой, неспроста.
В посаде, куда ни один двуногий…
Я тоже какой-то…Я сбился с дороги:
– Не тот это город, и полночь не та.

2

Все в крестиках двери, как в Варфоломееву
Ночь. Распоряженья пурги-заговорщицы:
Заваливай окна и рамы заклеивай,
Там детство рождественской елью топорщится.

Бушует бульваров безлиственных заговор.
Они поклялись извести человечество.
На сборное место, город! За город!
И вьюга дымится, как факел над нечистью.

Пушинки непрошено валятся на руки.
Мне страшно в безлюдьи пороши разнузданной.
Снежинки снуют, как ручные фонарики.
Вы узнаны, ветки! Прохожий, ты узнан!

Дыра полыньи, и мерещится в музыке
Пурги: – Колиньи, мы узнали твой адрес! —
Секиры и крики: – вы узнаны, узники
Уюта! – И по двери мелом – крест-накрест.

Что лагерем стали, что подняты на ноги
Подонки творенья, метели – сполагоря.
Под праздник отправятся к праотцам правнуки.
Ночь Варфоломеева. За город, за город!

Урал впервые

Без родовспомогательницы, во мраке, без памяти,
На ночь натыкаясь руками, Урала
Твердыня орала и, падая замертво,
В мученьях ослепшая, утро рожала.

Гремя опрокидывались нечаянно задетые
Громады и бронзы массивов каких-то.
Пыхтел пассажирский. И где-то от этого
Шарахаясь, падали признаки пихты.

Коптивший рассвет был снотворным. Не иначе:
Он им был подсыпан – заводам и горам —
Лесным печником, злоязычным Горынычем,
Как опий попутчику опытным вором.

Очнулись в огне. С горизонта пунцового
На лыжах спускались к лесам азиатцы,
Лизали подошвы и соснам подсовывали
Короны и звали на царство венчаться.

И сосны, повстав и храня иерархию
Мохнатых монархов, вступали
На устланый наста оранжевым бархатом
Покров из камки и сусали.

Ледоход

Еще о всходах молодых
Весенний грунт мечтать не смеет.
Из снега выкатив кадык,
Он берегом речным чернеет.
Заря, как клещ, впилась в залив,
И с мясом только вырвешь вечер
Из топи. Как плотолюбив
Простор на севере зловещем!
Он солнцем давится взаглот
И тащит эту ношу по мху.
Он шлепает ее об лед
И рвет, как розовую семгу.
Капель до половины дня,
Потом, морозом землю скомкав,
Гремит плавучих льдин резня
И поножовщина обломков.
И ни души. Один лишь хрип,
Тоскливый лязг и стук ножовый,
И сталкивающихся глыб
Скрежещущие пережевы.

Я понял жизни цель и чту

Я понял жизни цель и чту
Ту цель, как цель, и эта цель —
Признать, что мне невмоготу
Мириться с тем, что есть апрель,
Что дни – кузнечные мехи,
И что растекся полосой
От ели к ели, от ольхи
К ольхе, железный и косой,

И жидкий, и в снега дорог,
Как уголь в пальцы кузнеца,
С шипеньем впившийся поток
Зари без края и конца.
Что в берковец церковный зык,
Что взят звонарь в весовщики,
Что от капели, от слезы
И от поста болят виски.

Весна

1

Что почек, что клейких заплывших огарков
Налеплено к веткам! Затеплен
Апрель. Возмужалостью тянет из парка,
И реплики леса окрепли.

Лес стянут по горлу петлею пернатых
Гортаней, как буйвол арканом,
И стонет в сетях, как стенает в сонатах
Стальной гладиатор органа.

Поэзия! Греческой губкой в присосках
Будь ты, и меж зелени клейкой
Тебя б положил я на мокрую доску
Зеленой садовой скамейки.

Расти себе пышные брыжжи и фижмы,
Вбирай облака и овраги,
А ночью, поэзия, я тебя выжму
Во здравие жадной бумаги.

2

Весна! Не отлучайтесь
К реке на прорубь. В городе
Обломки льда, как чайки,
Плывут, крича с три короба.

Земля, земля волнуется,
И под мостов пролеты
Затопленные улицы
Сливают нечистоты.

По ним плывут, как спички,
Сквозь холод ледохода
Сады и электрички

И не находят броду.

От кружки синевы со льдом,
От пены буревестников
Вам дурно станет. Впрочем, дом
Кругом затоплен песнью.

И бросьте размышлять о тех,
Кто выехал рыбачить.
По городу гуляет грех
И ходят слезы падших.

3

Разве только грязь видна вам,
А не скачет таль в глазах?
Не играет по канавам —
Словно в яблоках рысак?
Разве только птицы цедят,
В синем небе щебеча,
Ледяной лимон обеден
Сквозь соломину луча?
Оглянись и ты увидишь
До зари, весь день, везде,
С головой Москва, как Китеж, —
В светло-голубой воде.
Отчего прозрачны крыши
И хрустальны колера?
Как камыш, кирпич колыша,
Дни несутся в вечера.
Город, как болото, топок,
Струпья снега на счету,
И февраль горит, как хлопок
Захлебнувшийся в спирту.
Белым пламенем измучив
Зоркость чердаков, в косом
Переплете птиц и сучьев —
Воздух гол и невесом.
В эти дни теряешь имя,
Толпы лиц сшибают с ног.
Но и ты не одинок.
Знай, твоя подруга с ними,

Ивака

Кокошник нахлобучила
Из низок ливня – паросль.

Футляр дымится тучею,
В ветвях горит стеклярус.
И на подушке плюшевой
Сверкает в переливах
Разорванное кружево
Деревьев говорливых.
Сережек аметистовых
И шишек из сапфира
Нельзя и было выставить,
Из-под земли не вырыв.

Чтоб горы очаровывать
В лиловых ночках яра,
Их вынули из нового
Уральского футляра.

Стрижи

Нет сил никаких у вечерних стрижей
Сдержать голубую прохладу.
Она прорвалась из горластых грудей
И льется, и нет с нею сладу.

И нет у вечерних стрижей ничего,
Что б там, наверху, задержало
Витийственный возглас их: О, торжество,
Смотрите, земля убежала!

Как белым ключом закипая в котле,
Уходит бранчливая влага, —
Смотрите, смотрите– нет места земле
От края небес до оврага.

Счастье

Исчерпан весь ливень вечерний
Садами. И вывод – таков:
Нас счастье тому же подвергнет
Терзанью, как сонм облаков.

Наверное, бурное счастье
С лица и на вид таково,
Как улиц по смытьи ненастья
Столиственное торжество.

Там мир заключен. И, как каин,
Там заштемпелеван теплом
Окраин, забыт и охаян,

И высмеян литьями гром.

И высью. И капель икотой.
И – внятной тем более, что
И рощам нет счета: решета
В сплошное слились решето.

На плоской листве. Океане
Расплавленных почек на дне
Бушующего обожанья
Молящихся вышине.

Кустарника сгусток не выжат.
По клетке и влюбчивый клест
Зерном так задорно не брызжет,
Как жимолость – россыпью звезд.

Эхо

Ночам соловьем обладать,
Что ведром полнодонным колодцам.
Не знаю я, звездная гладь
Из песни ли в песню ли льется.
Но чем его песня полней,
Тем полночь над песнью просторней.
Тем глубже отдача корней,
Когда она бьется об корни.
И если березовых куп
Безвозгласно великолепье,
Мне кажется, бьется о сруб
Та песня железною цепью.
И каплет со стали тоска,
И ночь растекается в слякоть,
И ею следят с цветника
До самых закраинных пахот.

Три варианта

1

Когда до тончайшей мелочи
Весь день пред тобой на весу,
Лишь знойное щелканье белочье
Не молкнет в смолистом лесу.
И млея, и силы накапливая,
Спит строй сосновых высот.
И лес шелушится и каплями
Роняет струящийся пот.

2

Сады тошнит от верст затишья.
Столбняк рассерженных лощин
Страшней, чем ураган, и лише,
Чем буря, в силах всполошить.
Гроза близка. У сада пахнет
Из усыхающего рта
Крапивой, кровлей, тленьем, страхом.
Встает в колонны рев скота.

3

На кустах растут разрывы
Облетелых туч. У сада
Полон рот сырой крапивы:
Это запах гроз и кладов.

Устает кустарник охать.
В небе множатся пролеты.
У босой лазури – походь
Голенастых по болоту.

И блестят, блестят, как губы,
Не утертые рукою,
Лозы ив, и листья дуба,
И следы у водопоя.

Июльская гроза

Так приближается удар
За сладким, из-за ширмы лени,
Во всеоружьи мутных чар
Довольства и оцепененья.

Стоит на мертвой точке час
Не оттого ль, что он намечен,
Что желчь моя не разлилась,
Что у меня на месте печень?

Не отсыхает ли язык
У лип, не липнут листья к небу ль
В часы, как в лагере грозы
Полнеба топчется поодаль?

И слышно: гам ученья там,
Глухой, лиловый, отдаленный.
И жарко белым облакам
Грудиться, строясь в батальоны.

Весь лагерь мрака на виду.
И, мрак глазами пожирая,
В чаду стоят плетни. В чаду —
Телеги, кадки и сараи.

Как плат белы, забыли грызть
Подсолнухи забыли сплюнуть,
Их всех поработила высь,
На них дохнувшая, как юность.

Гроза в воротах! На дворе!
Преображаясь и дурея,
Во тьме, в раскатах, в серебре,
Она бежит по галерее.
По лестнице. И на крыльцо.
Ступень, ступень, ступень. – Повязку!
У всех пяти зеркал лицо
Грозы, с себя сорвавшей маску.

После дождя

За окнами давка, толпится листва,
И палое небо с дорог не подобрано.
Все стихло. Но что это было сперва!
Теперь разговор уж не тот и по-доброму.
Сначала все опрометью, вразноряд
Ввалилось в ограду деревья развенчивать,
И попранным парком из ливня – под град,
Потом от сараев – к террасе бревенчатой.
Теперь не надышишься крепью густой.
А то, что у тополя жилы полопались, —
Так воздух садовый, как соды настой,
Шипучкой играет от горечи тополя.
Со стекол балконных, как с бедер и спин
Озябших купальщиц, – ручьями испарина.
Сверкает клубники мороженный клин,
И градинки стелются солью поваренной.
Вот луч, покатясь с паутины, залег
В крапиве, но, кажется, это ненадолго,
И миг недалек, как его уголек
В кустах разожжется и выдует радугу.

Импровизация

Я клавишей стаю кормил с руки
Под хлопанье крыльев, плеск и клекот.
Я вытянул руки, я встал на носки,
Рукав завернулся, ночь терлась о локоть.
И было темно. И это был пруд
И волны. – И птиц из породы люблю вас,
Казалось, скорей умертвят, чем умрут
Крикливые, черные, крепкие клювы.

И это был пруд. И было темно.
Пылали кубышки с полуночным дегтем.
И было волною обглодано дно
У лодки. И грызлися птицы у локтя.

И ночь полоскалась в гортанях запруд.
Казалось, покамест птенец не накормлен,
И самки скорей умертвят, чем умрут
Рулады в крикливом, искривленном горле.

Баллада

Бывает, курьером на борзом
Расскачется сердце, и точно
Отрывистость азбуки Морзе,
Черты твои в зеркале срочны.

Поэт или просто глашатай,
Герольд или просто поэт,
В груди твоей – топот лошадный
И сжатость огней и ночных эстафет.

Кому сегодня шутится?
Кому кого жалеть?
С платка текла распутица,
И к ливню липла плеть.

Был ветер заперт наглухо
И штемпеля влеплял,
Как оплеухи наглости,
Шалея, конь в поля.

Бряцал мундштук закушенный,
Врывалась в ночь лука,
Конь оглушал заушиной
Раскаты большака.

Не видно ни зги, но затем в отдаленьи
Движенье: лакей со свечой в колпаке.

Мельчая, коптят тополя, и аллея
Уходит за пчельник, истлев вдалеке.

Салфетки белей алебастр балюстрады.
Похоже, огромный, как тень, брадобрей
Мокает в пруды дерева и ограды
И звякает бритвой об рант галерей.

Впустите, мне надо видеть графа.
Вы спросите, кто я? Здесь жил органист.
Он лег в мою жизнь пятеричной оправой
Ключей и регистров. Он уши зарниц
Крюками прибил к проводам телеграфа.
Вы спросите, кто я? На розыск кайяры
Отвечу: путь мой был тернист.
Летами тишь гробовая
Стояла, и поле отхлебывало
Из черных котлов, забываясь,
Лапшу светоносного облака.
А зимы другую основу
Сновали, и вот в этом крошеве
Я – черная точка дурного
В валящихся хлопьях хорошего.
Я – пар отстучавшего града, прохладой
В исходную высь воспаряющий. Я —
Плодовая падаль, отдавшая саду
Все счеты по службе, всю сладость и яды,
Чтоб, музыкой хлынув с дуги бытия,
В приемную ринуться к вам без доклада.
Я – мяч полногласья и яблоко лада.
Вы знаете, кто мне закон и судья.
Впустите, мне надо видеть графа.
О нем есть баллады. Он предупрежден.
Я помню, как плакала мать, играв их,
Как вздрагивал дом, обливаясь дождем.
Позднее узнал я о мертвом Шопене.
Но и до того, уже лет в шесть,
Открылась мне сила такого сцепленья,
Что можно подняться и землю унесть.
Куда б утекли фонари околотка
С пролетками и мостовыми, когда б
Их марево не было, как на колодку,
Набито на гул колокольных октав?
Но вот их снимали, и, в хлопья облекшись,
Пускались сновать без оглядки дома,
И плотно захлопнутой нотной обложкой
Валилась в разгул листопада зима.
Ей недоставало лишь нескольких звеньев,
Чтоб выполнить раму и вырасти в звук,
И музыкой – зеркалом исчезновенья
Качнуться, выскальзывая из рук.

В колодец ее обалделого взгляда
Бадьей погружалась печаль, и, дойдя
До дна, подымалась оттуда балладой
И рушилась былью в обвязке дождя.

Жестоко продрогши и до подбородков
Закованные в железо и мрак,
Прыжками, прыжками, коротким галопом
Летели потоки в глухих киверах.

Их кожаный строй был, как годы, бороздчат,
Их шум был, как стук на монетном дворе,
И вмиг запружалась рыдванами площадь,
Деревья мотались, как дверцы карет.

Насколько терпелось канавам и скатам,
Покамест чекан принимала руда,
Удар за ударом, трудясь до упаду,
Дукаты из слякоти била вода.

Потом начиналась работа граверов,
И черви, разделав сырье под орех,
Вгрызались в сознанье гербом договора,
За радугой следом ползя по коре.

Но лето ломалось, и всею махиной
На август напарывались дерева,
И в цинковой кипе фальшивых цехинов
Тонули крушенья шаги и слова.

Но вы безответны. В другой обстановке
Недолго б длился мой конфуз.
Но я набивался и сам на неловкость,
Я знал, что на нее нарвусь.

Я знал, что пожизненный мой собеседник,
Меня привлекая страшнейшей из тяг,
Молчит, крепясь из сил последних,
И вечно числится в нетях.

Я знал, что прелесть путешествий
И каждый новый женский взгляд
Лепечут о его соседстве
И отрицать его велят.

Но как пронесть мне этот ворох
Признаний через ваш порог?
Я трачу в глупых разговорах
Все, что дорогой приберег.

Зачем же, земские ярыги
И полицейские крючки,

Вы обнесли стеной религий
Отца и мастера тоски?

Зачем вы выдумали послух,
Безбожие и ханжество,
Когда он лишь меньшой из взрослых
И сверстник сердца моего.

Мельницы

Стучат колеса на селе.
Струятся и хрустят колосья.
Далеко, на другой земле
Рыдает пес, обезголосев.
Село в серебряном плену
Горит белками хат потухших,
Брешет пес, и бьет в луну
Цепной, кудлатой колотушкой.
Мигают вишни, спят волы,
Внизу спросонок пруд маячит,
И кукурузные стволы
За пазухой початки прячут.
А над кишеньем всех естеств,
Согбенных бременем налива,
Костлявой мельницы крестец,
Как крепость, высится ворчливо.
Плакучий харьковский уезд,
Русалочьи начесы лени,
И ветел, и плетней, и звезд,
Как сизых свечек шевеленье.
Как губы, – шепчут; как руки, – вяжут;
Как вздох, – невнятны, как кисти, – дряхлы,
И кто узнает, и кто расскажет,
Чем тут когда-то дело пахло?
И кто отважится и кто осмелится
Из сонной одури хоть палец высвободить,
Когда и ветряные мельницы
Окоченели на лунной исповеди?
Им ветер был роздан, как звездам – свет.
Он выпущен в воздух, а нового нет.
А только, как судна, земле вопреки,
Воздушною ссудой живут ветряки.
Ключицы сутуля, крыла разбросав,
Парят на ходулях степей паруса.
И сохнут на срубах, висят на горбах
Рубахи из луба, порты – короба.
Когда же беснуются куры и стружки,
И дым коромыслом и пыль столбом,
И падают капли медяшками в кружки,
И ночь подплывает во всем голубом,

И рвутся оборки настурций, и буря,
Баллоном раздув полотно панталон,
Вбегает и видит, как тополь, зажмурясь,
Нашествием снега слепит небосклон, —

Тогда просыпаются мельничные тени.
Их мысли ворочаются, как жернова.
И они огромны, как мысли гениев,
И несоразмерны, как их права.

Теперь перед ними всей жизни умолот.
Все помыслы степи и все слова,
Какие жара в горах придумала,
Охапками падают в их постава.

Завидевши их, паровозы тотчас же
Врезаются в кашу, стремя к ветрякам,
И хлопают паром по тьме клокочущей,
И мечут из топок во мрак потроха.
А рядом, весь в пеклеванных выкликах,
Захлебываясь кулешом подков,
Подводит шлях, в пыли по щиколку,
Под них свой сусличий подкоп.

Они ж, уставая от далей, пожалованных
Валам несчастной шестерни,
Меловые обвалы пространств обмалывают
И судьбы, и сердца, и дни.

И они перемалывают царства проглоченные,
И, вращая белками, пылят облака,
И, быть может, нигде не найдется вотчины,
Чтобы бездонным мозгам их была велика.

Но они и не жалуются на каторгу.
Наливаясь в грядущем и тлея в былом,
Неизвестные зарева, как элеваторы,
Преисполняют их теплом.

На пароходе

Был утренник. Сводило челюсти,
И шелест листьев был как бред.
Синее оперенья селезня
Сверкал за Камою рассвет.

Гремели блюда у буфетчика.
Лакей зевал, сочтя судки.

В реке, на высоте подсвечника,

Кишмя кишели светляки.

Они свисали ниткой искристой
С прибрежных улиц. Било три.
Лакей салфеткой тщился выскрести
На бронзу всплывший стеарин.

Седой молвой, ползущей исстари,
Ночной былиной камыша
Под Пермь, на бризе, в быстром бисере
Фонарной ряби Кама шла.
Волной захлебываясь, на волос
От затопленья, за суда
Ныряла и светильней плавала
В лампаде камских вод звезда.
На пароходе пахло кушаньем
И лаком цинковых белил.
По Каме сумрак плыл с подслушанным,
Не пророня ни всплеска, плыл.
Держа в руке бокал, вы суженным
Зрачком следили за игрой
Обмолвок, вившихся за ужином,
Но вас не привлекал их рой.
Вы к былям звали собеседника,
К волне до вас прошедших дней,
Чтобы последнею отцединкой
Последней капли кануть в ней.
Был утренник. Сводило челюсти,
И шелест листьев был как бред.
Синее оперенья селезня
Сверкал за Камою рассвет.
И утро шло кровавой банею,
Как нефть разлившейся зари,
Гасить рожки в кают-компании
И городские фонари.

Из поэмы (два отрывка)

1

Я тоже любил, и дыханье
Бессонницы раннею ранью
Из парка спускалось в овраг, и впотьмах
Выпархивало на архипелаг
Полян, утопавших в лохматом тумане,
В полыни и мяте и перепелах.
И тут тяжелел обожанья размах,
Хмелел, как крыло, обожженное дробью,
И бухался в воздух, и падал в ознобе,
И располагался росой на полях.

А там и рассвет занимался. До двух
Несметного неба мигали богатства,
Но вот петухи начинали пугаться
Потемок и силились скрыть перепуг,
Но в глотках рвались холостые фугасы,
И страх фистулой голосил от потуг,
И гасли стожары, и как по заказу
С лицом пучеглазого свечегаса
Показывался на опушке пастух.

Я тоже любил, и она пока еще
Жива, может статься. Время пройдет,
И что-то большое, как осень, однажды
(не завтра, быть может, так позже когда-нибудь)
Зажжется над жизнью, как зарево, сжалившись
Над чащей. Над глупостью луж, изнывающих
По-жабьи от жажды. Над заячьей дрожью
Лужаек, с ушами ушитых в рогожу
Листвы прошлогодней. Над шумом, похожим
На ложный прибой прожитого. Я тоже
Любил, и я знаю: как мокрые пожни
От века положены году в подножье,
Так каждому сердцу кладется любовью
Знобящая новость миров в изголовье.

Я тоже любил, и она жива еще.
Все так же, катаясь в ту начальную рань,
Стоят времена, исчезая за краешком
Мгновенья. Все так же тонка эта грань.
По-прежнему давнее кажется давешним.
По-прежнему, схлынувши с лиц очевидцев,
Безумствует быль, притворяясь незнающей,
Что больше она уж у нас не жилица.
И мыслимо это? Так, значит, и впрямь

Всю жизнь удаляется, а не длится
Любовь, удивленья мгновенная дань?

2

Я спал. В ту ночь мой дух дежурил.
Раздался стук. Зажегся свет.
В окно врывалась повесть бури.
Раскрыл, как был, – полуодет.
Так тянет снег. Так шепчут хлопья.
Так шепелявят рты примет.
Там подлинник, здесь – бледность копий.
Там все в крови, здесь крови нет.

Там, озаренный, как покойник,
С окна блужданьем ночника,
Сиренью моет подоконник
Продрогший абрис ледника.

И в ночь женевскую, как в косы
Южанки, югом вплетены
Огни рожков и абрикосы,
Оркестры, лодки, смех волны.
И будто вороша каштаны,
Совком к жаровням в кучу сгреб
Мужчин – арак, а горожанок —
Иллюминованный сироп.
И говор долетает снизу.
А сверху, задыхаясь, вяз
Бросает в трепет холст маркизы
И ветки вчерчивает в газ.
Взгляни, как Альпы лихорадит!
Как верен дому каждый шаг!
О, будь прекрасна, бога ради.
Ради, только так.
Когда ж твоя стократ прекрасней
Убийственная красота
И только с ней и до утра с ней
Ты отчужденьем облита,
То атропин и белладонну
Когда-нибудь в тоску вкропив,
И я, как ты, взгляну бездонно,
И я, как ты, скажу: терпи.

Марбург

Я вздрагивал. Я загорался и гас.
Я трясся. Я сделал сейчас предложенье, —
Но поздно, я сдрейфил, и вот мне – отказ.
Как жаль ее слез! Я святого блаженней!
Я вышел на площадь. Я мог быть сочтен
Вторично родившимся. Каждая малость
Жила и, не ставя меня ни во что,
В прощальном значеньи своем подымалась.
Плитняк раскалялся, и улицы лоб
Был смугл, и на небо глядел исподлобья
Булыжник, и ветер, как лодочник, греб
По липам. И все это были подобья.
Но, как бы то ни было, я избегал
Их взглядов. Я не замечал их приветствий.
Я знать ничего не хотел из богатств.
Я вон вырывался, чтоб не разреветься.

Инстинкт прирожденный, старик-подхалим,
Был невыносим мне. Он крался бок о бок
И думал: "ребячья зазноба. За ним,
К несчастью, придется присматривать в оба".

«Шагни, и еще раз», – твердил мне инстинкт,
И вел меня мудро, как старый схоластик,
Чрез девственный, непроходимый тростник
Нагретых деревьев, сирени и страсти.

«Научишься шагом, а после хоть в бег», —
Твердил он, и новое солнце с зенита
Смотрело, как сызнова учат ходьбе
Туземца планеты на новой планиде.

Одних это все ослепляло. Другим —
Той тьмою казалось, что глаз хоть выколи.
Копались цыплята в кустах георгин,
Сверчки и стрекозы, как часики, тикали.
Плыла черепица, и полдень смотрел,
Не смаргивая, на кровли. А в Марбурге
Кто, громко свища, мастерил самострел,
Кто молча готовился к Троицкой ярмарке.

Желтел, облака пожирая, песок.
Предгрозье играло бровями кустарника.
И небо спекалось, упав на кусок
Кровоостанавливающей арники.

В тот день всю тебя, от гребенок до ног,
Как трагик в провинции драму шекспирову,
Носил я с собою и знал назубок,
Шатался по городу и репетировал.

Когда я упал пред тобой, охватив
Туман этот, лед этот, эту поверхность
(как ты хороша!) – Этот вихрь духоты…
О чем ты? Опомнись! Пропало. Отвергнут.

Тут жил Мартин Лютер. Там – братья Гримм.
Когтистые крыши. Деревья. Надгробья.
И все это помнит и тянется к ним.
Все – живо. И все это тоже – подобья.

Нет, я не пойду туда завтра. Отказ —
Полнее прощанья. Все ясно. Мы квиты.
Вокзальная сутолока не про нас.
Что будет со мною, старинные плиты?

Повсюду портпледы разложит туман,
И в обе оконницы вставят по месяцу.
Тоска пассажиркой скользнет по томам

И с книжкою на оттоманке поместится.

Чего же я трушу? Ведь я, как грамматику,
Бессонницу знаю. У нас с ней союз.
Зачем же я, словно прихода лунатика,
Явления мыслей привычных боюсь?
Ведь ночи играть садятся в шахматы
Со мной на лунном паркетном полу,
Акацией пахнет, и окна распахнуты,
И страсть, как свидетель, седеет в углу.
И тополь – король. Я играю с бессонницей.
И ферзь – соловей. Я тянусь к соловью.
И ночь побеждает, фигуры сторонятся,
Я белое утро в лицо узнаю.

Сестра моя – жизнь
(лето 1917 года)

Посвящается Лермонтову
Des braust der Wald, am himmel Ziehn
Des smurmes Donnerfluge,
Da mahl' ich in die Wetter hin,
O, Madchen, Beine Zuge.[1]
Nic. Lenau

Памяти Демона

Приходил по ночам
В синеве ледника от Тамары.
Парой крыл намечал,
Где гудеть, где кончаться кошмару.

Не рыдал, не сплетал
Оголенных, исхлестанных, в шрамах.
Уцелела плита
За оградой грузинского храма.

Как горбунья дурна,
Под решеткою тень не кривлялась.
У лампады зурна,
Чуть дыша, о княжне не справлялась.

Но сверканье рвалось
В волосах, и, как фосфор, трещали.
И не слышал колосс,

---

[1] Бушует лес, по небу пролетают грозовые тучи,
Тогда в движении бури мне видятся твои девичьи Черты. Н. Ленау (нем.)

Как седеет Кавказ за печалью.

От окна на аршин,
Пробирая шерстинки бурнуса,
Клялся льдами вершин:
Спи, подруга, – лавиной вернуся.

Не время ль птицам петь

Про эти стихи

На тротуарах истолку
С стеклом и солнцем пополам,
Зимой открою потолоку
И дам читать сырым углам.
Задекламирует чердак
С поклоном рамам и зиме.
К карнизам прянет чехарда
Чудачеств, бедствий и замет.
Буран не месяц будет месть.
Концы, начала заметет.
Внезапно вспомню: солнце есть;
Увижу: свет давно не тот.
Галчонком глянет рождество,
И разгулявшийся денек
Откроет много из того,
Что мне и милой невдомек.
В кашне, ладонью заслонясь,
Сквозь фортку крикну детворе:
Какое, милые, у нас
Тысячелетье на дворе?
Кто тропку к двери проторил,
К дыре, засыпанной крупой,
Пока я с Байроном курил,
Пока я пил с Эдгаром По?
Пока в Дарьял, как к другу, вхож,
Как в ад, в цейхгауз и в арсенал,
Я жизнь, как Лермонтова дрожь,
Как губы, в вермут окунал.

Тоска

Для этой книги на эпиграф
Пустыни сипли,
Ревели львы и к зорям тигров
Тянулся Киплинг.
Зиял, иссякнув, страшный кладезь
Тоски отверстой,

Качались, ляская и гладясь

Теперь качаться продолжая
В стихах вне ранга,
Бредут в туман росой лужаек
И снятся Гангу.

Рассвет холодною ехидной
Вползает в ямы,
И в джунглях сырость панихиды
И фимиама.

Сестра моя – жизнь и сегодня в разливе

Сестра моя – жизнь и сегодня в разливе
Расшиблась весенним дождем обо всех,
Но люди в брелоках высоко брюзгливы
И вежливо жалят, как змеи в овсе.

У старших на это свои есть резоны.
Бесспорно, бесспорно смешон твой резон,
Что в грозу лиловы глаза и газоны
И пахнет сырой резедой горизонт.

Что в мае, когда поездов расписанье
Камышинской веткой читаешь в пути,
Оно грандиозней святого писанья,
Хотя его сызнова все перечти.

Что только закат озарит хуторянок,
Толпою теснящихся на полотне,
Я слышу, что это не тот полустанок,
И солнце, садясь, соболезнует мне.

И в третий плеснув, уплывает звоночек
Сплошным извиненьем: жалею, не здесь.
Под шторку несет обгорающей ночью,
И рушится степь со ступенек к звезде.

Мигая, моргая, но спят где-то сладко,
И фата-морганой любимая спит
Тем часом, как сердце, плеща по площадкам,
Вагонными дверцами сыплет в степи.

Плачущий сад

Ужасный! – Капнет и вслушается:
Все он ли один на свете

Мнет ветку в окне, как кружевце,
Или есть свидетель.

Но давится внятно от тягости
Отеков – земля ноздревая,
И слышно: далеко, как в августе,
Полуночь в полях назревает.

Ни звука. И нет соглядатаев.
В пустынности удостоверясь,
Берется за старое – скатывается
По кровле, за желоб и через.
К губам поднесу и прислушаюсь:
Все я ли один на свете,
Готовый навзрыд при случае,
Или есть свидетель.
Но тишь. И листок не шелохнется.
Ни признака зги, кроме жутких
Глотков и плескания в шлепанцах,
И вздохов и слез в промежутке.

Зеркало

В трюмо испаряется чашка какао,
Качается тюль, и – прямой
Дорожкою в сад, в бурелом и хаос
К качелям бежит трюмо.
Там сосны враскачку воздух саднят
Смолой; там по маете
Очки по траве растерял палисадник,
Там книгу читает тень.
И к заднему плану, во мрак, за калитку
В степь, в запах сонных лекарств
Струится дорожкой, в сучках и в улитках
Мерцающий жаркий кварц.
Огромный сад тормошится в зале
В трюмо – и не бьет стекла!
Казалось бы, все коллодий залил,
С комода до шума в стволах.
Зеркальная все б, казалось, нахлынь
Непотным льдом облила,
Чтоб сук не горчил и сирень не пахла, —
Гипноза залить не могла.
Несметный мир семенит в месмеризме,
И только ветру связать,
Что ломится в жизнь и ломается в призме,
И радо играть в слезах.
Души не взорвать, как селитрой залежь,
Не вырыть, как заступом клад.
Огромный сад тормошится в зале

В трюмо – и не бьет стекла.

И вот, в гипнотической этой отчизне
Ничем мне очей не задуть.
Так после дождя проползают слизни
Глазами статуй в саду.

Шуршит вода по ушам, и, чирикнув,
На цыпочках скачет чиж.
Ты можешь им выпачкать губы черникой,
Их шалостью не опоишь.

Огромный сад тормошится в зале,
Подносит к трюмо кулак,
Бежит на качели, ловит, салит,
Трясет – и не бьет стекла!

Девочка

Ночевала тучка золотая
На груди утеса великана.

Из сада, с качелей, с бухты-барахты
Вбегает ветка в трюмо!
Огромная, близкая, с каплей смарагда
На кончике кисти прямой.

Сад застлан, пропал за ее беспорядком,
За бьющей в лицо кутерьмой.
Родная, громадная, с сад, а характером —
Сестра! Второе трюмо!

Но вот эту ветку вносят в рюмке
И ставят к раме трюмо.
Кто это, гадает, глаза мне рюмит
Тюремной людской дремой?

Ты в ветре, веткой пробующем…

Ты в ветре, веткой пробующем,
Не время ль птицам петь,
Намокшая воробышком
Сиреневая ветвь!

У капель тяжесть запонок,
И сад слепит, как плес,
Обрызганный, закапанный
Мильоном синих слез.

Моей тоскою вынянчен
И от тебя в шипах,
Он ожил ночью нынешней,
Забормотал, запах.
Всю ночь в окошко торкался,
И ставень дребезжал.
Вдруг дух сырой прогорклости
По платью пробежал.
Разбужен чудным перечнем
Тех прозвищ и времен,
Обводит день теперешний
Глазами анемон.

Дождь

Надпись на "Книге степи"

Она со мной. Наигрывай,
Лей, смейся, сумрак рви!
Топи, теки эпиграфом
К такой, как ты любви!
Снуй шелкопрядом тутовым
И бейся об окно.
Окутывай, опутывай,
Еще не всклянь темно!
– Ночь в полдень, ливень, – гребень ей!
На щебне, взмок – возьми!
И – целыми деревьями
В глаза, в виски, в жасмин!
Осанна тьме египетской!
Хохочут, сшиблись, – ниц!
И вдруг пахнуло выпиской
Из тысячи больниц.
Теперь бежим сощипывать,
Как стон со ста гитар,
Омытый мглою липовой
Садовый сен-готард.

Книга степи

До всего этого была зима

st-il possiBle,
– le fut-il?
Verlaine

До всего этого была зима
В занавесках кружевных
Воронье.
Ужас стужи уж и в них
Заранен.

Это кружится октябрь,
Это жуть
Подобралась на когтях
К этажу.

Что ни просьба, что ни стон,
То, кряхтя,
Заступаются шестом
За октябрь.

Ветер за руки схватив,
Дерева
Гонят лестницей с квартир
По дрова.

Снег все гуще, и с колен —
В магазин
С восклицаньем: "сколько лет,
Сколько зим!"

Сколько раз он рыт и бит,
Сколько им
Сыпан зимами с копыт
Кокаин!

Мокрой солью с облаков
И с удил
Боль, как пятна с башлыков,
Выводил.

Из суеверья

Коробка с красным померанцем —
Моя каморка.
О, не об номера ж мараться
По гроб, до морга!

Я поселился здесь вторично
Из суеверья.
Обоев цвет, как дуб, коричнев
И – пенье двери.

Из рук не выпускал защелки.
Ты вырывалась.

И чуб касался чудной челки,
И губы – фиалок.

О неженка, во имя прежних
И в этот раз твой
Наряд щебечет, как подснежник
Апрелю: здравствуй!

Грех думать – ты не из весталок:
Вошла со стулом,
Как с полки, жизнь мою достала
И пыль обдула.
Не трогать
«Не трогать, свежевыкрашен», —
Душа не береглась,
И память – в пятнах икр и щек,
И рук, и губ, и глаз.
Я больше всех удач и бед
За то тебя любил,
Что пожелтелый белый свет
С тобой – белей белил.
И мгла моя, мой друг, божусь,
Он станет как-нибудь
Белей, чем бред, чем абажур,
Чем белый бинт на лбу!

Ты так играла эту роль!

Ты так играла эту роль!
Я забывал, что сам – суфлер!
Что будешь петь и во второй,
Кто б первой ни совлек.
Вдоль облаков шла лодка. Вдоль
Лугами кошеных кормов.
Ты так играла эту роль,
Как лепет шлюз – кормой!
И, низко рея на руле касаткой об одном крыле,
Ты так! – Ты лучше всех ролей
Играла эту роль!

Балашов

По будням медник подле вас
Клепал, лудил, паял,
А впрочем – масла подливал
В огонь, как пай к паям.

И без того душило грудь,

И песнь небес: «Твоя, твоя!»
И без того лилась в жару
В вагон, на саквояж.
Сквозь дождик сеялся хорал
На гроб и в шляпы молокан,
А впрочем – ельник подбирал
К прощальным облакам.

И без того взошел, зашел
В больной душе, щемя, мечась,
Большой, как солнце, Балашов
В осенний ранний час.

Лазурью июльскою облит,
Базар синел и дребезжал.
Юродствующий инвалид
Пиле, гундося, подражал.

Мой друг, ты спросишь, кто велит,
Чтоб жглась юродивого речь?
В природе лип, в природе плит,
В природе лета было жечь.

Подражатели

Пекло, и берег был высок.
С подплывшей лодки цепь упала
Змеей гремучею – в песок,
Гремучей ржавчиной – в купаву.

И вышли двое. Под обрыв
Хотелось крикнуть им: "простите,
Но бросьтесь, будьте так добры,
Не врозь, так в реку, как хотите.

Вы верны лучшим образцам.
Конечно, ищущий обрящет.
Но… Бросьте лодкою бряцать:
В траве терзается образчик".

Образец

О, бедный Homo Sapiens,
Существованье – гнет.
Былые годы за пояс
Один такой заткнет.

Все жили в сушь и впроголодь,

В борьбе ожесточась,
И никого не трогало,
Что чудо жизни – с час.

С тех рук впивавши ландыши,
На те глаза дышав,
Из ночи в ночь валандавшись,
Гормя горит душа.
Одна из южных мазанок
Была других южней.
И ползала, как пасынок,
Трава в ногах у ней.
Сушился холст. Бросается
Еще сейчас к груди
Плетень в ночной красавице,
Хоть год и позади.
Он незабвенен тем еще,
Что пылью припухал,
Что ветер лускал семечки,
Сорил по лопухам.
Что незнакомой мальвою
Вел, как слепца, меня,
Чтоб я тебя вымаливал
У каждого плетня.
Сошел и стал окидывать
Тех новых луж масла,
Разбег тех рощ ракитовых,
Куда я письма слал.
Мой поезд только тронулся,
Еще вокзал, Москва,
Плясали в кольцах, в конусах
По насыпи, по рвам,
А уж гудели кобзами
Колодцы, и пылясь,
Скрипели, бились об землю
Скирды и тополя.
Пусть жизнью связи портятся,
Пусть гордость ум вредит,
Но мы умрем со спертостью
Тех розысков в груди.

Развлечения любимой

Душистою веткою машучи

Душистою веткою машучи,
Впивая впотьмах это благо,
Бежала на чашечку с чашечки
Грозой одуренная влага.

На чашечку с чашечки скатываясь,
Скользнула по двум, – и в обеих
Огромною каплей агатовою
Повисла, сверкает, робеет.

Пусть ветер, по таволге веющий,
Ту капельку мучит и плющит.
Цела, не дробится, – их две еще
Целующихся и пьющих.

Смеются и вырваться силятся
И выпрямиться, как прежде,

Да капле из рылец не вылиться,
И не разлучаться, хоть режьте.

Сложа весла

Лодка колотится в сонной груди,
Ивы нависли, целуют в ключицы,
В локти, в уключины – 0, погоди,
Это ведь может со всяким случиться!

Этим ведь в песне тешатся все.
Это ведь значит – пепел сиреневый,
Роскошь крошеной ромашки в росе,
Губы и губы на звезды выменивать!

Это ведь значит – обнять небосвод,
Руки сплести вкруг Геракла громадного,
Это ведь значит – века напролет
Ночи на щелканье славок проматывать!

Весенний дождь

Усмехнулся черемухе, всхлипнул, смочил
Лак экипажей, деревьев трепет.
Под луною на выкате гуськом скрипачи
Пробираются к театру. Граждане, в цепи!

Лужи на камне. Как полное слез
Горло – глубокие розы, в жгучих,
Влажных алмазах. Мокрый нахлест
Счастья – на них, на ресницах, на тучах.

Впервые луна эти цепи и трепет
Платьев и власть восхищенных уст

Гипсовую эпопеею лепит,
Лепит никем не лепленный бюст.

В чьем это сердце вся кровь его быстро
Хлынула к славе, схлынув со щек?
Вон она бьется: руки министра
Рты и аорты сжали в пучок.
Это не ночь, не дождь и не хором
Рвущееся: «Керенский, ура!»,
Это слепящий выход на форум
Из катакомб, безысходных вчера.
Это не розы, не рты, не ропот
Толп, это здесь, пред театром – прибой
Заколебавшийся ночи Европы,
Заколебавшейся ночи Европы.

Свистки милиционеров

Дворня бастует. Брезгуя
Мусором пыльным и тусклым,
Ночи сигают до брезгу
Через заборы на мускулах.
Возятся в вязах, падают,
Не удержавшись, с деревьев,
Вскакивают: за оградою
Север злодейств сереет.
И вдруг – из садов, где твой
Лишь глаз ночевал, из милого
Душе твоей мрака, – плотвой
Свисток расплескавшийся выловлен.
Милиционером зажат
В кулак, как он дергает жабрами,
И горлом, и глазом, назад,
По-рыбьи, наискось задранным!
Трепещущего серебра
Пронзительная горошина,
Как утро, бодряще мокра,
Звездой за забор переброшена.
И там, где тускнеет восток
Чахоткою летнего Тиволи,
Валяется дохлый свисток,
В пыли агонической вывалян.

Звезды летом

Рассказали страшное,
Дали точный адрес.
Отпирают, спрашивают,

Движутся, как в театре.

Тишина, ты – лучшее
Из всего, что слышал.
Некоторых мучает,
Что летают мыши.

Июльской ночью слободы —
Чудно белокуры.
Небо в бездне поводов,
Чтоб набедокурить.

Блещут, дышат радостью,
Обдают сияньем,
На таком-то градусе
И меридиане.

Ветер розу пробует
Приподнять по просьбе
Губ, волос и обуви,
Подолов и прозвищ.

Газовые, жаркие,
Осыпают в гравий
Все, что им нашаркали,
Все, что наиграли.

Уроки английского

Когда случилось петь Дездемоне, —
А жить так мало оставалось, —
Не по любви, своей звезде, она, —
По иве, иве разрыдалась.

Когда случилось петь Дездемоне
И голос завела, крепясь,
Про черный день чернейший демон ей
Псалом плакучих русл припас.

Когда случилось петь Офелии, —
А жить так мало оставалось, —
Всю сушь души взмело и свеяло,
Как в бурю стебли с сеновала.

Когда случилось петь Офелии, —
А горечь слез осточертела, —
С какими канула трофеями?
С охапкой верб и чистотела.

Дав страсти с плеч отлечь, как рубищу,

Входили с сердца замираньем
В бассейн вселенной, стан свой любящий
Обдать и оглушить мирами.

Занятье философией

Определение поэзии

Это – круто налившийся свист,
Это – щелканье сдавленных льдинок,
Это – ночь, леденящая лист,
Это – двух соловьев поединок.
Это – сладкий заглохший горох,
Это – слезы вселенной в лопатках,
Это – с пультов и флейт – фигаро
Низвергается градом на грядку.
Все, что ночи так важно сыскать
На глубоких купаленных доньях,
И звезду донести до садка
На трепещущих мокрых ладонях.
Площе досок в воде – духота.
Небосвод завалился ольхою,
Этим звездам к лицу б хохотать,
Ан вселенная – место глухое.

Определение души

Спелой грушею в бурю слететь
Об одном безраздельном листе.
Как он предан – расстался с суком —
Сумасброд – задохнется в сухом!
Спелой грушею, ветра косей.
Как он предан, – «меня не затреплет!»
Оглянись: отгремела в красе,
Отплыла, осыпалась – в пепле.
Нашу родину буря сожгла.
Узнаешь ли гнездо свое, птенчик?
О мой лист, ты пугливей щегла!
Что ты бьешься, о шелк мой застенчивый?
О, не бойся, приросшая песнь!
И куда порываться еще нам?
Ах, наречье смертельное «здесь» —
Невдомек содроганью сращенному.

Болезни земли

О еще! Раздастся ль только хохот
Перламутром, Иматрой бацилл,
Мокрым гулом, тьмой стафилококков,
И блеснут при молниях резцы,

Так – шабаш! Нешаткие титаны
Захлебнутся в черных сводах дня.
Тени стянет трепетом tetanus,[2]
И медянок запылит столбняк.

Вот и ливень. Блеск водобоязни,
Вихрь, обрывки бешеной слюны.
Но откуда? С тучи, с поля, с Клязьмы
Или с сардонической сосны?

Чьи стихи настолько нашумели,
Что и гром их болью изумлен?
Надо быть в бреду по меньшей мере,
Чтобы дать согласье быть землей.

Определение творчества

Разметав отвороты рубашки,
Волосато, как торс у Бетховена,
Накрывает ладонью, как шашки,
Сон, и совесть, и ночь, и любовь оно.

И какую-то черную доведь,[3]
И – с тоскою какою-то бешеной —
К преставлению света готовит,
Конноборцем над пешками пешими.

А в саду, где из погреба, со льду,
Звезды благоуханно разахались,
Соловьем над лозою изольды
Захлебнулась тристанова захолодь.

И сады, и пруды, и ограды,
И кипящее белыми воплями
Мирозданье – лишь страсти разряды,
Человеческим сердцем накопленной.

Наша гроза

---

[2] столбняк (лат)

[3] доведь – шашка, проведенная в дамки.

Гроза, как жрец, сожгла сирень
И дымом жертвенным застлала
Глаза и тучи, расправляй
Губами вывих муравья.
Звон ведер сшиблен набекрень.
О, что за жадность: неба мало?
В канаве бьется сто сердец.
Гроза сожгла сирень, как жрец.
В эмали – луг. Его лазурь,
Когда бы зябли, – соскоблили.
Но даже зяблик не спешит
Стряхнуть алмазный хмель с души.
У кадок пьют еще грозу
Из сладких шапок изобилья,
И клевер бурен и багров
В бордовых брызгах маляров.
К малине липнут комары.
Однако хобот малярийный,
Как раз сюда вот, изувер,
Где роскошь лета розовей?
Сквозь блузу заронить нарыв
И сняться красной балериной?
Всадить стрекало озорства,
Где кровь, как мокрая листва?
О, верь игре моей, и верь
Гремящей вслед тебе мигрени!
Так гневу дня судьба гореть
Дичком в черешенной коре.
Поверила? Теперь, теперь
Приблизь лицо, и в озареньи
Святого лета твоего
Раздую я в пожар его!
Я от тебя не утаю:
Ты прячешь губы в снег жасмина,
Я чую на моих тот снег,
Он тает на моих во сне.
Куда мне радость деть мою?
В стихи, в графленую осьмину?
У них растрескались уста
От ядов писчего листа.
Они с алфавитом в борьбе,
Горят румянцем на тебе.

Заместительница

Я живу с твоей карточкой, с той, что хохочет,
У которой суставы в запястьях хрустят,
Той, что пальцы ломает и бросить не хочет,

У которой гостят и гостят и грустят.

Что от треска колод, от бравады ракочи,
От стекляшек в гостиной, от стекла и гостей
По пианино в огне пробежится и вскочит —
От розеток, костяшек, и роз, и костей.

Чтоб прическу ослабив и чайный и шалый,
Зачаженный бутон заколов за кушак,
Провальсировать к славе, шутя, полушалок
Закусивши, как муку, и еле дыша.

Чтобы, комкая корку рукой, мандарина
Холодящие дольки глотать, торопясь
В опоясанный люстрой, позади, за гардиной,
Зал, испариной вальса запахший опять.

Так сел бы вихрь, чтоб на пари
Порыв паров в пути
И мглу и иглы, как мюрид,
Не жмуря глаз снести.

И обьявить, что не скакун,
Не шалый шепот гор,
Но эти розы на боку
Несут во весь опор.

Не он, не он, не шепот гор,
Не он, не топ подков,
Но только то, но только то,
Что – стянута платком.

И только то, что тюль и ток,
Душа, кушак и в такт
Смерчу умчавшийся носок
Несут, шумя в мечтах.

Им, им – и от души смеша,
И до упаду, в лоск,
На зависть мчащимся мешкам,
До слез – до слез!

Песни в письмах, чтобы не скучала

Воробьевы горы

Грудь под поцелуи, как под рукомойник!
Ведь не век, не сряду, лето бьет ключом.
Ведь не ночь за ночью низкий рев гармоник

Подымаем с пыли, топчем и влечем.
Я слыхал про старость. Страшны прорицанья!
Рук к звездам не вскинет ни один бурун.
Говорят – не веришь. На лугах лица нет,
У прудов нет сердца, бога нет в бору.
Расколышь же душу! Всю сегодня выпей.
Это полдень мира. Где глаза твои?
Видишь, в высях мысли сбились в белый кипень
Дятлов, туч и шишек, жара и хвои.
Здесь пресеклись рельсы городских трамваев.
Дальше служат сосны, дальше им нельзя.
Дальше – воскресенье, ветки отрывая,
Разбежится просека, по траве скользя.
Просевая полдень, тройцын день, гулянье,
Просит роща верить: мир всегда таков.
Так задуман чащей, так внушен поляне,
Так на нас, на ситцы пролит с облаков.
Mein LiBchen, was willst du noch mehr?[4]
По стене сбежали стрелки.
Час похож на таракана.
Брось, к чему швырять тарелки,
Бить тревогу, бить стаканы?
С этой дачею дощатой0
Может и не то случиться.
Счастье, счастью нет пощады!
Гром не грянул, что креститься?
Может молния ударить, —
Вспыхнет мокрою кабинкой.
Или всех щенят раздарят.
Дождь крыло пробьет дробинкой.
Все еще нам лес – передней.
Лунный жар за елью – печью,
Все, как стираный передник,
Туча сохнет и лепечет.

И когда к колодцу рвется
Смерч тоски, то мимоходом
Буря хвалит домоводство.
Что тебе еще угодно?

Год сгорел на керосине
Залетевшей в лампу мошкой.
Вон зарею серо-синей
Встал он сонный, встал намокший.

Он глядит в окно, как в дужку,
Старый, страшный состраданьем.
От него мокра подушка,
Он зарыл в нее рыданья.

---

[4] Любимая, что тебе еще угодно? (Нем.)

Чем утешить эту ветошь?
О, ни разу не шутивший,
Чем запущенного лета
Грусть заглохшую утишить?

Лес навис в свинцовых пасмах,
Сед и пасмурен репейник,
Он – в слезах, а ты прекрасна,
Вся, как день, как нетерпенье!

Что он плачет, старый олух?
Иль видал каких счастливей?
Иль подсолнечники в селах
Гаснут – солнца – в пыль и ливень?

Распад

Вдруг стало видимо далеко
Во все концы света.
Гоголь

Куда часы нам затесать?
Как скоротать тебя, распад?
Поволжьем мира чудеса
Взялись, бушуют и не спят.

И где привык сдаваться глаз
На милость засухи степной,
Она, туманная, взвилась
Революционною копной.

По элеваторам, вдали,
В пакгаузах, очумив крысят,
Пылают балки и кули,
И кровли гаснут и росят.

У звезд немой и жаркий спор:
Куда девался Балашов?
В скольких верстах? И где хопер?
И воздух степи всполошен:
Он чует, он впивает дух
Солдатских бунтов и зарниц,
Он замер, обращаясь в слух.
Ложится – слышит: обернись!
Там – гул. Ни лечь, ни прикорнуть.
По площадям летает трут.
Там ночь, шатаясь на корню,
Целует уголь поутру.

Романовка

Степь

Как были те выходы в тишь хороши!
Безбрежная степь, как марина.
Вздыхает ковыль, шуршат мураши,
И плавает плач комариный.
Стога с облаками построились в цепь
И гаснут, вулкан на вулкане.
Примолкла и взмокла безбрежная степь,
Колеблет, относит, толкает.
Туман отовсюду нас морем обстиг,
В волчцах волочась за чулками,
И чудно нам степью, как взморьем, брести —
Колеблет, относит, толкает.
Не стог ли в тумане? Кто поймет?
Не наш ли омет? Доходим. – Он.
– Нашли! Он самый и есть. – Омет.
Туман и степь с четырех сторон.
И млечный путь стороной ведет
На Керчь, как шлях, скотом пропылен.
Зайти за хаты, и дух займет:
Открыт, открыт с четырех сторон.
Туман снотворен, ковыль, как мед.
Ковыль всем млечным путем рассорен.
Туман разойдется, и ночь обоймет
Омет и степь с четырех сторон.
Тенистая полночь стоит у пути,
На шлях навалилась звездами,
И через дорогу за тын перейти
Нельзя, не топча мирозданья.

Когда еще звезды так низко росли,
И полночь в бурьян окунало,
Пылал и пугался намокший муслин,
Льнул, жался и жаждал финала?
Пусть степь нас рассудит и ночь разрешит,
Когда, когда не: – в начале
Плыл плач комариный, ползли мураши,
Волчцы по чулкам торчали?

Закрой их, любимая! Запорошит!
Вся степь – как до грехопаденья:
Вся – миром обьята, вся – как парашют,
Вся – дыбящееся виденье!

Душная ночь

Накрапывало, – но не гнулись
И травы в грозовом мешке,
Лишь пыль глотала дождь в пилюлях,
Железо в тихом порошке.

Селенье не ждало целенья,
Был мак, как обморок, глубок,
И рожь горела в воспаленье,
И в лихорадке бредил бог.

В осиротелой и бессонной,
Сырой, всемирной широте
С постов спасались бегством стоны,
Но вихрь, зарывшись, коротел.

За ними в бегстве слепли следом
Косые капли. У плетня
Меж мокрых веток с ветром бледным
Шел спор. Я замер. Про меня!

Я чувствовал, он будет вечен,
Ужасный, говорящий сад.
Еще я с улицы за речью
Кустов и ставней – не замечен,

Заметят – некуда назад:
Навек, навек заговорят.

Еще более душный рассвет

Все утро голубь ворковал
На желобах,
Как рукава сырых рубах,
Мертвели ветки.
Накрапывало. Налегке
Шли пыльным рынком тучи,
Тоску на рыночном лотке,
Боюсь, мою
Баюча.
Я умолял их перестать.
Казалось – перестанут
Рассвет был сер, как спор в кустах,
Как говор арестантов.
Я умолял приблизить час,
Когда за окнами у вас
Нагорным ледником
Бушует умывальный таз
И песни колотой куски,

Жар наспанной щеки и лоб
В стекло горячее, как лед,
На подзеркальник льет.
Но высь за говором под стяг
Идущих туч
Не слышала мольбы
В запорошенной тишине,
Намокшей, как шинель,
Как пыльный отзвук молотьбы,
Как громкий спор в кустах.
Я их просил —
Не мучьте!
Не спится.
Но – моросило, и, топчась,
Шли пыльным рынком тучи,
Как рекруты, за хутор, поутру,
Брели не час, не век,
Как пленные австрийцы,
Как тихий хрип,
Как хрип:
"Испить,
Сестрица".

Попытка душу разлучить

Мучкап

Душа – душна, и даль табачного
Какого-то, как мысли, цвета.
У мельниц – вид села рыбачьего:
Седые сети и корветы.

Крылатою стоянкой парусной
Застыли мельницы в селеньи,
И все полно тоскою яростной
Отчаянья и нетерпенья.

Ах, там и час скользит, как камешек
Заливом, мелью рикошета!
Увы, не тонет, нет, он там еще,
Табачного, как мысли, цвета.

Увижу нынче ли опять ее?
До поезда ведь час. Конечно!
Но этот час обьят апатией
Морской, предгромовой, кромешной.

Мухи мучканской чайной

Если бровь резьбою
Потный лоб украсила,
Значит, и разбойник?
Значит, за дверь засветло?

Но в чайной, где черные вишни
Глядят из глазниц и из мисок
На веток кудрявый девичник,
Есть, есть чему изумиться!

Солнце, словно кровь с ножа,
Смыл – и стал необычаен.
Словно преступленья жар
Заливает черным чаем.

Пыльный мак паршивым пащенком
Никнет в жажде берегущей
К дню, в душе его кипящему,
К дикой, терпкой божьей гуще.

Ты завешь меня святым,
Я тебе и дик и чуден, —
А глыбастые цветы
На часах и на посуде?

Неизвестно, на какой
Из страниц земного шара
Отпечатаны рекой
Зной и тявканье овчарок,
Дуб и вывески финифть.
Не стерпевшая и плашмя
Кинувшаяся от ив
К прудовой курчавой яшме.
Но текут и по ночам
Мухи с дюжин, пар и порций,
С крученого паныча,
С мутной книжки стихотворца.
Будто это бред с пера,
Не владеючи собою,
Брызнул окна запирать
Саранчою по обоям.
Будто в этот час пора
Разлететься всем пружинам,
И жужжа, трясясь, спираль
Тополь бурей окружила.
Где? В каких местах? В каком
Дико мыслящемся крае?
Знаю только: в сушь и в гром,
Пред грозой, в июле, – знаю.

Дик прием был, дик приход

Дик прием был, дик приход,
Еле ноги доволок.
Как воды набрала в рот,
Взор уперла в потолок.
Ты молчала. Ни за кем
Не рвался с такой тугой.
Если губы на замке,
Вешай с улицы другой.
Нет, не на дверь, не в пробой,
Если на сердце запрет,
Но на весь одной тобой
Немутимо белый свет.
Чтобы знал, как балки брус
По – над лбом проволоку,
Что в глаза твои упрусь,
В непрорубную тоску.

Чтоб бежал с землей знакомств,
Видев издали, с пути
Гарь на солнце под замком,
Гниль на веснах взаперти.

Не вводи души в обман,
Оглуши, завесь, забей.
Пропитала, как туман,
Груду белых отрубей.

Если душным полднем желт
Мышью пахнущий овин,
Обличи, скажи, что лжет
Лжесведетельство любви.

Попытка душу разлучить

Попытка душу разлучить
С тобой, как жалоба смычка,
Еще мучительно звучит
В названьях Ржакса и Мучкап.

Я их, как будто это ты,
Как будто это ты сама,
Люблю всей силою тщеты,
До помрачения ума.

Как ночь, уставшую сиять,
Как то, что в астме – кисея,

Как то, что даже антресоль
При виде плеч твоих трясло.

Чей шепот реял на брезгу?
О, мой ли? Нет, душою – твой,
Он улетучивался с губ
Воздушней капли спиртовой.

Как в неге прояснялась мысль!
Безукоризненно. Как стон.
Как пеной, в полночь, с трех сторон
Внезапно озаренный мыс.

Возвращение

Как усыпительна жизнь!

Как усыпительна жизнь!
Как откровенья бессонны!
Можно ль тоску размозжить
Об мостовые кессоны?

Где с железа ночь согнал
Каплей копленный сигнал,
И колеблет всхлипы звезд
В апокалипсисе мост,
Переплет, цепной обвал
Балок, ребер, рельс и шпал.
Где, шатаясь, подают
Руки, падают, поют.
Из объятий, и – опять,
Не устанут повторять.
Где внезапно зонд вонзил
В лица вспыхнувший бензин
И остался, как загар,
На тупых концах сигар…
Это огненный тюльпан,
Полевой огонь бегоний
Жадно нюхает толпа,
Заслонив ладонью.
И сгорают, как в стыде,
Пыльники, нежнее лент,
Каждый пятый – инженер
И студент (интеллигенты).
Я с ними не знаком.
Я послан богом мучить
Себя, родных и тех,
Которых мучить грех.
Под Киевом – пески

И выплеснутый чай,
Присохший к жарким лбам,
Пылающим по классам.
Под Киевом, в числе
Песков, как кипяток,
Как смытый пресный след
Компресса, как отек…
Пыхтенье, сажу, жар
Не соснам разжижать.
Гроза торчит в бору,
Как всаженный топор.
Но где он, дроворуб?
До коих пор? Какой
Тропой идти в депо?
Сажают пассажиров,
Дают звонок, свистят,
Чтоб копоть послужила
Пустыней миг спустя.

Базары, озаренья
Ночных эспри и мглы,
А днем в сухой спирее
Вопль полдня и пилы.

Идешь, и с запасных
Доносится, как всхнык,
И начали стираться
Клохтанья и матрацы.

Я с ними не знаком.
Я послан богом мучить
Себя, родных и тех,
Которых мучить грех.

«мой сорт», кефир, менадо.
Чтоб разрыдаться, мне
Не так уж много надо, —
Довольно мух в окне.

Охлынет поле зренья,
С салфетки набежит,
От поросенка в хрене,
Как с полусонной ржи.

Чтоб разрыдаться, мне
По край, чтоб из редакций
Тянуло табачком
И падал жар ничком.

Чтоб щелкали с кольца
Клесты по канцеляриям
И тучи в огурцах

С отчаянья стрелялись.

Чтоб полдень осязал
Сквозь сон: в обед трясутся
По зову квизисан
Столы в пустых присутствиях,

И на лоб по жаре
Сочились сквозь малинник,
Где – блеск оранжерей,
Где – белый корпус клиники.

Я с ними не знаком.
Я послан богом мучить
Себя, родных и тех,
Которых мучить грех.

Возможно ль? Этот полдень
Сейчас, южней губернией,
Не сир, не бос, не голоден,
Блаженствует, соперник?

Вот этот душный, лишний,
Вокзальный вор, валандала,
Следит с соседских вишен
За вышиваньем ангела?
Синеет морем точек,
И, низясь, тень без косточек
Бросает, горсть за горстью
Измученной сорочке?
Возможно ль? Те вот ивы —
Их гонят с рельс шлагбаумами —
Бегут в объятья дива,
Обращены на взбалмошность?
Перенесутся за ночь,
С крыльца вздохнут эссенции
И бросятся хозяйничать
Порывом полотенец?
Увидят тень орешника
На каменном фундаменте?
Узнают день, сгоревший
С восхода на свиданьи?
Зачем тоску упрямить,
Перебирая мелочи?
Нам изменяет память,
И гонит с рельсов стрелочник.

У себя дома

Жар на семи холмах,

Голуби в тлелом сенце.
С солнца спадает чалма:
Время менять полотенце
(мокнет на днище ведра)
И намотать на купол.
В городе – говор мембран,
Шарканье клумб и кукол.
Надо гардину зашить:
Ходит, шагает масоном.
Как усыпительно – жить!
Как целоваться – бессонно!

Грязный, гремучий, в постель
Падает город с дороги.
Нынче за долгую степь
Веет впервые здоровьем.
Черных имен духоты
Не исчерпать.
Звезды, плацкарты, мосты,
Спать!

Елене

Елене

Я и непечатным
Словом не побрезговал бы,
Да на ком искать нам?
Не на ком и не с кого нам.

Разве просит арум
У болота милостыни?
Ночи дышат даром
Тропиками гнилостными.

Будешь – думал, чаял —
Ты с того утра видеться,
Век в душе качаясь
Лилиею, праведница!

Луг дружил с замашкой
Фауста, что ли, Гамлета ли,
Обегал ромашкой,
Стебли по ногам летали.

Или еле-еле,
Как сквозь сон, овеивая
Жемчуг ожерелья
На плече Офелиином.

Ночью бредил хутор:
Спать мешали перистые
Тучи. Дождик кутал
Ниву тихой переступью

Осторожных капель.
Юность в счастье плавала, как
В тихом детском храпе
Наспанная наволока.

Думал, – Трои б век ей,
Горьких губ изгиб целуя:
Были дивны веки
Царственные, гипсовые.

Милый, мертвый фартук
И висок пульсирующий.
Спи, царица Спарты,
Рано еще, сыро еще.
Горе не на шутку
Разыгралось, навеселе.
Одному с ним жутко.
Сбесится – управиться ли?
Плачь, шепнуло. Гложет?
Жжет? Такую ж на щеку ей!
Пусть судьба положит —
Матерью ли, мачехой ли.

Как у них

Лицо лазури пышет над лицом
Недышащей любимицы реки.
Подымется, шелохнется ли сом —
Оглушены. Не слышат. Далеки.
Очам в снопах, как кровлям, тяжело.
Как угли, блещут оба очага.
Лицо лазури пышет над челом
Недышащей подруги в бочагах,
Недышащей питомицы осок.
То ветер смех люцерны вдоль высот,
Как поцелуй воздушный, пронесет,
То, княженикой с топи угощен,
Ползет и губы пачкает хвощом
И треплет ручку веткой по щеке,
То киснет и хмелеет в тростнике.
У окуня ли екнут плавники, —
Бездонный день – огромен и пунцов.
Поднос Шелони – черен и свинцов.
Не свесть концов и не поднять руки…

Лицо лазури пышет над лицом
Недышащей любимицы реки.

Лето

Тянулось в жажде к хоботкам
И бабочкам и пятнам,
Обоим память оботкав
Медовым, майным, мятным.

Не ход часов, но звон цепов
С восхода до захода
Вонзался в воздух сном шипов,
Заворожив погоду.

Бывало – нагулявшись всласть,
Закат сдавал цикадам
И звездам и деревьям власть
Над кухнею и садом.

Не тени – балки месяц клал,
А то бывал в отлучке,
И тихо, тихо ночь текла
Трусцой, от тучки к тучке.

Скорей со сна, чем с крыш; скорей
Забывчивый, чем робкий,
Топтался дождик у дверей,
И пахло винной пробкой.

Так пахла пыль. Так пах бурьян.
И, если разобраться,
Так пахли прописи дворян
О равенстве и братстве.

Вводили земство в волостях,
С другими – вы, не так ли?
Дни висли, в кислице блестя,
И винной пробкой пахли.

Гроза моментальная навек

А затем прощалось лето
С полустанком. Снявши шапку,
Сто слепящих фотографий
Ночью снял на память гром.

Мерзла кисть сирени. В это

Время он, нарвав охапку
Молний, с поля ими трафил
Озарить управский дом.

И когда по кровле зданья
Разлилась волна злорадства
И, как уголь по рисунку,
Грянул ливень всем плетнем,

Стал мигать обвал сознанья:
Вот, казалось, озарятся
Даже те углы рассудка,
Где теперь светло, как днем.

Послесловие

Любимая – жуть! Когда любит поэт

Любимая – жуть! Когда любит поэт,
Влюбляется бог неприкаянный.
И хаос опять выползает на свет,
Как во времена ископаемых.
Глаза ему тонны туманов слезят.
Он застлан. Он кажется мамонтом.
Он вышел из моды. Он знает – нельзя:
Прошли времена – и безграмотно.
Он видит, как свадьбы справляют вокруг,
Как спаивают, просыпаются.
Как общелягушечью эту икру
Зовут, обрядив ее, паюсной.
Как жизнь, как жемчужную шутку Ватто,
Умеют обнять табакеркою,
И мстят ему, может быть, только за то,
Что там, где кривят и коверкают,
Где лжет и кадит, ухмыляясь, комфорт,
И трутнями трутся и ползают,
Он вашу сестру, как вакханку с амфор,
Подымет с земли и использует.
И таянье Андов вольет в поцелуй,
И утро в степи, под владычеством
Пылящихся звезд, когда ночь по селу
Белеющим блеяньем тычется.
И всем, чем дышалось оврагам века,
Всей тьмой ботанической ризницы
Пахнет по тифозной тоске тюфяка
И хаосом зарослей брызнется.

Давай ронять слова

Мой друг, ты спросишь, кто велит,
Чтоб жглась юродивого речь?

Давай ронять слова,
Как сад – янтарь и цедру,
Рассеянно и щедро,
Едва, едва, едва.
Не надо толковать,
Зачем так церемонно
Мареной и лимоном
Обрызнута листва.

Кто иглы заслезил
И хлынул через жерди
На ноты, к этажерке
Сквозь шлюзы жалюзи.

Кто коврик за дверьми
Рябиной иссурьмил,
Рядном сквозных, красивых
Трепещущих курсивов.

Ты спросишь, кто велит,
Чтоб август был велик,
Кому ничто не мелко,
Кто погружен в отделку

Кленового листа
И с дней экклезиаста
Не покидал поста
За теской алебастра?

Ты спросишь, кто велит,
Чтоб губы астр и далий
Сентябрьские страдали?
Чтоб мелкий лист ракит
С седых кариатид
Слетал на сырость плит
Осенних госпиталей?

Ты спросишь, кто велит?
– всесильный бог деталей,
Всесильный бог любви,
Ягойлов и Ядвиг.

Не знаю, решена ль
Загадка зги загробной,
Но жизнь, как тишина
Осенняя, – подробна.

Имелось

Засим, имелся сеновал
И пахнул винной пробкой
С тех дней, что август миновал
И не пололи тропки.

В траве, на кислице, меж бус
Брильянты, хмурясь, висли,
По захлоделости на вкус
Напоминая рислинг.

Сентябрь составлял статью
В извозчичьем хозяйстве,
Летал, носил и по чутью
Предупреждал ненастье.

То, застя двор, водой с винцом
Желтил песок и лужи,
То с неба спринцевал свинцом
Оконниц полукружья.
То золотил их, залетев
С куста за хлев, к крестьянам,
То к нашему стеклу, с дерев
Пожаром листьев прянув.
Есть марки счастья. Есть слова
Vin gal, vin triste, – но верь мне,[5]
Что кислица – травой трава,
А рислинг – пыльный термин.
Имелась ночь. Имелось губ
Дрожанье. На веках висли
Брильянты, хмурясь. Дождь в мозгу
Шумел, не отдаваясь мыслью.
Казалось, не люблю, – молюсь
И не целую, – мимо
Не век, не час плывет моллюск,
Свеченьем счастья тмимый.
Как музыка: века в слезах,
А песнь не смеет плакать,
Тряслась, не прерываясь в ах! —
Коралловая мякоть.

Любить – идти, – не смолкнул гром

Любить – идти, – не смолкнул гром,

[5] Вино веселья, вино грусти (франц.)

Топтать тоску, не знать ботинок,
Пугать ежей, платить добром
За зло брусники с паутиной.
Пить с веток, бьющих по лицу,
Лазурь с отскоку полосуя:
«Так это эхо?» – И к концу
С дороги сбиться в поцелуях.
Как с маршем, бресть с репьем на всем.
К закату знать, что солнце старше
Тех звезд и тех телег с овсом,
Той Маргариты и корчмарши.
Терять язык, абонемент
На бурю слез в глазах валькирий,
И в жар всем небом онемев,
Топить мачтовый лес в эфире.

Разлегшись, сгресть, в шипах, клочьми
Событья лет, как шишки ели:
Шоссе; сошествие корчмы;
Светало; зябли; рыбу ели.

И, раз свалясь, запеть: "Седой,
Я шел и пал без сил. Когда-то
Давился город лебедой,
Купавшейся в слезах солдаток.

В тени безлунных длинных риг,
В огнях баклаг и бакалеен,
Наверное и он – старик
И тоже следом околеет".

Так пел я, пел и умирал.
И умирал и возвращался
К ее рукам, как бумеранг,
И – сколько помнится – прощался.

Послесловье

Нет, не я вам печаль причинил.
Я не стоил забвения родины.
Это солнце горело на каплях чернил,
Как в кистях запыленной смородины.

И в крови моих мыслей и писем
Завелась кошениль.
Этот пурпур червца от меня независим.
Нет, не я вам печаль причинил.

Это вечер из пыли лепился и, пышучи,
Целовал вас, задохшися в охре, пыльцой.

Это тени вам щупали пульс. Это, вышедши
За плетень, вы полям подставляли лицо
И пылали, плывя, по олифе калиток,
Полумраком, золою и маком залитых.

Это – круглое лето, горев в ярлыках
По прудам, как багаж солнцепеком заляпанных,
Сургучом опечатоло грудь бурлака
И сожгло ваши платья и шляпы.

Это ваши ресницы слипались от яркости,
Это диск одичалый, рога истесав
Об ограды, бодаясь, крушил палисад.
Это – запад, карбункулом вам в волоса
Залетев и гудя, угасал в полчаса,
Осыпая багрянец с малины и бархатцев.
Нет, не я, это – вы, это ваша краса.

Конец

Наяву ли все? Время ли разгуливать?
Лучше вечно спать, спать, спать, спать
И не видеть снов.
Снова – улица. Снова – полог тюлевый,
Снова, что ни ночь – степь, стог, стон
И теперь и впредь.
Листьям в августе, с астмой в каждом атоме,
Снится тишь и темь. Вдруг бег пса
Пробуждает сад.
Ждет – улягутся. Вдруг – гигант из затеми,
И другой. Шаги. «Тут есть болт».
Свист и зов: тубо!
Он буквально ведь обливал, обваливал
Нашим шагом шлях! Он и тын
Истязал тобой.
Осень. Изжелта-сизый бисер нижется.
Ах, как и тебе, прель, мне смерть,
Как приелось жить!
О, не вовремя ночь кадит маневрами
Паровозов; в дождь каждый лист
Рвется в степь, как те.
Окна сцены мне делают. Бесцельно ведь!
Рвется с петель дверь, целовав
Лед ее локтей.
Познакомь меня с кем-нибудь из вскормленных,
Как они, страдой южных нив,
Пустырей и ржи.
Но с оскоминой, но с оцепененьем, с комьями
В горле, но с тоской стольких слов
Устаешь дружить!

Темы и вариации
(1916—1922)

Пять повестей

Вдохновенье

По заборам бегут амбразуры,
Образуются бреши в стене,
Когда ночь оглашается фурой
Повестей, неизвестных весне.

Без клещей приближенье фургона
Вырывает из ниш костыли
Только гулом свершенных прогонов,
Подымающих пыль издали.

Этот грохот им слышен впервые.
Завтра, завтра понять я вам дам,
Как рвались из ворот мостовые,
Вылетая по жарким следам.

Как в росистую хвойную скорбкость
Скипидарной, как утро, струи
Погружали постройки свой корпус
И лицо окунал конвоир.

О, теперь и от лип не в секрете:
Город пуст по зарям оттого,
Что последний из смертных в карете

В то же утро, ушам не поверя,
Протереть не успевши очей,
Сколько бедных, истерзанных перьев
Рвется к окнам из рук рифмачей!

Встреча

Вода рвалась из труб, из луночек,
Из луж, с заборов, с ветра, с кровель
С шестого часа пополуночи,
С четвертого и со второго.

На тротуарах было скользко,
И ветер воду рвал, как вретище,

И можно было до Подольска
Добраться, никого не встретивши.

В шестом часу, куском ландшафта
С внезапно подсыревшей лестницы,
Как рухнет в воду, да как треснется
Усталое: «итак, до завтра!»
Автоматического блока
Терзанья дальше начинались,
Где с предвкушеньем водостоков
Восток шаманил машинально.
Дремала даль, рядясь неряшливо
Над ледяной окрошкой в иней,
И вскрикивала и покашливала
За пьяной мартовской ботвиньей.
И мартовская ночь и автор
Шли рядом, и обоих спорящих
Холодная рука ландшафта
Вела домой, вела со сборища.
И мартовская ночь и автор
Шли шибко, вглядываясь изредка
В мелькавшего как бы взаправду
И вдруг скрывавшегося призрака.
То был рассвет. И амфитеатром,
Явившимся на зов предвестницы,
Неслось к обоим это завтра,
Произнесенное на лестнице.
Оно с багетом шло, как рамошник.
Деревья, здания и храмы
Нездешними казались, тамошними,
В провале недоступной рамы.
Смещенных выносили замертво,
Смещались вправо по квадрату.
Смещенных выносили замертво,
Никто не замечал утраты.

Маргарита

Разрывая кусты на себе, как силок,
Маргаритиных стиснутых губ лиловей,
Горячей, чем глазной Маргаритин белок,
Бился, щелкал, царил и сиял соловей.
Он как запах от трав исходил. Он как ртуть
Очумелых дождей меж черемух висел.
Он кору одурял. Задыхаясь, ко рту
Подступал. Оставался висеть на косе.

И, когда изумленной рукой проводя
По глазам, Маргарита влеклась к серебру,
То казалось, под каской ветвей и дождя

Повалилась без сил амазонка в бору.

И затылок с рукою в руке у него,
А другую назад заломила, где лег,
Где застрял, где повис ее шлем теневой,
Разрывая кусты на себе, как силок.

Мефистофель

Из массы пыли за заставы
По воскресеньям высыпали,
Меж тем как, дома не застав их,
Ломились ливни в окна спален.

Велось у всех, чтоб за обедом
Хотя б на третье дождь был подан,
Меж тем как вихрь – велосипедом
Летал по комнатным комодам.

Меж тем как там до потолков их
Взлетали шелковые шторы,
Расталкивали бестолковых
Пруды, природа и просторы.

Длиннейшим поездом линеек
Позднее стягивались к валу,
Где тень, пугавшая коней их,
Ежевечерне оживала.

В чулках как кровь, при паре бантов,
По залитой зарей дороге,
Упав как лямки с барабана,
Пылили дьяволовы ноги.

Казалось, захлестав из низкой
Листвы струей высокомерья,
Снесла б весь мир надменность диска
И терпит только эти перья.

Считая ехавших, как вехи,
Едва прикладываясь к шляпе,
Он шел, откидываясь в смехе,
Шагал, приятеля облапя.

Шекспир

Извозчичий двор и встающий из вод
В уступах – преступный и пасмурный Тауэр,

И звонкость подков и простуженный звон
Вестминстера, глыбы, закутанной в траур.

И тесные улицы; стены, как хмель,
Копящие сырость в разросшихся бревнах,
Угрюмых, как копоть, и бражных, как эль,
Как Лондон, холодных, как поступь, неровных.
Спиралями, мешкотно падает снег.
Уже запирали, когда он, обрюзгший,
Как сползший набрюшник, пошел в полусне
Валить, засыпая уснувшую пустошь.
Оконце и зерна лиловой слюды
В свинцовых ободьях. – "Смотря по погоде.
А впрочем… А впрочем, соснем на свободе.
А впрочем – на бочку! Цирюльник, воды!"
И, бреясь, гогочет, держась за бока,
Словам остряка, не уставшего с пира
Цедить сквозь приросший мундштук чубака
Убийственный вздор.
А меж тем у Шекспира
Острить пропадает охота. Сонет,
Написанный ночью с огнем, без помарок,
За дальним столом, где подкисший ранет
Ныряет, обнявшись с клешнею омара,
Сонет говорит ему:
"Я признаю
Способности ваши, но, гений и мастер,
Сдается ль, как вам, и тому, на краю
Бочонка, с намыленной мордой, что мастью
Весь в молнию я, то есть выше по касте,
Чем люди, – короче, что я обдаю
Огнем, как на нюх мой, зловоньем ваш кнастер?
Простите, отец мой, за мой скептицизм
Сыновний, но сэр, но милорд, мы – в трактире.
Что мне в вашем круге? Что ваши птенцы
Пред плещущей чернью? Мне хочется шири!
Прочтите вот этому. Сэр, почему ж?
Во имя всех гильдий и биллей! Пять ярдов —
И вы с ним в бильярдной, и там – не пойму,
Чем вам не успех популярность в бильярдной?"
– Ему? Ты сбесился? – И кличет слугу,
И, нервно играя малаговой веткой,
Считает: полпинты, французский рагу —
И в дверь, запустя в приведенье салфеткой.

Тема с вариациями

…Вы не видали их,
Египта древнего живущих изваяний,
С очами тихими, недвижных и немых,
С челом, сияющим от царственных венчаний.

……
Но вы не зрели их, не видели меж нами
И теми сфинксами таинственную связь.
Ап. Григорьев

Тема

Скала и шторм. Скала и плащ и шляпа.
Скала и – Пушкин. Тот, кто и сейчас,
Закрыв глаза, стоит и видит в сфинксе
Не нашу дичь: не домыслы в тупик
Поставленного грека, не загадку,
Но предка: плоскогубого хамита,
Как оспу, перенесшего пески,
Изрытого, как оспою, пустыней,
И больше ничего. Скала и шторм.

В осатаненьи льющееся пиво
С усов обрывов, мысов, скал и кос,
Мелей и миль. И гул, и полыханье
Окаченной луной, как из лохани,
Пучины. Шум и чад и шторм взасос,
Светло, как днем. Их озаряет пена.
От этой точки глаз нельзя отвлечь.
Прибой на сфинкса не жалеет свеч
И заменяет свежими мгновенно.
Скала и шторм. Скала и плащ и шляпа.
На сфинксовых губах – соленый вкус
Туманностей. Песок кругом заляпан
Сырыми поцелуями медуз.

Он чешуи не знает на сиренах,
И может ли поверить в рыбий хвост
Тот, кто хоть раз с их чашечек коленных
Пил бившийся, как об лед, отблеск звезд?

Скала и шторм и – скрытый ото всех
Нескромных – самый странный, самый тихий,
Играющий с эпохи Псамметиха
Углами скул пустыни детский смех…

Вариации

1. Оригинальная

Над шабашем скал, к которым
Сбегаются с пеной у рта,
Чадя, трапезундские штормы,
Когда якорям и портам,

И выбросам волн, и разбухшим
Утопленникам, и седым
Мосткам набивается в уши
Клокастый и пильзенский дым.
Где ввысь от утеса подброшен
Фонтан, и кого-то позвать
Срываются гребни, но – тошно
И страшно, и – рвется фосфат.
Где белое бешенство петель,
Где грохот разостланных гроз,
Как пиво, как жеванный бетель,
Песок осушает взасос.
Что было наследием кафров?
Что дал царскосельский лицей?
Два бога прощались до завтра,
Два моря менялись в лице:
Стихия свободной стихии
С свободной стихией стиха.
Два дня в двух мирах, два ландшафта,
Две древние драмы с двух сцен.

2. Подражательная

На берегу пустынных волн
Стоял он, дум великих полн.
Был бешен шквал. Песком сгущенный,
Кровавился багровый вал.
Такой же гнев обуревал
Его, и, чем-то возмущенный,
Он злобу на себе срывал.
В его устах звучало «завтра»,
Как на устах иных «вчера».
Еще не бывших дней жара
Воображалась в мыслях кафру,
Еще невыпавший туман
Густые целовал ресницы.
Он окунал в него страницы
Своей мечты. Его роман
Вставал из мглы, которой климат
Не в силах дать, которой зной

Прогнать не может никакой,
Которой ветры не подымут
И не рассеют никогда
Ни утро мая, ни страда.
Был дик открывшийся с обрыва
Бескрайний вид. Где огибал
Купальню гребень белогривый,
Где смерч на воле погибал,
В последний миг еще качаясь,

Трубя и в отклике отчаясь,
Борясь, чтоб захлебнуться в миг
И сгинуть вовсе с глаз. Был дик
Открывшийся с обрыва сектор
Земного шара, и дика
Необоримая рука,
Пролившая соленый нектар
В пространство слепнущих снастей,
На протяженье дней и дней,
В сырые сумерки крушений,
На милость черных вечеров…
На редкость дик, на восхищенье
Был вольный этот вид суров.

Он стал спускаться. Дикий чашник
Гремел ковшом, и через край
Бежала пена. Молочай,
Полынь и дрок за набалдашник
Цеплялись, затрудняя шаг,
И вихрь степной свистел в ушах.
И вот уж бережок, пузырясь,
Заколыхал камыш и ирис,
И набежала рябь с концов.
Но неподернут и свинцов
Посередине мрак лиловый.
А рябь! Как будто рыболова
Свинцовый грузик заскользил,
Осунулся и лег на ил
С непереимчивой ужимкой,
С какою пальцу самолов
Умеет намекнуть без слов:
Вода, мол, вот и вся поимка.
Он сел на камень. Ни одна
Черта не выдала волненья,
С каким он погрузился в чтенье
Евангелья морского дна.
Последней раковине дорог
Сердечный шелест, капля сна,
Которой мука солона,
Ее сковавшая. Из створок
Не вызвать и клинком ножа
Того, чем боль любви свежа.
Того счастливейшего всхлипа,
Что хлынул вон и создал риф,
Кораллам губы обагрив,
И замер на устах полипа.

3

Мчались звезды. В море мылись мысы.

Слепла соль. И слезы высыхали.
Были темны спальни. Мчались мысли,
И прислушивался сфинкс к сахаре.
Плыли свечи. И, казалось, стынет
Кровь колосса. Заплывали губы
Голубой улыбкою пустыни.
В час отлива ночь пошла на убыль.
Море тронул ветерок с Марокко.
Шел самум. Храпел в снегах Архангельск.
Плыли свечи. Черновик «пророка»
Просыхал, и брезжил день на Ганге.

4

Облако. Звезды. И сбоку —
Шлях и – Алеко. Глубок
Месяц Земфирина ока:
Жаркий бездонный белок.
Задраны к небу оглобли.
Лбы голубее олив.
Табор глядит исподлобья,
В звезды мониста вперив.
Это ведь кровли халдеи
Напоминает! Печет,
Лунно; а кровь холодеет.
Ревность? Но ревность не в счет!
Стой! Ты похож на сирийца.
Сух, как скопец-звездочет.
Мысль озарилась убийством.
Мщенье? Но мщенье не в счет!
Тень, как навязчивый евнух.
Табор покрыло плечо.
Яд? Но по кодексу гневных
Самоубийство не в счет!
Прянул, и пыхнули ноздри.
Не уходился еще?
Тише, скакун, – заподозрят.
Бегство? Но бегство не в счет!

5

Цыганских красок достигал,
Болел цыганкой и тайн не делал
Из черных дырок тростника
В краю воров и виноделов.

Забором крался конокрад,
Загаром крылся виноград,

Клевали кисти воробьи,
Кивали безрукавки чучел,
Но шорох гроздий перебив,
Какой-то рокот мер и мучил.

Там мрело море. Берега
Гремели, осыпался гравий.
Тошнило гребни изрыгать,
Барашки грязные играли.

И шквал за Шабо бушевал,
И выворачивал причалы.
В рассоле крепла бечева,
И шторма тошнота крепчала.

Раскатывался балкой гул,
Как баней шваркнутая шайка,
Как будто говорил Кагул
В ночах с Очаковскою чайкой.

6

В степи охладевал закат,
И вслушивался в звон уздечек,
В акцент звонков и языка
Мечтательный, как ночь, кузнечик.

И степь порою спрохвала
Волок, как цепь, как что-то третье,
Как выпавшие удила,
Стреноженный и сонный ветер.

Истлела тряпок пестрота,
И, захладев, как медь безмена,
Завел глаза, чтоб стрекотать,
И засинел, уже безмерный,
Уже, как песнь, безбрежный юг,
Чтоб перед этой песнью дух
Невесть каких ночей, невесть
Каких стоянок перевесть.

Мгновенье длился этот миг,
Но он и вечность бы затмил.

Болезнь

1

Больной следит. Шесть дней подряд
Смерчи беснуются без устали.
По кровле катятся, бодрят,
Бушуют, падают в бесчувствии.
Средь вьюг проходит рождество.
Он видит сон: пришли и подняли.
Он вскакивает. «Не его ль?»
(Был зов. Был звон. Не новогодний ли?)
Вдали, в Кремле гудит Иван,
Плывет, ныряет, зарывается.
Он спит. Пурга, как океан
В величьи, – тихой называется.

2

С полу, звездами облитого,
К месяцу, вдоль по ограде
Тянется волос ракитовый,
Дыбятся клочья и пряди.
Жутко ведь, вея, окутывать
Дымами Кассиопею!
Наутро куколкой тутовой
Церковь свернуться успеет.
Что это? Лавры ли Киева
Спят купола, или Эдду
Север взлелеял и выявил
Перлом предвечного бреда?
Так это было. Тогда-то я,
Дикий, скользящий, растущий,
Встал среди сада рогатого
Призраком тени пастушьей.
Был он, как лось. До колен ему
Снег доходил, и сквозь ветви
Виделась взору оленьему
На полночь легшая четверть.
Замер загадкой, как вкопанный,
Глядя на поле лепное:
В звездную стужу, как сноп, оно
Белой плескало копною.

До снегу гнулся. Подхватывал
С полу, всей мукой извилин
Звезды и ночь. У сохатого
Хаос веков был не спилен.

3

Может статься так, может иначе,
Но в несчастный некий час
Духовенств душней, черней иночеств
Постигает безумье нас.

Стужа. Ночь в окне, как приличие,
Соблюдает холод льда.
В шубе, в креслах дух, и мурлычет – и
Все одно, одно всегда.

И чекан сука, и щека его,
И паркет, и тень кочерги
Отливают сном и раскаяньем
Сутки сплошь грешившей пурги.

Ночь тиха. Ясна и морозна ночь,
Как слепой щенок – молоко,
Всею темью пихт неосознанной
Пьет сиянье звезд частокол.

Будто каплет с пихт. Будто теплятся.
Будто воском ночь заплыла.
Лапой ели на ели слепнет снег,
На дупле – силуэт дупла.

Будто эта тишь, будто эта высь,
Элегизм телеграфной волны —
Ожиданье, сменившее крик: «Отзовись!»
Или эхо другой тишины.

Будто нем он, взгляд этих игл и ветвей,
А другой, в высотах, – тугоух,
И сверканье пути на раскатах – ответ
На взыванье чьего-то ау.

Стужа. Ночь в окне, как приличие,
Соблюдает холод льда.
В шубе, в креслах дух, и мурлычет – и
Все одно, одно всегда.

Губы, губы! Он стиснул их до крови,
Он трясется, лицо обхватив.
Вихрь догадок родит в биографе
Этот мертвый, как мел, мотив.

4. Фуфайка больного

От тела отдельную жизнь, и длинней
Ведет, как к груди непричастный пингвин,
Бескрылая кофта больного – фланель:

То каплю тепла ей, то лампу придвинь.
Ей помнятся лыжи. От дуг и от тел,
Терявшихся в мраке, от сбруи, от бар
Валило! Казалось – сочельник потел!
Скрипели, дышали езда и ходьба.
Усадьба и ужас, пустой в остальном:
Шкафы с хрусталем, и ковры, и лари.
Забор привлекало, что дом воспален.
Снаружи казалось, у люстр плеврит.
Снедаемый небом, с зимою в очах,
Распухший кустарник был бел, как испуг.
Из кухни, за сани, пылавший очаг
Клал на снег огромные руки стряпух.

5. Кремль в буран конца 1918 года

Как брошенный с пути снегам
Последней станцией в развалинах,
Как полем в полночь, в свист и гам,
Бредущий через силу в валяных,
Как пред концом в упадке сил
С тоски взывающий к метелице,
Чтоб вихрь души не угасил,
К поре, как тьмою все застелится.
Как схваченный за обшлага
Хохочущею вьюгой нарочный,
Ловящий кисти башлыка,
Здоровающеюся в наручнях.
А иногда! – А иногда,
Как пригнанный канатом накороть
Корабль, с гуденьем, прочь к грядам
Срывающийся чудом с якоря,
Последней ночью, несравним
Ни с чем, какой-то странный, пенный весь,
Он, кремль, в оснастке стольких зим,
На нынешней срывает ненависть.
И грандиозный, весь в былом,
Как визоньера дивинация,
Несется, грозный, напролом,
Сквозь неистекший в девятнадцатый.

Под сумерки к тебе в окно
Он всею медью звонниц ломится.
Боится, видно, – год мелькнет, —
Упустит и не познакомится.

Остаток дней, остаток вьюг,
Сужденных башням в восемнадцатом,
Бушует, прядает вокруг,
Видать – не наигрались насыто.

За морем этих непогод
Предвижу, как меня, разбитого,
Ненаступивший этот год
Возьмется сызнова воспитывать.

6. Январь 1919 года

Тот год! Как часто у окна
Нашептывал мне, старый: «Выкинься».
А этот, новый, все прогнал
Рождественскою сказкой Диккенса.

Вот шепчет мне: «Забудь, встряхнись!»
И с солнцем в градуснике тянется
Точь-в-точь, как тот дарил стрихнин
И падал в пузырек с цианистым.

Его зарей, его рукой,
Ленивым веяньем волос его
Почерпнут за окном покой
У птиц, у крыш, как у философов.

Ведь он пришел и лег лучом
С панелей, с снеговой повинности.
Он дерзок и разгорячен,
Он просит пить, шумит, не вынести.

Он вне себя. Он внес с собой
Дворовый шум и – делать нечего:
На свете нет тоски такой,
Которой снег бы не вылечивал.

7

Мне в сумерки ты все – пансионеркою,
Все школьницей. Зима. Закат лесничим
В лесу часов. Лежу и жду, чтоб смерклося,
И вот – айда! Аукаемся, кличем.

А ночь, а ночь! Да это ж ад, дом ужасов!
Проведай ты, тебя б сюда пригнало!
Она – твой шаг, твой брак, твое замужество,
И тяжелей дознаний трибунала.

Ты помнишь жизнь? Ты помнишь, стаей горлинок
Летели хлопья грудью против гула.
Их вихрь крутил, кутя, валясь прожорливо

С лотков на снег, их до панелей гнуло!
Перебегала ты! Ведь он подсовывал
Ковром под нас салазки и кристаллы!
Ведь жизнь, как кровь, до облака пунцового
Пожаром вьюги озарясь, хлестала!
Движенье помнишь? Помнишь время? Лавочниц?
Палатки? Давку? За разменом денег
Холодных, звонких, помнишь, помнишь давешних
Колоколов предпраздничных гуденье?
Увы, любовь! Да, это надо высказать!
Чем заменить тебя? Жирами? Бромом?
Как конский глаз, с подушек, жаркий, искоса
Гляжу, страшась бессонницы огромной.
Мне в сумерки ты будто все с экзамена,
Все – с выпуска. Чижи, мигрень, учебник.
Но по ночам! Как просят пить, как пламенны
Глаза капсюль и пузырьков лечебных!

Разрыв

1

О ангел залгавшийся, сразу бы, сразу б,
И я б опоил тебя чистой печалью!
Но так – я не смею, но так – зуб за зуб!
О скорбь, зараженная ложью вначале,
О горе, о горе в проказе!
О ангел залгавшийся, – нет, не смертельно
Страданье, что сердце, что сердце в экземе!
Но что же ты душу болезнью нательной
Даришь на прощанье? Зачем же бесцельно
Целуешь, как капли дождя, и как время,
Смеясь, убиваешь, за всех, перед всеми!

2

О стыд, ты в тягость мне! О совесть,
в этом раннем
Разрыве столько грез, настойчивых еще!
Когда бы, человек, – я был пустым собраньем
Висков и губ и глаз, ладоней, плеч и щек!
Тогда б по свисту строф, по крику их, по знаку,
По крепости тоски, по юности ее
Я б уступил им всем, я б их повел в атаку,
Я б штурмовал тебя, позорище мое!

3

От тебя все мысли отвлеку
Не в гостях, не за вином, так на небе.
У хозяев, рядом, по звонку
Отопрут кому-нибудь когда-нибудь.

Вырвусь к ним, к бряцанью декабря.
Только дверь – и вот я! Коридор один.
"Вы оттуда? Что там говорят?
Что слыхать? Какие сплетни в городе?

Ошибается ль еще тоска?
Шепчет ли потом: «Казалось – вылитая».
Приготовясь футов с сорока
Разлететься восклицаньем: «Вы ли это?»

Пощадят ли площади меня?
Ах, когда б вы знали, как тоскуется,
Когда вас раз сто в теченьи дня
На ходу на сходствах ловит улица!"

4

Помешай мне, попробуй. Приди, покусись потушить
Этот приступ печали, гремящей сегодня, как ртуть
в пустоте Торичелли.
Воспрети, помешательство, мне, – о приди, посягни!
Помешай мне шуметь о тебе! Не стыдись, мы одни.
О, туши ж, о, туши! Горячее!

5

Заплети этот ливень, как волны, холодных локтей
И как лилий, атластных и властных бессильем
ладоней!
Отбивай, ликованье! На волю! Лови их, —
ведь в бешеной этой лапте —
Голошенье лесов, захлебнувшихся эхом охот
в калидоне,
Где, как лань, обеспамятев, гнал аталанту
к поляне актей,
Где любили бездонной лазурью, свистевшей в ушах
лошадей,
Целовались заливистым лаем погони
И ласкались раскатами рога и треском деревьев,

копыт и когтей.
– о, на волю! На волю – как те!

6

Разочаровалась? Ты думала – в мире нам
Расстаться за реквиемом лебединым?
В расчете на горе, зрачками расширенными,
В слезах, примеряла их непобедимость?
На мессе б со сводов посыпалась стенопись,
Потрясшись игрой на губах Себастьяна.
Но с нынешней ночи во всем моя ненависть
Растянутость видит, и жаль, что хлыста нет.
Впотьмах, моментально опомнясь, без медлящего
Раздумья, решила, что все перепашет.
Что – время. Что самоубийство ей не для чего.
Что даже и это есть шаг черепаший.

7

Мой друг, мой нежный, о, точь-в-точь как ночью,
в перелете с Бергена на полюс,
Валящим снегом с ног гагар сносимый жаркий пух,
Клянусь, о нежный мой, клянусь, я не неволюсь,
Когда я говорю тебе – забудь, усни, мой друг.
Когда, как труп затертого до самых труб
норвежца,
В веденьи зим, не движущих заиндевелых мачт,
Ношусь в сполохах глаз твоих шутливым – спи,
утешься,
До свадьбы заживет, мой друг, угомонись,
не плачь.
Когда совсем как север вне последних поселений,
Украдкой от арктических и неусыпных льдин,
Полночным куполом полощущий глаза слепых
Тюленей,
Я говорю – не три их, спи забудь:
все вздор один.

8

Мой стол не столь широк, чтоб грудью всею
Налечь на борт и локоть завести
За край тоски, за этот перешеек
Сквозь столько верст прорытого прости.
(Сейчас там ночь.) За душный свой затылок.

(и спать легли.) Под царства плеч твоих.
(и тушат свет.) Я б утром возвратил их.
Крыльцо б коснулось сонной ветвью их.

Не хлопьями! Руками крой! – Достанет!
О, десять пальцев муки, с бороздой
Крещенских звезд, как знаков опозданья
В пургу на север шедших поездов!

9

Рояль дрожащий пену с губ оближет.
Тебя сорвет, подкосит этот бред.
Ты скажешь: – Милый! – Нет, – вскричу я, – нет!
При музыке? – Но можно ли быть ближе,

Чем в полутьме, аккорды, как дневник,
Меча в камин комплектами, погодно?
О пониманье дивное, кивни,
Кивни, и изумишься! – Ты свободна.

Я не держу. Иди, благотвори.
Ступай к другим. Уже написан Вертер,
А в наши дни и воздух пахнет смертью:
Открыть окно, что жилы отворить.

Я их мог позабыть

1. Клеветникам

О детство! Ковш душевной глуби!
О всех лесов абориген,
Корнями вросший в самолюбье,
Мой вдохновитель, мой регент!

Что слез по стеклам усыхало!
Что сохло ос и чайных роз!
Как часто угасавший хаос
Багровым папортником рос!

Что вдавленных сухих костяшек,
Помешанных клавиатур,
Бродячих, черных и грустящих,
Готовя месть за клевету!

Правдоподобье бед клевещет,
Соседство богачей,

Хозяйство за дверьми клевещет,
Веселый звон ключей.

Рукопожатье лжи клевещет,
Манишек аромат,
Изящество дареной вещи,
Клевещет хиромант.

Ничтожность возрастов клевещет.
О юные, – а нас?
О левые, – а нас, левейших, —
Румянясь и юнясь?
О солнце, слышишь? «Выручь денег».
Сосна, нам снится? «Напрягись».
О жизнь, нам имя вырожденье,
Тебе и смыслу вопреки.
Дункан седых догадок – помощь!
О смута сонмищ в отпусках,
О боже, боже, может, вспомнишь,
Почем нас людям отпускал?

2

Я их мог позабыть? Про родню,
Про моря? Приласкаться к плацкарте?
И за оргию чувств – в западню?
С ураганом – к ордалиям партий?
За окошко, в купе, к погребцу?
Где-то слезть? Что-то снять? Поселиться?
Я горжусь этой мукой. Рубцуй!
По когтям узнаю тебя, львица.
Про родню, про моря. Про абсурд
Прозябанья, подобного каре.
Так не мстят каторжанам. – Рубцуй!
О, не вы, это я – пролетарий!
Это правда. Я пал. О, секи!
Я упал в самомнении зверя.
Я унизил себя до неверья.
Я унизил тебя до тоски.

3

Так начинают. Года в два
От мамки рвутся в тьму мелодий,
Щебечут, свищут, – а слова
Являются о третьем годе.
Так начинают понимать.
И в шуме пущенной турбины

Мерещится, что мать – не мать,
Что ты – не ты, что дом – чужбина.
Что делать страшной красоте
Присевшей на скамью сирени,
Когда и впрямь не красть детей?
Так возникают подозренья.

Так зреют страхи. Как он даст
Звезде превысить досяганье,
Когда он Фауст, когда фантаст?
Так начинаются цыгане.

Так открываются, паря
Поверх плетней, где быть домам бы,
Внезапные, как вздох, моря.
Так будут начинаться ямбы.

Так ночи летние, ничком
Упав в овсы с мольбой: исполнься,
Грозят заре твоим зрачком.
Так затевают ссоры с солнцем.

Так начинают жить стихом.

4

Нас мало. Нас, может быть, трое
Донецких, горючих и адских
Под серой бегущей корою
Дождей, облаков и солдатских
Советов, стихов и дискуссий
О транспорте и об искусстве.

Мы были людьми. Мы эпохи.
Нас сбило и мчит в караване,
Как тундру, под тендера вздохи
И поршней и шпал порыванье.
Слетимся, ворвемся и тронем,
Закружимся вихрем вороньим

И – мимо! Вы поздно поймете.
Так, утром ударивши в ворох
Соломы, – с момент на намете —
След ветра живет в разговорах
Идущего бурно собранья
Деревьев над кровельной дранью.

5

Косых картин, летящих ливмя
С шоссе, задувшего свечу,
С крюков и стен срываться к рифме
И падать в такт не отучу.

Что в том, что на вселенной – маска?
Что в том, что нет таких широт,
Которым на зиму замазкой
Зажать не вызвались бы рот?

Но вещи рвут с себя личину,
Теряют власть, роняют честь,
Когда у них есть петь причина,
Когда для ливня повод есть.

Нескучный сад

1. Нескучный

Как всякий факт на всяком бланке,
Так все дознанья хорош
О вакханалиях изнанки
Нескучного любой души.
Он тоже – сад. В нем тоже – скучен
Набор уставших цвесть пород.
Он тоже, как сад, – нескучен
От набережной до ворот.
И, окуная парк за старой
Беседкою в заглохший пруд,
Похож и он на тень гитары,
С которой, тешась, струны рвут.

2

Достатком, а там и пирами
И мебелью стиля жакоб
Иссушат, убьют темперамент,
Гудевший, как ветвь жуком.
Он сыплет искры с зубьев,
Когда, сгребя их в ком,
Ты бесов самолюбья
Терзаешь гребешком.
В осанке твоей: «С кой стати?»,
Любовь, а в губах у тебя
Насмешливое: "Оставьте,
Вы хуже малых ребят".

О свежесть, о капля смарагда
В упившихся ливнем кистях,
О сонный начес беспорядка,
О дивный, божий пустяк!

3. Орешник

Орешник тебя отрешает от дня,
И мшистые солнца ложатся с опушки
То решкой на плотное тленье пня,
То мутно-зеленым орлом на лягушку.

Кусты обгоняют тебя, и пока
С родимою чащей сроднишься с отвычки,
Она уж безбрежна: ряды кругляка,
И роща редеет, и птичка как гичка,
И песня как пена, и наперерез,
Лазурь забирая, нырком, душегубкой
И мимо… И долго безмолвствует лес,
Следя с облаков за пронесшейся шлюпкой.

О место свиданья малины с грозой,
Где, в тучи рогами лишайника тычась,
Горят, одуряя наш мозг молодой,
Лиловые топи угасших язычеств!

4. В лесу

Луга мутило жаром лиловатым,
В лесу клубился кафедральный мрак.
Что оставалось в мире целовать им?
Он весь был их, как воск на пальцах мяк.

Есть сон такой, не спишь, а только снится,
Что жаждешь сна; что дремлет человек,
Которому сквозь сон палят ресницы
Два черных солнца, бьющих из под век.

Текли лучи. Текли жуки с отливом.
Стекло стрекоз сновало по щекам.
Был полон лес мерцаньем кропотливым,
Как под щипцами у часовщика.

Казалось, он уснул под стук цифири,
Меж тем как выше, в терпком янтаре,
Испытаннейшие часы в эфире
Переставляют, сверив по жаре.

Их переводят, сотрясают иглы
И сеют тень, и мают, и сверлят
Мачтовый мрак, который ввысь воздвигло,
В истому дня, на синий циферблат.

Казалось, древность счастья облетает.
Казалось, лес закатом снов объят.
Счастливые часов не наблюдают,
Но те, вдвоем, казалось, только спят.

5. Спасское

Незабвенный сентябрь осыпается в Спасском.
Не сегодня ли с дачи съезжать вам пора?
За плетнем перекликнулось эхо с подпаском
И в лесу различило удар топора.
Этой ночью за парком знобило трясину.
Только солнце взошло, и опять наутек.
Колокольчик не пьет костоломных росинок.
На березах несмытый лиловый отек.
Лес хандрит. И ему захотелось на отдых,
Под снега, в непробудную спячку берлог.
Да и то, меж стволов, в почерневших обводах
Парк зияет в столбцах, как сплошной некролог.
Березняк престал ли линять и пятнаться,
Водянистую сень потуплять и редеть?
Этот ропщет еще, и опять вам пятнадцать
И опять, о дитя, о, куда нам их деть?
Их так много уже, что не все ж куролесить.
Их что птиц по кустам, что грибов за межой.
Ими свой кругозор уж случалось завесить,
Их туманом случалось застлать и чужой.
В ночь кончины от тифа сгорающий комик
Слышит гул: гомерический хохот райка.
Нынче в Спасском с дороги бревенчатый домик
Видит, галлюцинируя, та же тоска.

6. Да будет

Рассвет расколыхнет свечу,
Зажжет и пустит в цель стрижа.
Напоминанием влечу:
Да будет так же жизнь свежа!
Заря, как выстрел в темноту.
Бабах! И тухнет на лету
Пожар ружейного пыжа.
Да будет так же жизнь свежа.
Еще снаружи ветерок,

Что ночью жался к нам, дрожа.
Зарей шел дождь, и он продрог.
Да будет так же жизнь свежа.
Он поразительно смешон!
Зачем совался в сторожа?
Он видел, вход не разрешен.
Да будет так же жизнь свежа.

Повелевай, пока на взмах
Платка пока ты госпожа,
Пока покамест мы впотьмах,
Покамест не угас пожар.

7. Зимнее утро (пять стихотворений)

Воздух седенькими складками падает.
Снег припоминает мельком, мельком:
Спатки называлось, шепотом и патокою
День позападал за колыбельку.

Выйдешь и мурашки разбегаются, и ежится
Кожица, бывало, сумки, дети,
Улица в бесшумные складки ложится
Серой рыболовной сети.

Все бывало, складывают: сказку о лисице,
Рыбу пошвырявшей с возу,
Дерево, сарай и варежки, и спицы,
Зимний изумленный воздух.

А потом поздней, под чижиком, пред цветиками
Не сложеньем, что ли, с воли
Дуло и мело, не ей, не арифметикой ли
Подирало столик в школе?

Зуб, бывало, ноет: мажут его, лечат его,
В докторском глазу ж безумье
Сумок и снежков, линованное, клетчатое,
С сонными каракулями в сумме.

Та же нынче сказка, зимняя, мурлыкина,
На бегу шурша метелью по газете,
За барашек грив и тротуаров выкинулась
Серой рыболовной сетью.

Ватная, примерзлая и байковая, фортковая
Та же жуть берез безгнездых
Гарусную ночь чем свет за чаем свертывает,
Зимний изумленный воздух.

Как не в своем рассудке,
Как дети ослушанья,
Облизываясь, сутки
Шутя мы осушали.
Иной, не отрываясь
От судорог страницы
До утренних трамваев,
Грозил заре допиться.

Раскидывая хлопко
Снежок, бывало, чижик
Шумит: какою пробкой
Такую рожу выжег?
И день вставал, оплеснясь,
В помойной жаркой яме,
В кругах пожарных лестниц,
Ушибленный дровами.
Я не знаю, что тошней:
Рушащийся лист с конюшни
Или то, что все в кашне,
Все в снегу и все в минувшем.
Пентюх и головотяп,
Там, меж листьев, меж домов там
Машет галкою октябрь
По каракулевым кофтам.
Треск ветвей ни дать, ни взять
Сушек с запахом рогожи.
Не растряс бы вихрь связать,
Упадут, стуча, похоже.
Упадут в морозный прах,
Ах, похоже, спозаранок
Вихрь берется трясть впотьмах
Тминной вязкою баранок.
Ну, и надо ж было, тужась,
Каркнуть и взлететь в хаос,
Чтоб сложить октябрьский ужас
Парой крыльев на киоск.
И поднять содом со шпилей
Над живой рекой голов,
Где и ты, вуаль зашпилив,
Шляпу шпилькой заколов,
Где и ты, моя забота,
Котик лайкой застегнув,
Темной рысью в серых ботах
Машешь муфтой в море муфт.
Между прочим, все вы, чтицы,
Лгать охотницы, а лгать
У оконницы учиться,
Вот и вся вам недолга.

Тоже блещет, как баллада,
Дивной влагой; тоже льет

Слезы; тоже мечет взгляды
Мимо, словом, тот же лед.

Тоже, вне правдоподобья,
Ширит, рвет ее зрачок,
Птичью церковь на сугробе,
Отдаленный конский чок.

И Чайковский на афише
Патетично, как и вас,
Может потрясти, и к крыше,
В вихорь театральных касс.

8. Весна (пять стихотворений)

Весна, я с улицы, где тополь удивлен,
Где даль пугается, где дом упасть боится,
Где воздух синь, как узелок с бельем
У выписавшегося из больницы.

Где вечер пуст, как прерванный рассказ,
Оставленный звездой без продолженья
К недоуменью тысяч шумных глаз,
Бездонных и лишенных выраженья.

Пара форточных петелек,
Февраля отголоски.
Пить, пока не заметили,
Пить вискам и прическе!

Гул ворвался, как шомпол.
О холодный, сначала бы!
Бурный друг мой, о чем бы?
Воздух воли и жалобы?

Что за смысл в этом пойле?
Боже, кем это мелются,
Языком ли, душой ли,
Этот плеск, эти прелести?

Кто ты, март? Закипал же
Даже лед, и обуглятся,
Раскатясь, экипажи
По свихнувшийся улице!

Научи, как ворочать
Языком, чтоб растрогались,
Как тобой, этой ночью
Эти дрожки и щеголи.

Воздух дождиком частым сечется.
Поседев, шелудивеет лед.
Ждешь: вот-вот горизонт и очнется
И начнется. И гул пойдет.
Как всегда, расстегнув на распашку
Пальтецо и кашне на груди,
Пред собой он погонит неспавших,
Очумелых птиц впереди.
Он зайдет и к тебе и, развинчен,
Станет свечный натек колупать,
И зевнет, и припомнит, что нынче
Можно снять с гиацинтов колпак.
И шальной, шевелюру ероша,
В замешательстве смысл темня,
Ошарашит тебя нехорошей,
Глупой сказкой своей про меня.
Закрой глаза. В наиглушайшюм органе
На тридцать верст забывшихся пространств
Стоят в парах и каплют храп и хорканье,
Смех, лепет, плач, беспамятство и транс.
Им, как и мне, невмочь с весною свыкнуться,
Не в первый раз стараюсь, не привык.
Сейчас по чащам мне и этим мыканцам
Подносит чашу дыма паровик.
Давно ль под сенью орденских капитулов,
Служивших в полном облаченьи хвой,
Мирянин-март украдкою пропитывал
Тропинки парка терпкой синевой?
Его грехи на мне под старость скажутся,
Бродивших верб откупоривши штоф,
Он уходил с утра под прутья саженцев,
В пруды с угаром тонущих кустов.
В вечерний час переставала двигаться
Жемчужных луж и речек акварель,
И у дверей показывались выходцы
Из первых игр и первых букварей.
Чирикали птицы и были искренни.
Сияло солнце на лаке карет.
С точильного камня не сыпались искры.
А сыпались гасли, в лучах сгорев.

В раскрытые окна на их рукоделье
Садились, как голуби, облака.
Они замечали: с воды похудели
Заборы заметно, кресты слегка.

Чирикали птицы. Из школы на улицу,
На тумбы ложилось, хлынув волной,
Немолчное пенье и щелканье шпулек,
Мелькали косички и цокал челнок.

Не сыпались искры, а сыпались гасли.

Был день расточителен; над школой свежей
Неслись облака, и точильщик был счастлив,
Что столько на свете у женщин ножей.

9. Сон в летнюю ночь (пять стихотворений)

Крупный разговор. Еще не запирали,
Вдруг как: моментально вон отсюда!
Сбитая прическа, туча препирательств,
И сплошной поток Шопеновских этюдов.
Вряд ли, гений, ты распределяешь кету
В белом доме против кооператива,
Что хвосты луны стоят до края света
Чередой ночных садов без перерыва.

Все утро с девяти до двух
Из сада шел томящий дух
Озона, змей и розмарина,
И олеандры разморило.

Синеет белый мезонин.
На мызе сон, кругом безлюдье.
Седой малинник, а за ним
Лиловый грунт его прелюдий.

Кому ужонок прошипел?
Кому прощально машет розан?
Опять депешею Шопен
К балладе страждущей отозван.

Когда ее не излечить,
Все лето будет в дифтерите.
Сейчас ли, черные ключи,
Иль позже кровь нам отворить ей?

Прикосновение руки
И полвселенной в изоляции,
И там плантации пылятся
И душно дышат табаки.

Пианисту понятно шнырянье ветошниц
С косыми крюками обвалов в плечах.
Одно прозябанье корзины и крошни
И крышки раскрытых роялей влачат.
По стройкам таскавшись с толпою тряпичниц
И клад этот где-то на свалках сыскав,
Он вешает облако бури кирпичной,
Как робу на вешалку на лето в шкаф.
И тянется, как за походною флягой,
Военную карту грозы расстелив,

К роялю, обычно обильному влагой
Огромного душного лета столиц.
Когда, подоспевши совсем незаметно,
Сгорая от жажды, гроза четырьмя
Прыжками бросается к бочкам с цементом,
Дрожащими лапами ливня гремя.
Я вишу на пере у творца
Крупной каплей лилового лоска.
Под домами загадки канав.
Шибко воздух ли соткой и коксом
По вокзалам дышал и зажегся,
Но едва лишь зарю доконав,
Снова розова ночь, как она,
И забор поражен парадоксом.
И бормочет: прерви до утра
Этих сохлых белил колебанье.
Грунт убит и червив до нутра,
Эхо чутко, как шар в кегельбане.
Вешний ветер, шевьот и грязца,
И гвоздильных застав отголоски,
И на утренней терке торца
От зари, как от хренной полоски,
Проступают отчетливо слезки.
Я креплюсь на пере у творца
Терпкой каплей густого свинца.
Пей и пиши, непрерывным патрулем
Ламп керосиновых подкарауленный
С улиц, гуляющих под руку в июле
С кружкою пива, тобою пригубленной.

Зеленоглазая жажда гигантов!
Тополь столы осыпает пикулями,
Шпанкой, шиповником тише, не гамьте!
Шепчут и шепчут пивца загогулины.

Бурная кружка с трехгорным Рембрандтом!
Спертость предгрозья тебя не испортила.
Ночью быть буре. Виденья, обратно!
Память, труби отступленье к портерной!

Век мой безумный, когда образумлю
Темп потемнелый былого бездонного!
Глуби мазурских озер не раздуют
В сон погруженных горнистов Самсонова.

После в Москве мотоцикл тараторил,
Громкий до звезд, как второе пришествие.
Это был мор. Это был мораторий
Страшных судов, не съезжавшихся к сессии.

10. Поэзия

Поэзия, я буду клясться
Тобой, и кончу, прохрипев:
Ты не осанка сладкогласца,
Ты лето с местом в третьем классе,
Ты пригород, а не припев.

Ты душная, как май, ямская,
Шевардина ночной редут,
Где тучи стоны испускают
И врозь по роспуске идут.

И в рельсовом витье двояся,
Предместье, а не перепев
Ползут с вокзалов восвояси
Не с песней, а оторопев.

Отростки ливня грязнут в гроздьях
И долго, долго до зари
Кропают с кровель свой акростих,
Пуская в рифму пузыри.

Поэзия, когда под краном
Пустой, как цинк ведра, трюизм,
То и тогда струя сохранна,
Тетрадь подставлена, струись!

11. Два письма

Любимая, безотлагательно,
Не дав заре с пути рассеяться,
Ответь чем свет с его подателем
О ходе твоего процесса.
И если это только мыслимо,
Поторопи зарю, а лень ей,
Воспользуйся при этом высланным
Курьером умоисступленья.
Дождь, верно, первым выйдет из лесу
И выспросит, где тор, где топко.
Другой ему вдогонку вызвался,
И это под его диктовку.
Наверно, бурю безрассудств его
Сдадут деревья в руки из рук,
Моя ж рука давно отсутствует:
Под ней жилой кирпичный призрак.
Я не бывал на тех урочищах,
Она ж ведет себя, как прадед,
И знаменьем сложась пророчащим
Тот дом по голой кровле гладит.

На днях, в тот миг, как в ворох корпии
Был дом под Костромой искромсан,
Удар того же грома копию
Мне свел с каких-то незнакомцев.
Он свел ее с их губ, с их лацканов,
С их туловищ и туалетов,
В их лицах было что-то адское,
Их цвет был светло-фиолетов.
Он свел ее с их губ и лацканов,
С их блюдечек и физиономий,
Но сделав их на миг мулатскими,
Не сделал ни на миг знакомей.
В ту ночь я жил в Москве и в частности
Не ждал известий от бесценной,
Когда порыв зарниц негаснущих
Прибил к стене мне эту сцену.

12. Осень (пять стихотворений)

С тех дней стал над недрами парка сдвигаться
Суровый, листву леденивший октябрь.
Зарями ковался конец навигации,
Спирало гортань, и ломило в локтях.

Не стало туманов. Забыли про пасмурность.
Часами смеркалось. Сквозь все вечера
Открылся, в жару, в лихорадке и насморке,
Больной горизонт и дворы озирал.

И стынула кровь. Но, казалось, не стынут
Пруды, и, казалось, с последних погод
Не движутся дни, и, казалося, вынут
Из мира прозрачный, как звук, небосвод.

И стало видать так далеко, так трудно
Дышать, и так больно глядеть, и такой
Покой разлился, и настолько безлюдный,
Настолько беспамятно звонкий покой!

Потели стекла двери на балкон.
Их заслонял заметно-зимний фикус.
Сиял графин. С недопитым глотком
Вставали вы, веселая навыказ,

Смеркалась даль, спокойная на вид,
И дуло в щели, праведница ликом,
И день сгорал, давно остановив
Часы и кровь, в мучительно великом
Просторе долго, без конца горев
На остриях скворешниц и дерев,

В осколках тонких ледяных пластинок,
По пустырям и на ковре в гостиной.

Но им суждено было выцвесть,
И на лете налет фиолетовый,
И у туч, громогласных до этого,
Фистула и надтреснутый присвист.

Облака над заплаканным флоксом,
Обволакивав даль, перетрафили.
Цветники, как холодные кафели.
Город кашляет школой и коксом.

Редко брызжет восток бирюзою.
Парников изразцы, словно в заморозки,
Застывают, и ясен, как мрамор,
Воздух рощ и как зов, беспризорен.
Я скажу до свиданья стихам, моя мания,
Я назначил вам встречу со мною в романе.
Как всегда, далеки от пародий,
Мы окажемся рядом в природе.
Весна была просто тобой,
И лето с грехом пополам.
Но осень, но этот позор голубой
Обоев, и войлок, и хлам!
Разбитую клячу ведут на махан,
И ноздри с коротким дыханьем
Заслушались мокрой ромашки и мха,
А то и конины в духане.
В прозрачность заплаканных дней целиком
Губами и глаз полыханьем
Впиваешься, как в помутнелый флакон
С невыдохшимися духами.
Не спорить, а спать. Не оспаривать,
А спать. Не распахивать наспех
Окна, где в беспамятных заревах
Июль, разгораясь, как яспис,
Расплавливал стекла и спаривал
Тех самых пунцовых стрекоз,
Которые нынче на брачных
Брусах мертвей и прозрачней
Осыпавшихся папирос.
Как в сумерки сонно и зябко
Окошко! Сухой купорос.
На донышке склянки козявка
И гильзы задохшихся ос.
Как с севера дует! Как щупло
Нахохлилась стужа! О вихрь,
Общупай все глуби и дупла,
Найди мою песню в живых!
Здесь прошелся загадки таинственный ноготь.
А пока не разбудят, любимую трогать

Так, как мне, не дано никому.

Как я трогал тебя! Даже губ моих медью
Трогал так, как трагедией трогают зал.
Поцелуй был, как лето. Он медлил и медлил,
Лишь потом разражалась гроза.

Пил, как птицы. Тянул до потери сознанья.
Звезды долго горлом текут в пищевод,
Соловьи же заводят глаза с содроганьем,
Осушая по капле ночной небосвод.

Стихи разных лет (1918 – 1931.)

Смешанные стихотворения

Другу

Иль я не знаю, что, в потемки тычась,
Вовек не вышла б к свету темнота,
И я урод, и счастье сотен тысяч
Не ближе мне пустого счастья ста?
И разве я не мерюсь пятилеткой,
Не падаю, не подымаюсь с ней?
Но как мне быть с моей грудною клеткой
И с тем, что всякой косности косней?
Напрасно в дни великого совета,
Где высшей страсти отданы места,
Оставлена вакансия поэта:
Она опасна, если не пуста.

Анне Ахматовой

Мне кажется, я подберу слова,
Похожие на вашу первозданность.
А ошибусь, мне это трын-трава,
Я все равно с ошибкой не расстанусь.
Я слышу мокрых кровель говорок,
Торцовых плит заглохшие эклоги.
Какой-то город, явный с первых строк,
Растет и отдается в каждом слоге.
Кругом весна, но загород нельзя.
Еще строга заказчица скупая.
Глаза шитьем за лампою слезя,
Горит заря, спины не разгибая.

Вдыхая дали ладожскую гладь,
Спешит к воде, смиряя сил упадок.
С таких гулянок ничего не взять.
Каналы пахнут затхлостью укладок.
По ним ныряет, как пустой орех,
Горячий ветер и колышет веки
Ветвей и звезд, и фонарей, и вех,
И с моста вдаль глядящей белошвейки.

Бывает глаз по-разному остер,
По-разному бывает образ точен.
Но самой страшной крепости раствор
Ночная даль под взглядом белой ночи.

Таким я вижу облик ваш и взгляд.
Он мне внушен не тем столбом из соли,
Которым вы пять лет тому назад
Испуг оглядки к рифме прикололи.

Но, исходив из ваших первых книг,
Где крепли прозы пристальной крупицы,
Он и во всех, как искры проводник,
Событья былью заставляет биться.

Марине Цветаевой

Ты вправе, вывернув карман,
Сказать: ищите, ройтесь, шарьте.
Мне все равно, чем сыр туман.
Любая быль как утро в марте.

Деревья в мягких армяках
Стоят в грунту из гумигута,
Хотя ветвям наверняка
Невмоготу среди закута.

Роса бросает ветки в дрожь,
Струясь, как шерсть на мериносе.
Роса бежит, тряся, как еж,
Сухой копной у переносья.

Мне все равно, чей разговор
Ловлю, плывущий ниоткуда.
Любая быль как вешний двор,
Когда он дымкою окутан.

Мне все равно, какой фасон
Сужден при мне покрою платьев.
Любую быль сметут как сон,
Поэта в ней законопатив.

Клубясь во много рукавов,
Он двинется подобно дыму
Из дыр эпохи роковой
В иной тупик непроходимый.

Он вырвется, курясь, из прорв
Судеб, расплющенных в лепеху,
И внуки скажут, как про торф:
Горит такого-то эпоха.

Мейерхольдам

Желоба коридоров иссякли.
Гул отхлынул и сплыл, и заглох.
У окна, опоздавши к спектаклю,
Вяжет вьюга из хлопьев чулок.
Рытым ходом за сценой залягте,
И, обуглясь у всех на виду,
Как дурак, я зайду к вам в антракте,
И смешаюсь и слов не найду.
Я увижу деревья и крыши.
Вихрем кинуться мушки во тьму.
По замашкам зимы замухрышки
Я игру в кошки-мышки пойму.
Я скажу, что от этих ужимок
Еле цел я остался внизу,
Что пакет развязался и вымок,
И что я вам другой привезу.
Что от чувств на земле нет отбою,
Что в руках моих плеск из фойе,
Что из этих признаний любое
Вам обоим, а лучшее ей.
Я люблю ваш нескладный развалец,
Жадной проседи взбитую прядь.
Если даже вы в это выгрались,
Ваша правда, так надо играть.
Так играл пред землей молодою
Одаренныш один режиссер,
Что носился как дух над водою
И ребро сокрушенное тер.
И, протискавшись в мир из-за дисков
Наобум размещенных светил,
За дрожащую руку артистку
На дебют роковой выводил.
Той же пьесою неповторимой,
Точно запахом краски дыша,
Вы всего себя стерли для грима.
Имя этому гриму душа.

Пространство

Н.Н. Вильям-Вильмонту

К ногам прилипает наждак.
Долбеж понемногу стихает.
Над стежками капли дождя,
Как птицы, в ветвях отдыхают.

Чернеют сережки берез.
Лозняк отливает изнанкой.
Ненастье, дымясь, как обоз,
Задерживается по знаку,

И месит шоссейный кисель,
Готовое снова по взмаху
Рвануться, осев до осей
Свинцовою всей колымагой.

Недолго приходится ждать.
Движенье нахмуренной выси,
И дождь, затяжной, как нужда,
Вывешивает свой бисер.

Как к месту тогда по таким
Подушкам колей непроезжих
Пятнистые пятаки
Лиловых, как лес, сыроежек!

И заступ скрежещет в песке,
И не попадает зуб на зуб.
И знаться не хочет ни с кем
Железнодорожная насыпь.

Уж сорок без малого лет
Она у меня на примете,
И тянется рельсовый след
В тоске о стекле и цементе.

Во вторник молебен и акт.
Но только ль о том их тревога?
Не ради того и не так
По шпалам проводят дорогу.

Зачем же водой и огнем
С откоса хлеща переезды,
Упорное, ночью и днем
Несется на север железо?

Там город, и где перечесть
Московского съезда соблазны,

Ненастий горящую шерсть,
Заманчивость мглы непролазной?

Там город, и ты посмотри,
Как ночью горит он багрово.
Он былью одной изнутри,
Как плошкою, иллюминован.
Он каменным чудом облег
Рожденья стучащий подарок.
В него, как в картонный кремлек,
Случайности вставлен огарок.
Он с гор разбросал фонари,
Чтоб капать, и теплить, и плавить
Историю, как стеорин
Какой-то свечи без заглавья.

Бальзак

Париж в златых тельцах, в дельцах,
В дождях, как мщенье, долгожданных.
По улицам летит пыльца.
Разгневанно цветут каштаны.
Жара покрыла лошадей
И щелканье бичей глазурью
И, как горох на решете,
Дрожит в оконной амбразуре.
Беспечно мчатся тильбюри.
Своя довлеет злоба дневи.
До завтрашней ли им зари?
Разгневанно цветут деревья.
А их заложник и должник,
Куда он скрылся? Ах, алхимик!
Он, как над книгами, поник
Над переулками глухими.
Почти как тополь, лопоух,
Он смотрит вниз, как в заповедник,
И ткет Парижу, как паук,
Заупокойную обедню.
Его бессонные зенки
Устроены, как веретена.
Он вьет, как нитку из пеньки,
Историю сего притона.
Чтоб выкупиться из ярма
Ужасного заимодавца,
Он должен сгинуть задарма
И дать всей нитке размотаться.

Зачем же было брать в кредит
Париж с его толпой и биржей,
И поле, и в тени ракит

Непринужденность сельских пиршеств?

Он грезит волей, как лакей,
Как пенсией старик бухгалтер,
А весу в этом кулаке,
Что в каменщиковой кувалде.

Когда, когда ж, утерши пот
И сушь кофейную отвеяв,
Он оградится от забот
Шестой главою от Матфея?

Бабочка – буря

Бывалый гул былой мясницкой
Вращаться стал в моем кругу,

И, как вы на него не цыцкай,
Он пальцем вам и ни гугу.

Он снится мне за массой действий,
В рядах до крыш горящих сумм,
Он сыплет лестницы, как в детстве,
И подымает страшный шум.

Напрасно в сковороды били,
И огорчалась кочерга.
Питается пальбой и пылью
Окуклившийся ураган.

Как призрак порчи и починки,
Объевший веточки мечтам,
Асфальта алчного личинкой
Смолу котлами пьет почтамт.

Но за разгромом и ремонтом,
К испугу сомкнутых окон,
Червяк спокойно и дремотно
По закоулкам ткет кокон.

Тогда-то сбившись с перспективы,
Мрачаться улиц выхода,
И бритве ветра тучи гриву
Подбрасывает духота.

Сейчас ты выпорхнешь, инфанта,
И, сев на телеграфный столб,
Расправишь водяные банты
Над топотом промокших толп.

Отплытие

Слышен лепет соли каплющей.
Гул колес едва показан.
Тихо взявши гавань за плечи,
Мы отходим за пакгаузы.
Плеск и плеск, и плеск без отзыва.
Разбегаясь со стенаньем,
Вспыхивает бледно-розовая
Моря ширь берестяная.
Треск и хруст скелетов раковых,
И шипит, горя, береста.
Ширь растет, и море вздрагивает
От ее прироста.
Берега уходят ельничком,
Он невзрачен и тщедушен.
Море, сумрачно бездельничая,
Смотрит сверху на идущих.
С моря еще по морошку
Ходит и ходит лесками,
Грохнув и борт огороша,
Ширящееся плесканье.
Виден еще, еще виден
Берег, еще не без пятен
Путь, но уже необыден
И, как беда, необъятен.
Страшным полуоборотом,
Сразу меняясь во взоре,
Мачты въезжают в ворота
Настежь открытого моря.
Вот оно! И, в предвкушеньи
Сладко бушующих новшеств,
Камнем в пучину крушений
Падает чайка, как ковшик.

Рослый стрелок, осторожный охотник

Рослый стрелок, осторожный охотник,
Призрак с ружьем на разливе души!
Не добирай меня сотым до сотни,
Чувству на корм по частям не кроши.
Дай мне подняться над смертью позорной.
С ночи одень меня в тальник и лед.
Утром спугни с мочажины озерной.
Целься, все кончено! Бей меня в лет.

За высоту ж этой звонкой разлуки,
О, пренебрегнутые мои,

Благодарю и целую вас, руки
Родины, робости, дружбы, семьи.

Петухи

Всю ночь вода трудилась без отдышки.
Дождь до утра льняное масло жег.
И валит пар из-под лиловой крышки,
Земля дымится, словно щей горшок.

Когда ж трава, отряхиваясь, вскочит,
Кто мой испуг изобразит росе
В тот час, как загорланит первый кочет,
За ним другой, еще за этим все?

Перебирая годы поименно,
Поочередно окликая тьму,
Они пророчить станут перемену
Дождю, земле, любви всему, всему.

Ландыши

С утра жара. Но отведи
Кусты, и грузный полдень разом
Всей массой хряснет позади,
Обламываясь под алмазом.

Он рухнет в ребрах и лучах,
В разгранке зайчиков дрожащих,
Как наземь с потного плеча
Опущенный стекольный ящик.

Укрывшись ночью навесной,
Здесь белизна сурьмится углем.
Непревзойденной новизной
Весна здесь сказочна, как Углич.

Жары нещадная резня
Сюда не сунется с опушки.
И вот ты входишь в березняк,
Вы всматриваетесь друг в дружку.

Но ты уже предупрежден.
Вас кто-то наблюдает снизу:
Сырой овраг сухим дождем
Росистых ландышей унизан.

Он отделился и привстал,

Кистями капелек повисши,
На палец, на два от листа,
На полтора от корневища.
Шурша неслышно, как парча,
Льнут лайкою его початки,
Весь сумрак рощи сообща
Их разбирает на перчатки.

Сирень

Положим, гудение улья,
И сад утопает в стряпне,
И спинки соломенных стульев,
И черные зерна слепней.
И вдруг объявляется отдых,
И всюду бросают дела:
Далекая молодость в сотах,
Седая сирень расцвела!
Уж где-то телеги и лето,
И гром отмыкает кусты,
И ливень въезжает в кассеты
Отстроившейся красоты.
И чуть наполняет повозка
Раскатистым воздухом свод,
Лиловое зданье из воска,
До облака вставши, плывет.
И тучи играют в горелки,
И слышится старшего речь,
Что надо сирени в тарелке
Путем отстояться и стечь.

Любка

В. В. Гольцеву

Недавно этой просекой лесной
Прошелся дождь, как землемер и метчик.
Лист ландыша отяжелел блесной,
Вода забилась в уши царских свечек.
Взлелеяны холодным сосняком,
Они росой оттягивают мочки,
Не любят дня, растут особняком
И даже запах льют поодиночке.

Когда на дачах пьют вечерний чай,
Туман вздувает паруса комарьи,
И ночь, гитарой брякнув невзначай,
Молочной мглой стоит в иван-да-марье,

Тогда ночной фиалкой пахнет все:
Лета и лица. Мысли. Каждый случай,
Который в прошлом может быть спасен
И в будущем из рук судьбы получен.

Брюсову

Я поздравляю вас, как я отца
Поздравил бы при той же обстановке.
Жаль, что в большом театре под сердца
Не станут стлать, как под ноги, циновки.

Жаль, что на свете принято скрести
У входа в жизнь одни подошвы; жалко,
Что прошлое смеется и грустит,
А злоба дня размахивает палкой.

Вас чествуют. Чуть-чуть страшит обряд,
Где вас, как вещь, со всех сторон покажут
И золото судьбы посеребрят,
И, может, серебрить в ответ обяжут.
Что мне сказать? Что Брюсова горька
Широко разбежавшаяся участь?
Что ум черствеет в царстве дурака?
Что не безделка улыбаться, мучась?

Что сонному гражданскому стиху
Вы первый настежь в город дверь открыли?
Что ветер смел с гражданства шелуху
И мы на перья разодрали крылья?

Что вы дисциплинировали взмах
Взбешенных рифм, тянувшихся за глиной,
И были домовым у нас в домах
И дьяволом недетской дисциплины?

Что я затем, быть может, не умру,
Что, до смерти теперь устав от гили,
Вы сами, было время, поутру
Линейкой нас не умирать учили?

Ломиться в двери пошлых аксиом,
Где лгут слова и красноречье храмлет?…
О! Весь Шекспир, быть может, только в том,
Что запросто болтает с тенью Гамлет.

Так запросто же! Дни рожденья есть.
Скажи мне, тень, что ты к нему желала б?
Так легче жить. А то почти не снесть

Пережитого слышащихся жалоб.

Памяти Рейснер

Лариса, вот когда посожалею,
Что я не смерть и ноль в сравненьи с ней.
Я б разузнал, чем держится без клею
Живая повесть на обрывках дней.
Как я присматривался к матерьялам!
Валились зимы кучей, шли дожди,
Запахивались вьюги одеялом
С грудными городами на груди.
Мелькали пешеходы в непогоду,
Ползли возы за первый поворот,
Года по горло погружались в воду,
Потоки новых запружали брод.
А в перегонном кубе все упрямей
Варилась жизнь, и шла постройка гнезд.
Работы оцепляли фонарями
При свете слова, разума и звезд.
Осмотришься, какой из нас не свалян
Из хлопьев и из недомолвок мглы?
Нас воспитала красота развалин,
Лишь ты превыше всякой похвалы.
Лишь ты, на славу сбитая боями,
Вся сжатым залпом прелести рвалась.
Не ведай жизнь, что значит обаянье,
Ты ей прямой ответ не в бровь, а в глаз.
Ты точно бурей грации дымилась.
Чуть побывав в ее живом огне,
Посредственность впадала вмиг в немилость,
Несовершенство навлекало гнев.
Бреди же в глубь преданья, героиня.
Нет, этот путь не утомит ступни.
Ширяй, как высь, над мыслями моими:
Им хорошо в твоей большой тени.

Приближенье грозы

Я. З. Черняку

Ты близко. Ты идешь пешком
Из города, и тем же шагом
Займешь обрыв, взмахнешь мешком
И гром прокатишь по оврагам.

Как допетровское ядро,
Он лугом пустится вприпрыжку

И раскидает груду дров
Слетевшей на сторону крышкой.

Тогда тоска, как оккупант,
Оцепит даль. Пахнет окопом.
Закплет. Ласточки вскипят.
Всей купой в сумрак вступит тополь.

Слух пронесется по верхам,
Что, сколько помнят, ты до шведа,
И холод въедет в арьергард,
Скача с передовых разведок.

Как вдруг, очистивши обрыв,
Ты с поля повернешь, раздумав,
И сгинешь, так и не открыв
Разгадки шлемов и костюмов.

А завтра я, нырнув в росу,
Ногой наткнусь на шар гранаты
И повесть в комнату внесу,
Как в оружейную палату.

Эпические мотивы

Жене

Город

Уже за версту,
В капиллярах ненастья и вереска

Густ и солон тобою туман.
Ты горишь, как лиман,
Обжигая пространства, как пересыпь,
Огневой солончак
Растекающихся по стеклу
Фонарей, каланча,
Пронизавшая заревом мглу!

Навстречу курьерскому, от города, как от моря,
По воздуху мчатся огромные рощи.
Это галки, кресты и сады, и подворья
В перелетном клину пустырей.
Все скорей и скорей вдоль вагонных дверей,
И за поезд
Во весь карьер.
Это вещие ветки,
Божась чердаками,

Вылетают на тучу.
Это черной божбою
Бьется пригород тьмутараканью в падучей.
Это люберцы или любань. Это гам
Шпор и блюдец, и тамбурных дверец, и рам
О чугунный перрон. Это сонный разброд
Бутербродов с цикорной бурдой и ботфорт.
Это смена бригад по утрам. Это спор
Забытья с голосами колес и рессор.
Это грохот утрат о возврат. Это звон
Перецепок у цели о весь перегон.
Ветер треплет ненастья наряд и вуаль.
Даль скользит со словами: навряд и едва ль
От расспросов кустов, полустанков и птах,
И лопат, и крестьянок в лаптях на путях.
Воедино сбираются дни сентября.
В эти дни они в сборе. Печальный обряд.
Обирают убранство. Дарят, обрыдав.
Это всех, обреченных земле, доброта.
Это горсть повестей, скопидомкой-судьбой
Занесенная в поздний прибой и отбой
Подмосковных платформ. Это доски мостков
Под клиновым листом. Это шелковый скоп
Шелестящих красот и крылатых семян
Для засева прудов. Всюду рябь и туман.
Всюду скарб на возах. Всюду дождь. Всюду скорбь.
Это наш городской гороскоп.
Уносятся шпалы, рыдая.
Листвой оглушенною свист замутив,
Скользит, задевая парами за ивы,
Захлебывающийся локомотив.
Считайте места. Пора. Пора.
Окрестности взяты на буфера.
Окно в слезах. Огни. Глаза.
Народу! Народу! Сопят тормоза.
Где-то с шумом падает вода.
Как в платок боготворимый, где-то
Дышат ночью тучи, провода,
Дышат зданья, дышат гром и лето.

Где-то с шумом падает вода.
Где-то, где-то, раздувая ноздри,
Скачут случай, тайна и беда,
За собой погоню заподозрив.

Где-то ночь, весь ливень расструив,
На двоих наскакивает в чайной.
Где же третья? А из них троих
Больше всех она гналась за тайной.

Громом дрожек, с аркады вокзала,
На краю заповедных рощ,

Ты развернут, роман небывалый,
Сочиненный осенью, в дождь.

Фонарями, и сказ свой ширишь
О страдалице бальэтажей,
О любви и о жертве, сиречь,
О рассроченном платеже.

Что сравнится с женскою силой?
Как она безумно смела!
Мир, как дом, сняла, заселила,
Корабли за собой сожгла.

Я опасаюсь, небеса,
Как их, ведут меня к тем самым
Жилым и скользким корпусам,
Где стены с тенью Мопассана.

Где за болтами жив Бальзак,
Где стали предсказаньем шкапа,
Годами в форточку вползав,
Гнилой декабрь и жуткий запад.

Как неудавшийся пасьянс,
Как выпад карты неминучей.
Nonny soit qui mal y pense:[6]
Нас только ангел мог измучить.

В углах улыбки, на щеке,
На прядях алая прохлада.
Пушатся уши и жакет.
Перчатки пара шоколадок.

В коленях шелест тупиков,
Тех тупиков, где от проходок,
От ветра, метел и пинков
Боярышник вкушает отдых.

Где горизонт, как Рубикон,
Где сквозь агонию громленой
Рябины, в дождь бегут бегом
Свистки и тучи, и вагоны.

Двадцать строф с предисловием (Зачаток романа "Спекторский")

Графленая в линейку десть!
Вглядись в ту сторону, откуда

---

[6] да будет стыдно тому, кто плохо об этом подумает (старофранц.).

Нахлынуло все то, что есть,
Что я когда-нибудь забуду.
Отрапортуй на том смотру.
Ударь хлопьшкою округи.
Будь точно роща на юру,
Ревущая под ртищем вьюги.
Как разом выросшая рысь,
Всмотрись во все, что спит в тумане,
А если рысь слаба вниманьем,
То пристальней еще всмотрись.
Одна оглядчивость пространства
Хотела от меня поэм.
Одна она ко мне пристрастна,
Я только ей не надоем.
Когда, снуя на задних лапах,
Храпел и шерсть ерошил снег,
Я вместе с далью падал на пол
И с нею ввязывался в грех.
По барабанной перепонке
Несущихся, как ты, стихов
Суди, имею ль я ребенка,
Равнина, от твоих пахов?
Я жил в те дни, когда на плоской
Земле прощали старикам,
Заря мирволила подросткам
И вечер к славе подстрекал.
Когда, нацелившись на взрослых,
Сквозь дым крупы, как сквозь вуаль,
Уже рябили ружья в козлах
И пухла крупповская сталь.
По круглым корешкам старинных книг
Порхают в искрах дымовые трубы.
Нежданно ветер ставит воротник,
И улица запахивает шубу.

Представьте дом, где пятен лишена
И только шагом схожая с гепардом,
В одной из крайних комнат тишина,
Облапив шар, ложится под бильярдом.
А рядом, в шапке крапчатой, декабрь
Висит в ветвях на зависть акробату
И с дерева дивится, как дикарь,
Нарядам и дурачествам Арбата.
В часы, когда у доктора прием,
Салон безмолвен, как салоп на вате.
Мы колокольни в окнах застаем
В заботе об отнявшемся набате.
Какое-то ручное вещество
Вертит хвостом, волною хлора зыблясь.
Его в квартире держат для того,
Чтоб пациенты дверью не ошиблись.

Профессор старше галок и дерев.
Он пепельницу порет папиросой.
Что в том ему, что этот гость здоров?
Не суйся в дом без вызова и спросу.
На нем манишка и сюртук до пят,
Закашлявшись и, видимо, ослышась,
Он отвечает явно невпопад:
«Не нервничать и избегать излишеств».
А после в вопль: "Я, право, утомлен!
Вы про свое, а я сиди и слушай?
А ежели вам имя легион?
Попробуйте гимнастику и души".

И улица меняется в лице,
И ветер машет вырванным рецептом,
И пять бульваров мечутся в кольце,
Зализывая рельсы за прицепом.
И ночь горит, как старый банный сруб,
Занявшийся от ерунды какой-то,
Насилу побежденная к утру
Из поданных бессонницей брандспойтов.
Туман на щепки колет тротуар,
Пожарные бредут за калачами,
И стужа ставит чащам самовар
Лучинами зари и каланчами.
Вся в копоти, с чугунной гирей мги
Синеет твердь и, вмиг воспламенившись,
Хватает клубья искр, как сапоги,
И втаскивает дым за голенища.
……..

Уральские стихи

1. Станция

Будто всем, что видит глаз,
До крапивы подзаборной,
Перед тем за миг пилась
Сладость радуги нагорной.
Будто оттого синель
Из буфета выгнать нечем,
Что в слезах висел туннель
И на поезде ушедшем.
В час его прохода столь
На песке перронном людно,
Что глядеть с площадок боль,
Как на блеск глазури блюдной.
Ад кромешный! К одному
Гибель солнц, стальных вдобавок,
Смотрит с темячек в дыму

Кружев, гребней и булавок.
Плюют семечки, топча
Мух, глотают чай, судача.
В зале, льющем сообща
С зноем неба свой в придачу.
А меж тем наперекор
Черным каплям пота в скопе,
Этой станции средь гор
Не к лицу названье «копи».
Пусть нельзя сильнее сжать
(Горы. Говор. Инородцы),
Но и в жар она свежа,
Будто только от колодца.
Лишь слышалось, как сзади шли.
До крапивы подзаборной,
Перед тем за миг пилась
Сладость радуги нагорной.
Что ж вдыхает красоту
В мленье этих скул и личек?
Мысль, что кажутся хребту
Горкой крашеных яичек.
Это шеломит до слез,
Обдает холодной смутой,
Веет, ударяет в нос,
Снится, чудится кому-то.

Кто крестил леса и дал
Им удушливое имя?
Кто весь край предугадал,
Встарь пугавши финна ими?

Уголь эху завещал:
Быть Уралом диким соснам.
Уголь дал и уголь взял.
Уголь, уголь был их крестным.

Целиком пошли в отца
Реки и клыки ущелий,
Черной бурею лица,
Клиньями столетних елей.

2. Рудник

Косую тень зари роднит
С косою тенью спин продольный
Великокняжеский рудник
И лес теней у входа в штольню.

Закат особенно свиреп,
Когда, с задов облив китайцев,

Он обдает тенями склеп,
Куда они упасть боятся.

Когда, цепляясь за края
Камнями выложенной арки,
Они волнуются, сную,
Как знаки заклинанья, жарки.

На волосок от смерти всяк
Идущий дальше. Эти группы
Последний отделяет шаг
От царства угля царства трупа.

Прощаясь, смотрит рудокоп
На солнце, как огнепоклонник.
В ближайший миг на этот скоп
Пахнет руда, дохнет покойник.

И ночь обступит. Этот лед
Ее тоски неописуем!
Так страшен, может быть, отлет
Души с последним поцелуем.

Как на разведке, чуден звук
Любой. Ночами звуки редки.
И дико вскрикивает крюк
На промелькнувшей вагонетке.

Огарки, а светлей костров
Вблизи, а чудится, верст за пять.
Росою черных катастроф
На волоса со сводов капит.
Слепая, вещая рука
Впотьмах выщупывает стенку,
Здорово дышат ли штрека,
И нет ли хриплого оттенка.
Ведь так легко пропасть, застряв,
Пар так и валит изо рта.
Прольется, грянувши, затрав
По недрам гулко, похоронно.
А знаете ль, каков на цвет,
Как выйдешь, день с порога копи?
Слепит, землистый, слова нет,
Расплавленные капли, хлопья.
В глазах бурлят луга, как медь
В отеках белого каленья.
И шутка ль! Надобно уметь
Не разрыдаться в исступленьи.
Как будто ты воскрес, как те
Из допотопных зверских капищ,
И руки поднял, и с ногтей
Текучим сердцем наземь капишь.

Матрос в Москве

Я увидал его, лишь только
С прудов зиме
Мигнул каток шестом флагштока
И сник во тьме.
Был чист каток, и шест был шаток,
И у перил,
У растаращенных рогаток,
Он закурил.
Был юн матрос, а ветер юрок:
Напал и сгреб,
И вырвал, и задул окурок,
И ткнул в сугроб.
Как ночь, сукно на нем сидело,
Как вольный дух
Шатавшихся, как он, без дела
Ноябрьских мух.

Как право дуть из всех отверстий,
Сквозь все колоть,
Как ночь, сидел костюм из шерсти
Мешком, не вплоть.

И эта шерсть, и шаг неверный,
И брюк покрой
Трактиром пахли на галерной,
Песком, икрой.

Москва казалась сортом щебня,
Который шел
В размол, на слом, в пучину гребней,
На новый мол.

Был ветер пьян, и обдал дрожью:
С вина буян.
Взглянул матрос (матрос был тоже,
Как ветер, пьян).

Угольный дом напомнил чем-то
Плавучий дом:
За шапкой, вея, дыбил ленты
Морской фантом.

За ним шаталось, якорь с цепью
Ища в дыре,
Соленое великолепье
Бортов и рей.

Огромный бриг, громадой торса
Задрав бока,
Всползая и сползая, терся
Об облака.

Москва в огнях играла, мерзла,
Роился шум,
А бриг вздыхал, и штевень ерзал,
И ахал трюм.

Матрос взлетал и ник, колышим,
Смешав в одно
Морскую низость с самым высшим,
С звездами дно.
Как зверски рявкать надо клетке
Такой грудной!
Но недоразуменья редки
У них с волной.

Со стеньг, с гирлянды поднебесий,
Почти с планет
Горланит пене, перевесясь:
«сегодня нет!»

В разгоне свищущих трансмиссий,
Едва упав
За мыс, кипит опять на мысе
Седой рукав.
На этом воющем заводе
Сирен, валов,
Огней и поршней полноводья
Не тратят слов.
Но в адском лязге передачи
Тоски морской
Стоят, в карманы руки пряча,
Как в мастерской.
Чтоб фразе рук не оторвало
И первых слов
Ремнями хлещущего шквала
Не унесло.

9-е января (первоначальный вариант)

Какая дальность расстоянья!
В одной из городских квартир
В столовой речь о ляоляне,
А в детской тушь и транспортир.
Январь, и это год Цусимы,
И, верно, я латынь зубрю,

И время в хлопьях мчится мимо
По старому календарю.
Густеют хлопья, тают слухи,
Густеют слухи, тает снег.
Выходят книжки в новом духе,
А в старом возбуждают смех.
И вот, уроков не доделав,
Я сплю, и где-то в тот же час
Толпой стоят в дверях отделов,
И время старит, мимо мчась.
И так велик наплыв рабочих,
Что в зал впускают в два ряда.
Их предостерегают с бочек.
Нет, им не причинят вреда.
Толпящиеся ждут Гапона.
Весь день он нынче сам не свой:
Их челобитная законна,
Он им клянется головой.

Неужто ж он их тащит в омут?
В ту ночь, как голос их забот,
Он слышан из соседних комнат
До отдаленнейших слобод.

Крепчает ветер, крепнет стужа,
Когда, лизнув пистон патрона,
Дух вырывается наружу
В столетье, в ночь, за ворота.

Когда рассвет столичный хаос
Окинул взглядом торжества,
Уже, мотая что-то на ус,
Похаживали пристава.

Невыспавшееся событье,
Как провод, в воздухе вися,
Обледенелой красной нитью
Опутывало всех и вся.

Оно рвалось от ружей в козлах,
От войск и воинских затей
В объятья любящих и взрослых
И пестовало их детей.

Еще пороли дичь проспекты,
И только-только рассвело,
Как уж оно в живую секту
Толпу с окраиной слило.

И лес темней у входа в штольню.
Когда предместье лесом труб
Сошлось, звеня, как сухожилье,

За головами этих групп.

Был день для них благоприятен,
И снег кругом горел и мерз
Артериями сонных пятен
И солнечным сплетеньем верст.

Когда же тронулись с заставы,
Достигши тысяч десяти,
Скрещенья улиц, как суставы,
Зашевелились по пути.

Их пенье оставляло пену
В ложбине каждого двора,
Сдвигало вывески и стены,
Перемещало номера.

И гимн гремел всего хвалебней,
И пели даже старики,
Когда передовому гребню
Открылась ширь другой реки.

Когда: «Да что там?» рявкнул голос,
И что-то отрубил другой,
И звук упал в пустую полость,
И выси выгнулись дугой.
Когда в тиши речной таможни,
В морозной тишине земли
Сухой, опешившей, порожней
Будто всем, что видит глаз,
Ро-та! Взвилось мечом Дамокла,
И стекла уши обрели:
Рвануло, отдало и смолкло,
И миг спустя упало: пли!
И вновь на набережной стекла,
Глотая воздух, напряглись.
Рвануло, отдало и смолкло,
И вновь насторожилась близь.
Толпу порол ружейный ужас,
Как свежевыбеленный холст.
И выводок кровавых лужиц
У ног, не обнаружась, полз.
Рвало и множилось и молкло,
И камни их и впрямь рвало
Горячими комками свеклы
Хлестало холодом стекло.
И в третий раз притихли выси,
И в этот раз над спячкой барж
Взвилось мечом Дамокла: рысью!
И лишь спустя мгновенье: марш!

К октябрьской годовщине

1

Редчал разговор оживленный.
Шинель становилась в черед.
Растягивались в эшелоны
Телятники маршевых рот.
Десятого чувства верхушкой
Подхватывали ковыли,
Что этот будильник с кукушкой
Лет на сто вперед завели.
Бессрочно и тысячеверстно
Шли дни под бризантным дождем.
Их вырвавшееся упорство
Не ставило нас ни во что.

Всегда-то их шумную груду
Несло неизвестно куда.
Теперь неизвестно откуда
Их двигало на города.

И были престранные ночи
И род вечеров в сентябре,
Что требовали полномочий
Обширней еще, чем допрежь.

В их августовское убранство
Вошли уже корпия, креп,
Досрочный призыв новобранцев,
Неубранный беженцев хлеб.

Могло ли им вообразиться,
Что под боком, невдалеке,
Окликнутые с позиций
Жилища стоят в столбняке?

Но, правда, ни в слухах нависших,
Ни в стойке их сторожевой,
Ни в низко надвинутых крышах
Не чувствовалось ничего.

2

Под спудом пыльных садов,
На дне летнего дня
Нева, и нефти пятном
Расплывшаяся солдатня.

Вечерние выпуска
Газет рвут нарасхват.
Асфальты. Названья судов.
Аптеки. Торцы. Якоря.

Заря, и под ней, в западне
Инженерного замка, подобный
Равномерно-несметной, как лес, топотне
Удаляющейся кавалерии, плеск
Литейного, лентой рулетки
Раскатывающего на роликах плит
Во все запустенье проспекта
Штиблетную бурю толпы.

Остатки чугунных оград
Местами целеют под кипой
Событий и прахом попыток
Уйти из киргизской степи.

Но тучи черней, аппарат
Ревет в типографском безумьи,
И тонут копыта и скрипы кибиток
В сыпучем самуме бумажной стопы.

Семь месяцев мусор и плесень, как шерсть,
На лестницах министерств.
Одинокий как перст,
Таков Петроград,
Еще с государственной думы
Ночами и днями кочующий в чумах
И утром по юртам бесчувственный к шуму
Гольтепы.
Он все еще не искупил
Провинностей скиптера и ошибок
Противного стереотипа,
И сослан на взморье, топить, как сизиф,
Утопии по затонам,
И, чуть погрузив, подымать эти тонны
Картона и несть на себе в неметенный
Семь месяцев сряду пыльный тупик.
И осень подходит с обычной рутиной
Крутящихся листьев и мокрых куртин.

3

Густая слякоть клейковиной
Полощет улиц колею:
К виновному прилип невинный,
И день, и дождь, и даль в клею.
Ненасте настилает скаты,

Гремит железом пласт о пласт,
Свергает власти, рвет плакаты,
Наталкивает класс на класс.
Костры. Пикеты. Мгла. Поэты
Уже печатают тюки
Стихов потомкам на пакеты
И нам на кету и пайки.
Тогда, как вечная случайность,
Подкрадывается зима
Под окна прачечных и чайных
И прячет хлеб по закромам.
Коротким днем, как коркой сыра,
Играют крысы на софе
И, протащив по всей квартире,
Укатывают за буфет.
На смену спорам оборонцев
Как север, ровный совнарком,
Безбрежный снег, и ночь, и солнце,
С утра глядящее сморчком.

Пониклый день, серье и быдло,
Обидных выдач жалкий цикл,
По виду жизнь для мотоциклов
И обданных повидлой игл.

Для галок и красногвардейцев,
Под черной кожей мокрый хром.
Какой еще заре зардеться
При взгляде на такой разгром?

На самом деле ж это небо
Намыкавшейся всласть зимы,
По всем окопам и совдепам
За хлеб восставшей и за мир.

На самом деле это где-то
Задетый ветром с моря рой
Горящих глаз Петросовета,
Вперенных в небывалый строй.

Да, это то, за что боролись.
У них в руках метеорит.
И будь он даже пуст, как полюс,
Спасибо им, что он открыт.

Однажды мы гостили в сфере
Преданий. Нас перевели
На четверть круга против зверя.
Мы первая любовь земли.

Белые стихи

И в этот миг прошли в мозгу все мысли
единственные, нужные. Прошли
и умерли…
Александр Блок

Он встал. В столовой било час. Он знал,
Теперь конец всему. Он встал и вышел.
Шли облака. Меж строк и как-то вскользь
Стучала трость по плитам тротуара,
И где-то громыхали дрожки. Год
Назад Бальзак был понят сединой.
Шли облака. Стучала трость. Лило.

Он мог сказать: "Я знаю, старый друг,
Как ты дошел до этого. Я знаю,
Каким ключом ты отпер эту дверь,
Как ту взломал, как глядывал сквозь эту
И подсмотрел все то, что увидал".

Из-под ладоней мокрых облаков,
Из-под теней, из-под сырых фасадов,
Мотаясь, вырывалась в фонарях
Захватанная мартом мостовая.
"И даже с чьим ты адресом в руках
Стирал ступени лестниц, мне известно".
И ветер гнал ботву по рельсам рынка.
"Сто ганских с кашлем зябло по утрам
И, волосы расчесывая, драло
Гребенкою. Сто ганских в зеркалах
Бросало в дрожь. Сто ганских пило кофе.
А надо было богу доказать,
Что ганская одна, как он задумал…"
На том конце, где громыхали дрожки,
Запел петух. "Что Ганская одна,
Как говорила подпись Ганской в письмах,
Как сон, как смерть". Светало. В том конце,
Где громыхали дрожки, пробуждались.
Как поздно отпираются кафе,
И как свежа печать сырой газеты!
Ничто не мелко, жирен всякий шрифт,
Как жир галош и шин, облитых солнцем.
Как празден дух проведшего без сна
Такую ночь! Как голубо пылает
Фитиль в мозгу! Как ласков огонек!
Как непоследовательно насмешлив!
Он вспомнил всех. Напротив у молочной,
Рыжел навоз. Чирикал воробей.
Он стал искать той ветки, на которой
На части разрывался, вне себя
От счастья, этот щебет. Впрочем, вскоре

Он заключил, что ветка над окном,
Ввиду того ли, что в его виду
Перед окошком не было деревьев,
Иль от чего еще. Он вспомнил всех.
О том, что справа сад, он догадался
По тени вяза, легшей на панель.
Она блистала, как и подстаканник.
Вдруг с непоследовательностью в мыслях,
Приличною не спавшему, ему
Подумалось на миг такое что-то,
Что трудно передать. В горящий мозг
Вошли слова: любовь, несчастье, счастье,
Судьба, событье, похожденье, рок,
Случайность, фарс и фальшь. Вошли и вышли.

По выходе никто б их не узнал,
Как девушек, остриженных машинкой
И пощаженных тифом. Он решил,
Что этих слов никто не понимает,
Что это не названия картин,
Не сцены, но разряды матерьялов.
Что в них есть шум и вес сыпучих тел,
И сумрак всех букетов москательной.
Что мумией изображают кровь,
Но можно иней начертить сангиной,
И что в душе, в далекой глубине,
Сидит такой завзятый рисовальщик
И иногда рисует La lune de miel[7]
Куском беды, крошащейся меж пальцев,
Куском здоровья бешеный кошмар,
Обломком бреда светлое блаженство.
В пригретом солнцем синем картузе,
Обдернувшись, он стал спиной к окошку.
Он продавал жестяных саламандр.
Он торговал осколками лазури,
И ящерицы бегали, блеща,
По яркому песку вдоль водостоков,
И щебетали птицы. Шел народ,
И дети разевали рты на диво.
Кормилица царицей проплыла.
За март, в апрель просилось ожерелье,
И жемчуг, и глаза, кровь с молоком
Лица и рук, и бус, и сарафана.

Еще по кровлям ездил снег. Еще
Весна смеялась, вспенив снегу с солнцем.
Десяток парниковых огурцов
Был слишком слаб, чтоб в марте дать понятье
О зелени. Но март их понимал

---

[7] медовый месяц (франц.).

И всем трубил про молодость и свежесть.

Из всех картин, что память сберегла,
Припомнилась одна: ночное поле.
Казалось, в звезды, словно за чулок,
Мякина забивается и колет.
Глаза, казалось, млечный путь пылит.
Казалось, ночь встает без сил с омета
И сор со звезд сметает. Степь неслась
Рекой безбрежной к морю, и со степью
Неслись стога и со стогами ночь.

На станции дежурил крупный храп,
Как пласт, лежавший на листе железа.
На станции ревели мухи. Дождь
Звенел об зымзу, словно о подойник.
Из четырех громадных летних дней
Сложило сердце эту память правде.
По рельсам плыли, прорезая мглу,
Столбы сигналов, ударяя в тучи,

И резали глаза. Бессонный мозг
Тянуло в степь, за шпалы и сторожки.
На станции дежурил храп, и дождь
Ленился и вздыхал в листве. Мой ангел,
Ты будешь спать: мне обещала ночь!
Мой друг, мой дождь, нам некуда спешить.
У нас есть время. У меня в карманах
Орехи. Есть за чем с тобой в степи
Полночи скоротать. Ты видел? Понял?
Ты понял? Да? Не правда ль, это то?

Та бесконечность? То обетованье?
И стоило расти, страдать и ждать.
И не было ошибкою родиться?
На станции дежурил крупный храп.
Зачем же так печально опаданье
Безумных знаний этих? Что за грусть
Роняет поцелуи, словно август,
Которого ничем не оторвать
От лиственницы? Жаркими губами
Пристал он к ней, она и он в слезах,
Он совершенно мокр, мокры и иглы…

Высокая болезнь
(1923 – 1928)

Мелькает движущийся ребус

Мелькает движущийся ребус,
Идет осада, идут дни,
Проходят месяцы и лета.
В один прекрасный день пикеты,
Сбиваясь с ног от беготни,
Приносят весть: сдается крепость.
Не верят, верят, жгут огни,
Взрывают своды, ищут входа,
Выходят, входят, идут дни,
Проходят месяцы и годы.
Проходят годы, все в тени.
Рождается троянский эпос.
Не верят, верят, жгут огни,
Нетерпеливо ждут развода,
Слабеют, слепнут, идут дни,
И в крепости крошатся своды.

Мне стыдно и день ото дня стыдней,
Что в век таких теней
Высокая одна болезнь
Еще зовется песнь.
Уместно ль песнью звать содом,
Усвоенный с трудом
Землей, бросавшейся от книг
На пики и на штык.
Благими намереньями вымощен ад.
Установился взгляд,
Что если вымостить ими стихи,
Простятся все грехи.
Все это режет слух тишины,
Вернувшейся с войны,
А как натянут этот слух,
Узнали в дни разрух.

В те дни на всех припала страсть
К рассказам, и зима ночами
Не уставала вшами прясть,
Как лошади прядут ушами.
То шевелились тихой тьмы
Засыпанные снегом уши,
И сказками метались мы
На мятных пряниках подушек.

Обивкой театральных лож
Весной овладевала дрожь.
Февраль нищал и стал неряшлив.
Бывало, крякнет, кровь откашляв,
И сплюнет, и пойдет тишком
Шептать теплушкам на ушко
Про то да се, про путь, про шпалы,
Про оттепель, про что попало;

Про то, как с фронта шли пешком.

Уж ты и спишь, и смерти ждешь,
Рассказчику ж и горя мало:
В ковшах оттаявших калош
Припутанную к правде ложь
Глотает платяная вошь
И прясть ушами не устала.
Хотя зарей чертополох,
Стараясь выгнать тень подлиньше,
Растягивал с трудом таким же
Ее часы, как только мог;
Хотя, как встарь, проселок влек,
Чтоб снова на суглинок вымчать
И вынесть вдоль жердей и слег;
Хотя осенний свод, как нынче,
Был облачен, и лес далек,
А вечер холоден и дымчат,
Однако это был подлог,
И сон застигнутой врасплох
Земли похож был на родимчик,
На смерть, на тишину кладбищ,
На ту особенную тишь,
Что спит, окутав округ целый,
И, вздрагивая то и дело,
Припомнить силится: "Что, бишь,
Я только что сказать хотела?"
Хотя, как прежде, потолок,
Служа опорой новой клети,
Тащил второй этаж на третий
И пятый на шестой волок,
Внушая сменой подоплек,
Что все по-прежнему на свете,
Однако это был подлог,
И по водопроводной сети
Взбирался кверху тот пустой,
Сосущий клекот лихолетья,
Тот, жженный на огне газеты,
Смрад лавра и китайских сой,
Что был нудней, чем рифмы эти,
И, стоя в воздухе верстой,
Как бы бурчал: "Что, бишь, постой,
Имел я нынче съесть в предмете?"
И полз голодною глистой
С второго этажа на третий,
И крался с пятого в шестой.
Он славил твердость и застой
И мягкость объявлял в запрете.
Что было делать? Звук исчез
За гулом выросших небес.

Их шум, попавши на вокзал,

За водокачкой исчезал,
Потом их относило за лес,
Где сыпью насыпи казались,
Где между сосен, как насос,
Качался и качал занос,
Где рельсы слепли и чесались,
Едва с пургой соприкасались.

А сзади, в зареве легенд,
Дурак, герой, интеллигент
В огне декретов и реклам
Горел во славу темной силы,
Что потихоньку по углам
Его с усмешкой поносила
За подвиг, если не за то,
Что дважды два не сразу сто.
А сзади, в зареве легенд,
Идеалист-интеллигент
Печатал и писал плакаты
Про радость своего заката.

В сермягу завернувшись, смерд
Смотрел назад, где север мерк
И снег соперничал в усердьи
С сумерничающею смертью.
Там, как орган, во льдах зеркал
Вокзал загадкою сверкал,
Глаз не смыкал и горе мыкал
И спорил дикой красотой
С консерваторской пустотой
Порой ремонтов и каникул.
Невыносимо тихий тиф,
Колени наши охватив,
Мечтал и слушал с содроганьем
Недвижно лившийся мотив
Сыпучего самосверганья.
Он знал все выемки в органе
И пылью скучивался в швах
Органных меховых рубах.
Его взыскательные уши
Еще упрашивали мглу,
И лед, и лужи на полу
Безмолвствовать как можно суше.

Мы были музыкой во льду.
Я говорю про всю среду,
С которой я имел в виду
Сойти со сцены, и сойду.
Здесь места нет стыду.
Я не рожден, чтоб три раза
Смотреть по-разному в глаза.
Еще двусмысленней, чем песнь,

Тупое слово «враг».
Гощу. Гостит во всех мирах

Высокая болезнь.

Всю жизнь я быть хотел как все,
Но век в своей красе
Сильнее моего нытья
И хочет быть, как я.
Мы были музыкою чашек
Ушедших кушать чай во тьму
Глухих лесов, косых замашек
И тайн, не льстящих никому.
Трещал мороз, и ведра висли.
Кружились галки, и ворот
Стыдился застуженный год.
Мы были музыкою мысли,
Наружно сохранявшей ход,
Но в стужу превращавшей в лед
Заслякоченный черный ход.
Но я видал девятый съезд
Советов. В сумерки сырые
Пред тем обегав двадцать мест,
Я проклял жизнь и мостовые,
Однако сутки на вторые,
И помню, в самый день торжеств,
Пошел взволнованный донельзя
К театру с пропуском в оркестр.
Я трезво шел по трезвым рельсам,
Глядел кругом, и все окрест
Смотрело полным погорельцем,
Отказываясь наотрез
Когда-нибудь подняться с рельс.
С стенных газет вопрос карельский
Глядел и вызывал вопрос
В больших глазах больных берез.
На телеграфные устои
Садился снег тесьмой густою,
И зимний день в канве ветвей
Кончался, по обыкновенью,
Не сам собою, но в ответ
На поученье. В то мгновенье
Моралью в сказочной канве
Казалась сказка про конвент.
Про то, что гения горячка
Цемента крепче и белей.
(кто не ходил за этой тачкой,
Тот испытай и поболей.)
Про то, как вдруг в окнце недели
На слепнущих глазах творца

Родятся стены цитадели
Иль крошечная крепостца.
Чреду веков питает новость,
Но золотой ее пирог,
Пока преданье варит соус,
Встает нам горла поперек.

Теперь из некоторой дали
Не видишь пошлых мелочей.
Забылся трафарет речей,
И время сгладило детали,
А мелочи преобладали.

Уже мне не прописан фарс
В лекарство ото всех мытарств.
Уж я не помню основанья
Для гладкого голосованья.
Уже я позабыл о дне,
Когда на океанском дне
В зияющей японской бреши
Сумела различить депеша
(какой ученый водолаз)
Класс спрутов и рабочий класс.
А огнедышащие горы,
Казалось, вне ее разбора.
Но было много дел тупей
Классификации Помпей.
Я долго помнил назубок
Кощунственную телеграмму:
Мы посылали жертвам драмы
В смягченье треска Фудзиямы
Агитпрофсожеский лубок.

Проснись, поэт, и суй свой пропуск.
Здесь не в обычае зевать.
Из лож по креслам скачут в пропасть
Мста, ладога, шексна, ловать.
Опять из актового зала
В дверях, распахнутых на юг,
Прошлось по лампам опахало
Арктических петровых вьюг.
Опять фрегат пошел на траверс.
Опять, хлебнув большой волны,
Дитя предательства и каверз
Не узнает своей страны.

Все спало в ночь, как с громким порском
Под царский поезд до зари
По всей окраине поморской
По льду рассыпались псари.
Бряцанье шпор ходило горбясь,
Преданье прятало свой рост

За железнодорожный корпус,
Под железнодорожный мост.
Орлы двуглавые в вуали,
Вагоны пульмана во мгле
Часами во поле стояли,
И мартом пахло на земле.
Под порховом в брезентах мокрых
Вздувавшихся верст за сто вод
Со сна на весь балтийский округ
Зевал пороховой завод.

И уставал орел двуглавый,
По псковской области кружа,
От стягивавшейся облавы
Неведомого мятежа.
Ах, если бы им мог попасться
Путь, что на карты не попал.
Но быстро таяли запасы
Отмеченных на картах шпал.
Они сорта перебирали
Исщипанного полотна.
Везде ручьи вдоль рельс играли,
И будущность была мутна.
Сужался круг, редели сосны,
Два солнца встретились в окне.
Одно всходило из-за тосна,
Другое заходило в дне.
Чем мне закончить мой отрывок?
Я помню, говорок его
Пронзил мне искрами загривок,
Как шорох молньи шаровой.
Все встали с мест, глазами втуне
Обшаривая крайний стол,
Как вдруг он вырос на трибуне
И вырос раньше, чем вошел.
Он проскользнул неуследимо
Сквозь строй препятствий и подмог,
Как этот, в комнату без дыма
Грозы влетающий комок.
Тогда раздался гул оваций,
Как облегченье, как разряд
Ядра, не властного не рваться
В кольце поддержек и преград.
И он заговорил. Мы помним
И памятники павшим чтим.
Но я о мимолетном. Что в нем
В тот миг связалось с ним одним?
Он был как выпад на рапире.
Гонясь за высказанным вслед,
Он гнул свое, пиджак топыря
И пяля передки штиблет.
Слова могли быть о мазуте,

Но корпуса его изгиб
Дышал полетом голой сути,
Прорвавшей глупый слой лузги.
И эта голая картавость
Отчитывалась вслух во всем,
Что кровью былей начерталось:
Он был их звуковым лицом.
Столетий завистью завистлив,
Ревнив их ревностью одной,
Он управлял теченьем мыслей
И только потому страной.

Тогда его увидев въяве,
Я думал, думал без конца
Об авторстве его и праве
Дерзать от первого лица.
Из ряда многих поколений
Выходит кто-нибудь вперед.
Предвестьем льгот приходит гений
И гнетом мстит за свой уход.

Девятьсот пятый год
(июль 1925 – февраль 1926)

В нашу прозу с ее безобразьем

В нашу прозу с ее безобразьем
С октября забредает зима.
Небеса опускаются наземь,
Точно занавеса бахрома.

Еще спутан и свеж первопуток,
Еще чуток и жуток, как весть,
В неземной новизне этих суток,
Революция, вся ты, как есть.

Жанна д'Арк из сибирских колодниц,
Каторжанка в вождях, ты из тех,
Что бросались в житейский колодец,
Не успев соразмерить разбег.

Ты из сумерек, социалистка,
Секла свет, как из груды огнив.
Ты рыдала, лицом василиска
Озарив нас и оледенив.

Отвлеченная грохотом стрельбищ,
Оживающих там, вдалеке,
Ты огни в отчужденьи колеблешь,

Точно улицу вертишь в руке.

И в блуждании хлопьев кутежных
Тот же гордый, уклончивый жест:
Как собой недовольный художник,
Отстраняешься ты от торжеств.

Как поэт, отпылав и отдумав,
Ты рассеянья ищешь в ходьбе.
Ты бежишь не одних толстосумов:
Все ничтожное мерзко тебе.

Отцы

Это было при нас.
Это с нами вошло в поговорку,
И уйдет.
И однако,
За быстрою сменою лет,
Стерся след,
Словно год
Стал нулем меж девятки с пятеркой,
Стерся след,
Были нет,
От нее не осталось примет.
Еще ночь под ружьем
И заря не взялась за винтовку.
И однако,
Вглядимся:
На деле гораздо светлей.
Этот мрак под ружьем
Погружен
В полусон
Забастовкой.
Эта ночь
Наше детство
И молодость учителей.
Ей предшествует вечер
Крушений,
Кружков и героев,
Динамитчиков,
Дагерротипов,
Горенья души.
Ездят тройки по трактам,
Но, фабрик по трактам настроив,
Подымаются Саввы
И зреют Викулы в глуши.
Барабанную дробь
Заглушают сигналы чугунки.
Гром позорных телег

Громыхание первых платформ.
Крепостная Россия
Выходит
С короткой приструнки
На пустырь
И зовется
Россиею после реформ.

Это народовольцы,
Перовская,
Первое марта,
Нигилисты в поддевках,
Застенки,
Студенты в пенсне.
Повесть наших отцов,
Точно повесть
Из века Стюартов,
Отдаленней, чем Пушкин,
И видится
Точно во сне.

Да и ближе нельзя:
Двадцатипятилетье в подпольи.
Клад в земле.
На земле
Обездушенный калейдоскоп.
Что бы клад откопать,
Мы глаза
Напрягаем до боли.
Покорясь его воле,
Спускаемся сами в подкоп.

Тут бывал Достоевский.
Затворницы ж эти,
Не чаяв,
Что у них,
Что ни обыск,
То вывоз реликвий в музей,
Шли на казнь
И на то,
Чтоб красу их подпольщик Нечаев
Скрыл в земле,
Утаил
От времен и врагов и друзей.

Это было вчера,
И, родись мы лет на тридцать раньше,
Подойди со двора,
В керосиновой мгле фонарей,
Средь мерцанья реторт
Мы нашли бы,
Что те лаборантши

Наши матери
Или
Приятельницы матерей.

Моросит на дворе.
Во дворце улеглась суматоха.
Тухнут плошки.
Теплынь.

Город вымер и словно оглох.
Облетевшим листом
И кладбищенским чертополохом
Дышит ночь.
Ни души.
Дремлет площадь,
И сон ее плох.
Но положенным слогом
Писались и нынче доклады,
И в неведеньи бед
За Невою пролетка гремит.
А сентябрьская ночь
Задыхается
Тайною клада,
И Степану Халтурину
Спать не дает динамит.
Эта ночь простоит
В забытьи
До времен порт-Артура.
Телеграфным столбам
Будет дан в вожаки эшафот.
Шепот жертв и депеш,
Участясь,
Усыпит агентуру,
И тогда-то придет
Та зима,
Когда все оживет.
Мы родимся на свет.
Как-нибудь
Предвечернее солнце
Подзовет нас к окну.
Мы одухотворим наугад
Непривычный закат,
И при зрелище труб
Потрясемся,
Как потрясся,
Кто б мог
Оглянуться лет на сто назад.
Точно Лаокоон
Будет дым
На трескучем морозе,
Оголясь,
Как атлет,

Обнимать и валить облака.
Ускользающий день
Будет плыть
На железных полозьях
Телеграфных сетей,
Открывающихся с чердака.

А немного спустя,
И светя, точно блудному сыну,
Чтобы шеи себе
Этот день не сломал на шоссе,
Выйдут с лампами в ночь
И с небес
Будут бить ему в спину
Фонари корпусов
Сквозь туман,
Полоса к полосе.

Детство

Мне четырнадцать лет.
ВХУТЕМАС
Еще школа ваянья.
В том крыле, где рабфак,
Наверху,
Мастерская отца.
В расстояньи версты,
Где столетняя пыль на Диане
И холсты,
Наша дверь.
Пол из плит
И на плитах грязца.
Это дебри зимы.
С декабря воцаряются лампы.
Порт-Артур уже сдан,
Но идут в океан крейсера,
Шлют войска,
Ждут эскадр,
И на старое зданье почтамта
Смотрят сумерки,
Краски,
Палитры
И профессора.

Сколько типов и лиц!
Вот душевнобольной.
Вот тупица.
В этом теплится что-то.
А вот совершенный щенок.
В классах яблоку негде упасть

И жара, как в теплице.
Звон у флора и лавра
Сливается
С шарканьем ног.

Как-то раз,
Когда шум за стеной,
Как прибой, неослаблен,
Омут комнат недвижен
И улица газом жива, —
Раздается звонок,

Голоса приближаются:
Скрябин.
О, куда мне бежать
От шагов моего божества!
Близость праздничных дней,
Четвертные.
Конец полугодья.
Искрясь струнным нутром,
Дни и ночи
Открыт инструмент.
Сочиняй хоть с утра,
Дни идут.
Рождество на исходе.
Сколько отдано елкам!
И хоть бы вот столько взамен.
Петербургская ночь.
Воздух пучится черною льдиной
От иглистых шагов.
Никому не чинится препон.
Кто в пальто, кто в тулупе.
Луна холодеет полтиной.
Это в нарвском отделе.
Толпа раздается:
Гапон.
В зале гул.
Духота.
Тысяч пять сосчитали деревья.
Сеясь с улицы в сени,
По лестнице лепится снег.
Здесь родильный приют,
И в некрашеном сводчатом чреве
Бьется об стены комнат
Комком неприкрашенным
Век.
Пресловутый рассвет.
Облака в куманике и клюкве.
Слышен скрип галерей,
И клубится дыханье помой.
Выбегают, идут
С галерей к воротам,

Под хоругви,
От ворот – на мороз,
На простор,
Подожженный зимой.
Восемь громких валов
И девятый,
Как даль, величавый.
Шапки смыты с голов.
Спаси, господи, люди твоя.

Слева – мост и канава,
Направо – погост и застава,
Сзади – лес,
Впереди —
Передаточная колея.

На Каменноостровском.
Стеченье народа повсюду.
Подземелья, панели.
За шествием плещется хвост
Разорвавших затвор
Перекрестков
И льющихся улиц.
Демонстранты у парка.
Выходят на Троицкий мост.

Восемь залпов с Невы
И девятый,
Усталый, как слава.
Это —
(слева и справа
Несутся уже на рысях.)
Это —
(дали орут:
Мы сочтемся еще за расправу.)
Это рвутся
Суставы
Династии данных
Присяг.

Тротуары в бегущих.
Смеркается.
Дню не подняться.
Перекату пальбы
Отвечают
Пальбой с баррикад.
Мне четырнадцать лет.
Через месяц мне будет пятнадцать.
Эти дни, как дневник.
В них читаешь,
Открыв наугад.

Мы играем в снежки.
Мы их мнем из валящихся с неба
Единиц
И снежинок
И толков, присущих поре.
Этот оползень царств,
Это пьяное паданье снега —
Гимназический двор
На углу поварской
В январе.

Что ни день, то метель.
Те, что в партии,
Смотрят орлами.
Это в старших.
А мы:
Безнаказанно греку дерзим,
Ставим парты к стене,
На уроках играем в парламент
И витаем в мечтах
В нелегальном районе грузин.
Снег идет третий день.
Он идет еще под вечер.
За ночь
Проясняется.
Утром —
Громовый раскат из кремля:
Попечитель училища…
Насмерть…
Сергей александрыч…
Я грозу полюбил
В эти первые дни февраля.

Мужики и фабричные

Еще в марте
Буран
Засыпает все краски на карте.
Нахлобучив башлык,
Отсыпается край,
Как сурок.
Снег лежит на ветвях,
В проводах,
В разветвлениях партий,
На кокардах драгун
И на шпалах железных дорог.
Но не радует даль.
Как раздолье собой ни любуйся, —
Верст на тысячу вширь,
В небеса,

Как сивушный отстой,
Ударяет нужда
Перегарами спертого буйства.
Ошибает
На стуже
Стоградусною нищетой.

И уж вот
У господ
Расшибают пожарные снасти,
И громадами зарев
Командует море бород,
И уродует страсть,
И орудуют конные части,
И бушует:
Вставай,
Подымайся,
Рабочий народ.

И бегут, и бегут,
На санях,
Через глушь перелесиц,
В чем легли,
В чем из спален
Спасались,
Спаленные в пух.
И весь путь
В сосняке
Ворожит замороженный месяц.
И торчит копылом
И кривляется
Красный петух.

Нагибаясь к саням,
Дышат ели,
Дымятся и ропщут.
Вон огни.
Там уезд.
Вон исправника дружеский кров.
Еще есть поезда.
Еще толки одни о всеобщей:
Забастовка лишь шастает
По мостовым городов.

Лето.
Май иль июнь.
Паровозный Везувий под Лодзью.
В воздух вогнаны гвозди.
Отеки путей запеклись.
В стороне от узла
Замирает
Грохочущий отзыв:

Это сыплются стекла
И струпья
Расстрелянных гильз.

Началось, как всегда.
Столкновенье с войсками
В предместьи
Послужило толчком.

Были жертвы с обеих сторон.
Но рабочих зажгло
И исполнило жаждою мести
Избиенье толпы,
Повторенное в день похорон.
И тогда-то
Загрохали ставни,
И город,
Артачась,
Оголенный,
Без качеств,
И каменный, как никогда,
Стал собой без стыда.
Так у статуй,
Утративших зрячесть,
Пробуждается статность.
Он стал изваяньем труда.
Днем закрылись конторы.
С пяти прекратилось движенье.
По безжизненной Лодзи
Бензином
Растекся закат.
Озлобленье рабочих
Избрало разъезды мишенью.
Обезлюдевший город
Опутала сеть баррикад.
В ночь стянули войска.
Давши залп с мостовой,
Из-за надолб,
С баррикады скрывались
И, сдав ее, жарили с крыш.
С каждым кругом колес артиллерии
Кто-нибудь падал
Из прислуги,
И с каждой
Пристяжкою
Падал престиж.

Морской мятеж

Приедается все,

Лишь тебе не дано примелькаться.
Дни проходят,
И годы проходят
И тысячи, тысячи лет.
В белой рьяности волн,
Прячась
В белую пряность акаций,
Может, ты-то их,
Море,
И сводишь, и сводишь на нет.

Ты на куче сетей.
Ты курлычешь,
Как ключ, балагуря,
И, как прядь за ушком,
Чуть щекочет струя за кормой.
Ты в гостях у детей.
Но какою неслыханной бурей
Отзываешься ты,
Когда даль тебя кличет домой!

Допотопный простор
Свирепеет от пены и сипнет.
Расторопный прибой
Сатанеет
От прорвы работ.
Все расходится врозь
И по-своему воет и гибнет,
И, свинея от тины,
По сваям по-своему бьет.

Пресноту парусов
Оттесняет назад
Одинакость
Помешавшихся красок,
И близится ливня стена.
И все ниже спускается небо
И падает накось,
И летит кувырком,
И касается чайками дна.

Гальванической мглой
Взбаламученных туч
Неуклюже,
Вперевалку, ползком,
Пробираются в гавань суда.
Синеногие молньи
Лягушками прыгают в лужу.
Голенастые снасти
Швыряет
Туда и сюда.

Все сбиралось всхрапнуть.
И карабкались крабы,
И к центру
Тяжелевшего солнца
Клонились головки репья.
И мурлыкало море.
В версте с половиной от тендра,
Серый кряж броненосца
Оранжевым крапом
Рябя.

Солнце село.
И вдруг
Электричеством вспыхнул «Потемкин».
Со спардека на камбуз
Нахлынуло полчище мух.
Мясо было с душком…
И на море упали потемки.
Свет брюзжал до зари
И забрезжившим утром потух.
Глыбы
Утренней зыби
Скользнули,
Как ртутные бритвы,
По подножью громады,
И, глядя на них с высоты,
Стал дышать броненосец
И ожил.
Пропели молитву.
Стали скатывать палубу.
Вынесли в море щиты.
За обедом к котлу не садились
И кушали молча
Хлеб да воду,
Как вдруг раздалось:
– Все на ют!
По местам!
На две вахты!
И в кителе некто,
Чернея от желчи,
Гаркнул:
– Смирно! —
С буксирного кнехта
Грозя семистам.
– Недовольство!!!
Кто кушать – к котлу,
Кто не хочет – на рею.
Выходи!
Вахты замерли, ахнув.
И вдруг, сообща,
Устремились в смятеньи
От кнехта

Бегом к батарее.
– Стой!
Довольно! —
Вскричал
Озверевший апостол борща.
Часть бегущих отстала.
Он стал поперек.
– Снова шашни!!! —
Он скомандовал:
– Боцман,
Брезент!

Караул, оцепить! —
Остальные,
Забившись толпой в батарейную башню,
Ждали в ужасе казни,
Имевшей вот-вот наступить.

Шибко бились сердца.
И одно,
Не стерпевшее боли,
Взвыло:
– Братцы!
Да что ж это!
И, волоса шевеля:
– Бей их, братцы, мерзавцев!
За ружья!
Да здравствует воля! —
Лязгом стали и ног
Откатилось
К ластам корабля.

И восстанье взвилось,
Шелестя,
До высот за бизанью,
И раздулось,
И там
Кистенем
Описало дугу.
– Что нам взапуски бегать!
Да стой же, мерзавец!
Достану! —
Трах-тах-тах…
Вынос кисти по цели
И залп на бегу.

Трах-тах-тах…
И запрыгали пули по палубам,
С палуб,
Трах-тах-тах…
По воде,
По пловцам.

– Он еще на борту!!! —
Залпы в воду и в воздух.
– Ага!
Ты звереешь от жалоб!!! —
Залпы, залпы,
И за ноги за борт
И марш в порт-Артур.

А в машинном возились,
Не зная еще хорошенько,
Как на шканцах дела,
Когда, тенью проплыв по котлам,
По машинной решетке
Гигантом
Прошел
Матюшенко

И, нагнувшись над адом,
Вскричал:
– Степа!
Наша взяла!
Машинист поднялся.
Обнялись.
– Попытаем без нянек.
Будь покоен!
Под стражей.
А прочим по пуле и вплавь.
Я зачем к тебе, Степа, —
Каков у нас младший механик?
– Есть один.
– Ну и ладно.
Ты мне его наверх отправь.
День прошел.
На заре,
Облачась в дымовую завесу,
Крикнул в рупор матросам матрос:
– выбирай якоря! —
Голос в облаке смолк.
Броненосец пошел на Одессу,
По суровому кряжу
Оранжевым крапом
Горя.

Студенты

Бауман!
Траурным маршем
Ряды колыхавшее имя!
Шагом,
Кланяясь флагам,

Над полной голов мостовой
Волочились балконы,
По мере того
Как под ними
Шло без шапок:
"Вы жертвою пали
В борьбе роковой".
С высоты одного,
Обеспамятев,
Бросился сольный
Женский альт.
Подхватили.
Когда же и он отрыдал,
Смолкло все.
Стало слышно,
Как колет мороз колокольни.
Вихри сахарной пыли,
Свистя,
Пронеслись по рядам.

Хоры стихли вдали.
Залохматилась тьма.
Подворотни
Скрыли хлопья.
Одернув
Передники на животе,
К моховой от охотного
Двинулась черная сотня,
Соревнуя студенчеству
В первенстве и правоте.

Где-то долг отдавался последний,
И он уже воздан.
Молкнет карканье в парке,
И прах на Ваганькове —
Нем.
На погостной траве
Начинают хозяйничать
Звезды.
Небо дремлет,
Зарывшись
В серебряный лес хризантем.

Тьма.
Плутанье без плана,
И вдруг,
Как в пролете чулана,
Угол улицы – в желтом ожоге.
На площади свет!
Вьюга лошадью пляшет буланой,
И в шапке улана
Пляшут книжные лавки,

Манеж
И университет.

Ходит, бьется безлюдье,
Бросая бессонный околыш
К кровле книжной торговли.
Но только
В тулью из огня
Входят люди, она
Оглашается залпами —
«Сволочь!»
Замешательство.
Крики:
"Засада!
Назад!"
Беготня.

Ворота на запоре.
Ломай!
Подаются.
Пролеты,
Входы, вешалки, своды.
«Позвольте. Сойдите с пути!»

Ниши, лестницы, хоры,
Шинели, пробирки, кислоты.
"Тише, тише,
Кладите.
Без пульса. Готов отойти".
Двери врозь.
Вздох в упор
Купороса и масляной краски.
Кольты прочь,
Польта на пол,
К шкапам, засуча рукава.
Эхом в ночь:
"Третий курс!
В реактивную, на перевязку!"
«Снегом, снегом, коллега».
– Ну, как?
«Да куда. Чуть жива».
А на площади группа.
Завеянный тьмой Ломоносов.
Лужи теплого вара.
Курящийся кровью мороз.
Трупы в позах полета.
Шуршащие складки заноса.
Снято снегом,
Проявлено
Вечностью, разом, вразброс.
Где-то сходка идет,
И в молчанье палатных беспамятств

Проникают
Сквозь стекла дверей
Отголоски ее.
«Протестую. Долой».
Двери вздрагивают, упрямясь,
Млечность матовых стекол
И марля на лбах.
Забытье.

Москва в декабре

Снится городу:
Все,
Чем кишит,
Исключая шпионства,
Озаренная даль,
Как на сыплющееся пшено,
Из окрестностей Пресни
Летит
На трехгорное солнце,
И купается в просе,
И просится
На полотно.

Солнце смотрит в бинокль
И прислушивается
К орудьям,
Круглый день на закате
И круглые дни на виду.
Прудовая заря
Достигает
До пояса людям,
И не выше грудей
Баррикадные рампы во льду.

Беззаботные толпы
Снуют,
Как бульварные крали.
Сутки,
Круглые сутки
Работают
Поршни гульбы.
Ходят гибели ради
Глядеть пролетарского граля,
Шутят жизнью,
Смеются,
Шатают и валят столбы.

Вот отдельные сцены.
Аквариум.

Митинг.
О чем бы
Ни кричали внутри,
За сигарой сигару куря,
В вестибюле дуреет
Дружинник
С фитильною бомбой.
Трут во рту.
Он сосет эту дрянь,
Как запал фонаря.

И в чаду, за стеклом
Видит он:
Тротуар обезродел.
И еще видит он:
Расскакавшись
На снежном кругу,
Как с летящих ветвей,
Со стремян
И прямящихся седел,
Спешась, градом,
Как яблоки,
Прыгают
Куртки драгун.

На десятой сигаре,
Тряхнув театральною дверью,
Побледневший курильщик
Выходит
На воздух,
Во тьму.
Хорошо б отдышаться!
Бабах…
И – как лошади прерий —
Табуном,
Врассыпную —
И сразу легчает ему.
Шашки.
Бабьи платки.
Бакенбарды и морды вогулок.
Густо бредят костры.
Ну и кашу мороз заварил!
Гулко ухает в фидлерцев
Пушкой
Машков переулок.
Полтораста борцов
Против тьмы без числа и мерил.
После этого
Город
Пустеет дней на десять кряду.
Исчезает полиция.
Снег неисслежен и цел.

Кривизну мостовой
Выпрямляет
Прицел с баррикады.
Вымирает ходок
И редчает, как зубр, офицер.
Всюду груды вагонов,
Завещанных конною тягой.
Электрический ток
Только с год
Протянул провода.
Но и этот, поныне
Судящийся с далью сутяга,
Для борьбы
Всю как есть
Отдает свою сеть без суда.
Десять дней, как палят
По Миусским конюшням
Бутырки.
Здесь сжились с трескотней,
И в четверг,
Как смолкает пальба,
Взоры всех
Устремляются
Кверху,
Как к куполу цирка:

Небо в слухах,
В трапециях сети,
В трамвайных столбах.

Их – что туч.
Все черно.
Говорят о конце обороны.
Обыватель устал.
Неминуемо будет праветь.
«Мин и Риман», —
Гремят
На заре
Переметы перрона,
И семеновский полк
Переводят на брестскую ветвь.

Значит, крышка?
Шабаш?
Это после боев, караулов
Ночью, стужей трескучей,
С винчестерами, вшестером?..
Перед ними бежал
И подошвы лизал
Переулок.
Рядом сад холодел,
Шелестя ледяным серебром.

Но пора и сбираться.
Смеркается.
Крепнет осада.
В обручах канонады
Сараи, как кольца, горят.
Как воронье гнездо,
Под деревья горящего сада
Сносит крышу со склада,
Кружась,
Бесноватый снаряд.

Понесло дураков!
Это надо ведь выдумать:
В баню!
Переждать бы смекнули.
Добро, коли баня цела.
Сунься за дверь – содом.
Небо гонится с визгом кабаньим
За сдуревшей землей.
Топот, ад, голошенье котла.

В свете зарева
Наспех
У Прохорова на кухне
Двое бороды бреют.
Но делу бритьем не помочь.
Точно мыло под кистью,
Пожар
Наплывает и пухнет.

Как от искры,
Пылает
От имени минова ночь.
Все забилось в подвалы.
Крепиться нет сил.
По заводам
Темный ропот растет.
Белый флаг набивают на жердь.
Кто ж пойдет к кровопийце?
Известно кому, – коноводам!
Топот, взвизги кабаньи, —
На улице верная смерть.
Ад дымит позади.
Пуль не слышно.
Лишь вьюги порханье
Бороздит тишину.
Даже жутко без зарев и пуль.
Но дымится шоссе,
И из вихря —
Казаки верхами.
Стой!

Расспросы и обыск,
И вдаль улетает патруль.
Было утро.
Простор
Открывался бежавшим героям.
Пресня стлалась пластом,
И, как смятый грозой березняк,
Роем бабьих платков
Мыла
Выступы конного строя
И сдавала
Смирителям
Браунинги на простынях.

Лейтенант Шмидт
(март1926 – март1927)

Часть первая

1

Поля и даль распластывались эллипсом.
Шелка зонтов дышали жаждой грома.
Палящий день бездонным небом целился
В трибуны скакового ипподрома.

Народ потел, как хлебный квас на леднике,
Привороженный таяньем дистанций.
Крутясь в смерче копыт и наголенников,
Как масло били лошади пространство.

А позади размерно бьющим веяньем
Какого-то подземного начала
Военный год взвивался за жокеями
И лошадьми и спицами качалок.

О чем бы ни шептались, что бы не пили,
Он рос кругом и полз по переходам,
И вмешивался в разговор, и пепельной
Щепоткою примешивался к водам.

Все кончилось. Настала ночь. По Киеву
Пронесся мрак, швыряя ставень в ставень.
И хлынул дождь. И как во дни Батыевы,
Ушедший день стал странно стародавен.

2

"Я вам писать осмеливаюсь. Надо ли
Напоминать? Я тот моряк на дерби.
Вы мне тогда одну загадку задали.
А впрочем, после, после. Время терпит.

Когда я увидал вас… Но до этого
Я как-то жил и вдруг забыл об этом,
И разом начал взглядом вас преследовать,
И потерял в толпе за турникетом.

Когда прошел столбняк моей бестактности,
Я спохватился, что не знаю, кто вы.
Дальнейшее известно. Трудно стакнуться,
Чтоб встретиться столь баснословно снова.

Вы вдумались ли только в то, какое здесь
Раздолье вере! – Оскорбиться взглядом,
Пропасть в толпе, случиться ночью в поезде,
Одернуть зонт и очутиться рядом!"

3

Над морем бурный рубчик
Рубиновой зари.
А утро так пустынно,
Что в тишине, граничащей
С утратой смысла, слышно,
Как, что-то силясь вытащить,
Гремит багром пучина
И шарит солнце по дну,
И щупает багром.
И вот в клоаке водной
Отыскан диск всевидящий.
А Севастополь спит еще,
И утро так пустынно,
Кругом такая тишь,
Что на вопрос пучины, —
Откуда этот гром,
В ответ пустые пристани:
От плеска волн по диску,
От пихт, от их неистовства,
От стука сонных лиственниц
О черепицу крыш.
Известно ли, как влюбчиво
Бездомное пространство?
Какое море ревности
К тому, кто одинок!
Как, по извечной странности
Родимый дух почувствовав,

Летит в окошко пустошь,
Как гость на огонек.
Известно ль, как навязчива
Доверчивость деревьев.
Как, в жажде настоящего,
Ночная тишина,
Порвавшш с ветром с вечера,
Порывом одиночества
Влетает, как налетчица,
К незнающему сна?
За неименьем лучшего
Он ей в герои прочится.
Известно ли, как влюбчива
Тоска земного дна?

Заре, корягам якорным,
Волнам и расстояньям
Кого-то надо выделить,
Спасти и отстоять.
По счастью, утром ранним
В одноэтажном флигеле
Не спит за перепиской
Таинственный моряк.

Всю ночь он пишет глупости,
Вздремнет – и скок с дивана.
Бежит в воде похлюпаться
И снова на диван.
Потоки света рушатся,
Урчат ночные ванны,
Найдет волна кликушества —
Он сызнова под кран.

"Давайте, посчитаемся.
Едва сюда я прибыл,
Я все со дня приезда
Вношу для вас в реестр,
И вам всю душу выболтал
Без страха, как на таинстве,
Но в этом мало лестного,
И тут великий риск.

Опасность увеличится
С теченьем дней дождливых.
Моя словоохотливость
Заметно возрастает.
Боюсь, не отпугнет ли вас
Тогда моя болтливость?
Вы отмолчитесь, скрытчица,
Я ж выболтаюсь вдрызг.

……

Вы скажете – ребячество.
Но близятся событья.
А ну как в их разгаре
Я скроюсь с ваших глаз?
Едва ль они насытятся
Одной живою тварью:
Ваш образ тоже спрячется,
Мне будет не до вас.
Я оглушусь их грохотом
И вряд ли уцелею.
Я прокачусь их эхом,
А эхо длится миг.
И вот я с просьбой крохотной:
Ввиду моей затеи
Нам с вами надо б съехаться
До них и ради них".

4

Октябрь. Кольцо забастовок.
О ветер! О ада исчадье!
И моря, и грузов, и клади
Летящие пряди.
О буря брошюр и листовок!
О слякоть! О темень! О зовы
Сирен, и замки и засовы
В начале шестого.
От тюрем – к брошюрам и бурям.
О ночи! О вольные речи!
И залпам навстречу – увечья
Отвесные свечи!
О кладбище в день погребенья!
И в лад лейтенантовой клятве
Заплаканных взглядов и платьев
Кивки и объятья!
О лестницы в крепе! О пенье!
И хором в ответ незнакомцу
Стотысячной бронзой о бронзу:
Клянитесь! Клянемся!
О вихрь, обрывающий фразы,
Как клены и вязы! О ветер,
Щадящий из связей на свете
Одни междометья!
Ты носишь бушующей гладью:
"Потомства и памяти ради
Ни пяди обратно! Клянитесь!"
«Клянемся. Ни пяди!»

5

Постойте! Куда вы? Читать? Не дотолчетесь!
Все сперлось в беспорядке за фортами, и земля,
Ничего не боясь, ни о чем не заботясь,
Парит растрепой по ветру, как бог пошлет, крыля.
Еще вчерашней ночью гуляющих заботил
Ежевечерний очерк севастопольских валов,
И воронье редутов из вереницы метел
В полете превращалось в стаю песьих голов.
Теперь на подъездах расклеен оттиск
Сырого манифеста. Ничего не боясь,
Ни о чем не заботясь, обкладывает подпись
Подклейстеренным пластырем следы недавних язв.
Даровать населению незыблемые основы
Гражданской свободы. Установить, чтоб никакой…
И, зыбким киселем заслякотив засовы,
На подлинном собственной его величества рукой.

Хотя еще октябрь, за дряблой дрожью ветел
Уже набрякли сумерки хандрою ноября.
Виной ли манифест, иль дождик разохотил, —
Саперы месят слякоть, и гуляют егеря.
Дан в Петергофе. Дата. Куда? Свои! Не бойтесь!
В порту торговом давка. Солдаты, босяки.
Ничего не боясь, ни о чем не заботясь,
Висят замки в отеках картофельной муки.

6

Три градуса выше нуля.
Продрогшая земля.
Промозглое облако во сто голов
Сечет крупой подошвы стволов,
И лоском олова берясь
На градоносном бризе,
Трепещет листьев неприязнь
К прикосновенью слизи.

И голая ненависть листьев и лоз
Краснеет до корней волос.
Не надо. Наземь. Руки врозь!
Готово. Началось.

Айва, антоновка, кизил,
И море черное вблизи:
Ращенье гор, и переворот,
И в уши и за уши, изо рта в рот.

Ушаты холода. Куски
Гребнистой, ослепленно скотской
В волненьи глотающей волны, как клецки,
Сквозной, ристалищной тоски.

Агония осени. Антогонизм
Пехоты и морских дивизий
И агитаторша-девица
С жаргоном из аптек и больниц.

И каторжность миссии: переорать
(борьба, борьбы, борьбе, борьбою,
Пролетарьят, пролетарьят)
Иронию и соль прибоя,
Родящую мятеж в ушах
В семидесяти падежах.
И радость жертвовать собою,
И – случая слепой каприз.

Одышливость тысяч в бушлатах по-флотски,
Толпою в волненьи глотающих клецки
Немыслимых слов с окончаньем на изм,
Нерусских на слух и неслыханных в жизни

(а разве слова на казенном карнизе
Казармы, а разве морские бои,
А признанные отчизной слои —
Свои!!!)
И упоенье героини,
Летящей из времен над синей
Толпою, – головою вниз,
По переменной атмосфере
Доверия и недоверья
В иронию соленых брызг.
О государства истукан,
Свободы вечное преддверье!
Из клеток крадутся века,
По Колизею бродят звери,
И проповедника рука
Бесстрашно крестит клеть сырую,
Пантеру верой дрессируя,
И вечно делается шаг
От римских цирков к римской церкви,
И мы живем по той же мерке,
Мы, люди катакомб и шахт.

7

Вдруг кто-то закричал: пехота!
Настал волненья апогей.

Амуниционный шорох роты
Командой грохнулся: к ноге!
В ушах шатался шаг шоссейный
И вздрагивал, и замирал.
По строю с капитаном штейном
Прохаживался адмирал.
"Я б ждать не стал, чтоб чирей вызрел.
Я б гнал и шпарил по пятам.
Предлогов тьма. Случайный выстрел,
И – дело в шляпе, капитан".
"Parlez plus Bas, – заметил сухо[8]

Другой. – Притом я не оглох,
Подумайте, какого слуха
Коснуться может диалог".
Шагах в восьми от адмирала,
Щетинясь гранями штыков,
Молодцевато замирала
Шеренга рослых моряков.
И вот, едва ушей отряда
Достиг шутливый разговор,
Как грянуло два длинных кряду
Нежданных выстрела в упор.

Все заслонилось передрягой.
Изгладилось, как, поболев,
«Ты прав!» – Вскричал матрос с «Варяга»,
Георгиевский кавалер.
Как, дважды приложась с колена, —
Шварк об землю ружье, и вмиг
Привстал, и, точно куртка тлела,
Стал рвать душивший воротник.
И слышал: одного смертельно,
И знал – другого наповал,
И рвал гайтан, и тискал тельник,
И ребер сдерживал обвал.

А уж перекликались с плацем
Дивизии. Уже копной
Ползли и начинали стлаться
Сигналы мачты позывной.
И вдруг зашевелилось море.
Взвились эскадры языки
И дернулись в переговоре
Береговые маяки.

"Ведь ты – не разобрав, без злобы?
Ты стой на том и будешь цел".
– "Нет, вашество, белить не пробуй,

---

[8] говорите потише (франц.)

Я вздраве наводил прицел".
«Тогда», – и вдруг застряло слово —
Кругом, что мог окинуть глаз:
«Ты сам пропал и арестован»,
Восстанья присказка вилась.

8

"Вообрази, чем отвратительней
Действительность, тем письма глаже.
Я это проверил на «трех святителях»,
Где третий день содержусь под стражей.

Покамест мне бояться нечего,
Да и – не робкого десятка.
Прими нелепость происшедшего
Без горького осадка.

И так как держать меня ровно не за что,
То и покончим с этим делом.
Вот как спастись от мыслей, лезущих
Без отступа по суткам целым?

Припомнишь мать, и опять безоглядочно
Жизнь пролетает в караване
Изголодавшихся и радужных
Надежд и разочарований.

Оглянешься – картина целостней.
Чем больше было с нею розни,
Чем чаще думалось: что делать с ней? —
Тем и ее ответ серьезней.
И снова я в морском училище.
О, прочь отсюда, на минуту
Вздохнувши мерзости бессилящей!
Дивлюсь, как цел ушел оттуда.
Ведь это там, на дне военщины,
Навек ребенку в сердце вкован
Облитый мукой облик женщины
В руках поклонников Баркова.
И вновь я болен ей, и ратую
Один, как перст, средь мракобесья,
Как мальчиком в восьмидесятые.
Ты помнишь эту глушь репрессий?
А помнишь, я приехал мичманом
К вам на лето, на перегибе
От перечитанного к личному, —
Еще мне предрекали гибель?
Тебе пришлось отца задабривать.
Ему, контр-адмиралу, чуден

Остался мой уход… На фабрику
Сельскохозяйственных орудий.
Взгляни ж теперь, порою выводов
При свете сбывшихся иллюзий
На невидаль того периода,
На брата в выпачканной блузе".

9

Окрестности и крепость,
Затянутые репсом,
Терялись в ливне обложном,
Как под дорожным кожаном.
Отеки водянки
Грязнили горизонт,
Суда на стоянке
И гарнизон.
С, утра тянулись семьями
Мещане по шоссе
Различных орьентаций,
Со странностями всеми,
В ландо, на тарантасе,
В повальном бегстве все.

У города со вторника
Утроилось лицо:
Он стал гнездом затворников,
Вояк и беглецов.
Пред этим, в понедельник,
В обеденный гудок
Обезголосил эллинг
И обезлюдел док.

Развертывались порознь,
Сошлись невпроворот
За слесарно-сборочной,
У выходных ворот.
Солдатки и служанки

Исчезли с мостовых
В вихрях «Варшавянки»
И мастеровых.
Влились в тупик казармы
И – вон из тупика,
Клубясь от солидарности
Брестского полка.

Тогда, и тем решительней,
Чем шире рос поток,
Встревоженные жители

Пустились наутек.
Но железнодорожники
Часам уже к пяти
Заставили порожними
Составами пути.
Дорогой, огибавшей
Военный порт, с утра
Катались экипажи,
Мелькали кучера.
Безмолвствуя, потерянно
Струями вис рассвет,
Толстый, как материя,
Как бисерный кисет.

Деревья всех рисунков
Сгибались в три дуги
Под ранцами и сумками
Сумрака и мги.
Вуали паутиной
Топырились по ртам.
Столбы, скача под шины,
Несли ко всем чертям.
Майорши, офицерши
Запахивали плащ.
Вдогонку им, как шершень,
Свистел шоссейный хрящ.
Вставали кипарисы;
Кивали, подходя;
Росли, чтоб испариться
В кисее дождя.

Часть вторая

1

Вырываясь с моря, из-за почты,
Ветер прет на ощупь, как слепой,
К повороту, несмотря на то что
Тотчас же сшибается с толпой.
Он приперт к стене ацетиленом,
Втоптан в грязь, и несмотря на то,
Трын-трава и – море по колено:
Дует дальше с той же прямотой.
Вон он бьется, обварившi харю,
За косою рамой фонаря
И уходит, вынырнув на паре
Торопливых крыл нетопыря.
У матросов, несмотря на пору
И порывы ветра с пустыря,

На дворе казармы – шум и споры
Этой темной ночью ноября.
Их галдит за тысячу, и каждым,
Точно в бурю вешний буерак,
Разворочен, взрыт и взбудоражен
И буграми поднят этот мрак.
Пахнет волей, мокрою картошкой,
Пахнет почвой, норками кротов,
Пахнет штормом, несмотря на то что
Это шторм в открытом море ртов.
Тары-бары, шутки балагура,
Слухи, толки, шарканье подошв
Так и ходят вкруг одной фигуры,
Как распространившийся падеж.
Ходит слух, что он у депутатов,
Ходит слух, что едет в комитет,
Ходит слух, – и вот как раз тогда-то
Нарастает что-то в темноте,
И, глуша раскатами догадки
И сметая со всего двора
Караулки, будки и рогатки,
Катится и катится ура.
С первого же сказанного слова
Радость покидает берега.
Он дает улечься ей, и снова
Удесятеряет ураган.
Долго с бурей борется оратор.
Обожанье рвется на простор.
Не словами – полной их утратой
Хочет жить и дышит их восторг.
Это обьясненье исполинов.
Он и двор обходятся без слов.
Если с ними флаг, то он – малинов.
Если мрак за них, то он – лилов.

Все же раз доносится: эскадра.
Это с тем, чтоб браться, да с умом.
И потом другое слово: завтра.
Это, верно, о себе самом.

2

Дорожных сборов кавардак.
«Твоя» твердящая упрямо,
С каракулями на бортах,
Сырая сетка телеграммы.

"Мне тридцать восемь лет. Я сед.
Не обернешься, глядь – кондрашка".
И с этим об пол хлоп портплед,

Продернув ремешки сквозь пряжки.

И на карачках под диван,
Потом от чемодана к шкапу… —
Любовь, горячка, караван
Вещей, переселенных на пол.

Как вдруг звонок, и кабинет
В перекосившемся: о боже!
И рядом: «Папы дома нет».
И грохотанье ног в прихожей.

Но двери настежь, и в дверях:
«Я здесь. Я враг кровопролитья».
– "Тогда какой же вы моряк,
Какой же вы тогда политик?

Вы революцьонер? В борьбу
Не вяжутся в перчатках дамских".
– "Я собираюсь в Петербург.
Не убеждайте. Я не сдамся".

3

Подросток реалист,
Разняв драпри, исчез
С запиской в глубине
Отцова кабинета.
Пройдя в столовую
И уши навострив,
Матрос подумал:
«Хорошо у Шмидта».

Было это в ноябре,
Часу в четвертом.
Смеркалось.
Скромность комнат
Спорила с комфортом.

Минуты три извне
Не слышалось ни звука
В уютной, как каюта,
Конуре.
Лишь по кутерьме
Пылинок в пятерне портьеры,
Несмело шмыгавших
По книгам, по кошме
И окнам запотелым,
Видно было:
Дело —

К зиме.
Минуты три извне
Не слышалось ни звука
В глухой тиши, как вдруг
За плотными драпри
Проклятья раздались
Так явственно,
Как будто тут внутри:
– Чухнин! Чухнин!!!
Погромщик бесноватый!
Виновник всей брехни!
Разоружать суда?
Нет, клеветник,
Палач,
Инсинуатор,
Я научу тебя, отродье ката, отличать
От правых виноватых!
Я черноморский флот, холоп и раб,
Забью тебе, как кляп, как клепку, в глотку. —
И мигом ока двери комнаты вразлет.
Буфет, стаканы, скатерть…
– Катер?
– Лодка!
В ответ на брошенный вопрос – матрос,
И оба – вон, очаковец за Шмидтом,
Невпопад, не в ногу, из дневного понемногу
в ночь,
Наугад куда-то, вперехват закату,
По размытым рытвинам садовых гряд.
В наспех стянутых доспехах
Жарких полотняных лат,
В плотном, потном, зимнем платье
С головы до пят,
В облака, закат и эхо
По размытым, сбитым плитам
Променад.

Потом бегом. Сквозь поросли укропа,
Опрометью с оползня в песок,
И со всех ног, тропой наискосок
Кругом обрыва. Топот, топот, топот,
Топот, топот, – поворот – другой —
И вдруг как вкопанные, стоп:
И вот он, вот он весь у ног,
Захлебывающийся Севастополь,
Весь вобранный, как воздух, грудью двух
Бездонных бухт,
И полукруг
Затопленного солнца за «Синопом».
С минуту оба переводят дух
И кубарем с последней кручи – бух
В сырую груду рухнувшего бута.

4

В зимней призрачной красе
Дремлет рейд в рассветной мгле,
Сонно кутаясь в туман

Путаницей мачт
И купаясь, как в росе,
Оторопью рей
В серебре и перламутре
Полумертвых фонарей.
Еле-еле лебезит
Утренняя зыбь.
Каждый еле слышный шелест,
Чем он мельче и дряблей,
Отдается дрожью в теле
Кораблей.

Он спит, притворно занедужась,
Могильным сном, вогнав почти
Трехверстную округу в ужас.
Он спит, наружно вызвав штиль.
Он скрылся, как от колотушек,
В молочно-белой мгле. Он спит
За пеленою малодушья.
Но чем он с панталыку сбит?

С утра на суше – муравейник.
В тумане тащатся войска.
Всего заметней их роенье
Толпе у Павлова мыска.
Пехотный полк из Павлограда
С тринадцатою полевой
Артиллерийскою бригадой
И – проба потной мостовой.

Колеса, кони, пулеметы,
Зарядных ящиков разбег,
И – грохот, грохот до ломоты
Во весь Нахимовский проспект.

На историческом бульваре,
Куда на этих днях свезен
Военный лом былых аварий, —
Донцы и крымский дивизион.
И любопытство, любопытство:
Трехверстный берег под тупой,
Пришедшей пить или топиться,
Тридцатитысячной толпой.

Она покрыла крыши барок
Кишащей кашей черепах,
И ковш приморского бульвара,
И спуска каменный черпак.
Он ею доверху унизан,
Как копотью несметных птиц,
Копящих силы по карнизам,
Чтоб вихрем гари в ночь нестись.
Когда сбежали испаренья
И солнце, колыхнувши флот,
Всплыло на водяной арене,
Как обалдевший кашалот,
В очистившейся панораме
Обрисовался в двух шагах
От шара – крейсер под парами,
Как кочегар у очага.

5

Вдруг, как снег на голову, гул
Толпы, как залп, стегнул
Трехверстовой гранит
И откатился с плит.
Ура – ударом в борт, в штурвал,
В бушприт!
Ура навеки, наповал,
Навзрыд!
Над крейсером взвился сигнал:
Командую флотом. Шмидт.
Он вырвался как вздох
Со дна души рядна,
И не его вина,
Что не предостерег
Своих, и их застиг врасплох,
И рвется, в поисках эпох,
В иные времена.
Он вскинут, как магнит
На нитке, и на миг
Щетинит целый лес вестей
В осиннике снастей.
Над крейсером взвился сигнал:
Командую флотом. Шмидт.

И мачты рейда, как одна:
Он ими вынесен и смыт
И перехвачен второпях
На двух – на трех – на четырех
Военных кораблях.

Но иссякает ток подков,

И облетает лес флажков,
И по веревке, как зверек,
Спускается кумач.
А зверь, ползущий на флагшток,
Ужасен, как немой толмач,
И флаг Андреевский – томящ,
Как рок.

6

Когда с остальными увидел и Шмидт,
Что только медлительность мига хранит
Бушприт и канаты
От града и надо
Немедля насытить его аппетит,
Чтоб только на миг оттянуть канонаду,
В нем точно проснулся дремавший Орфей.
И что ж он задумал, другого первей?
Обьехать эскадру,
Усовестить ядра,
Растрогать стальные созданья верфей.

И на миноносце ушел он туда,
Где, небо и гавань ловя в невода,
В снастях, бездыханной
Семьей богдыханов,
Династией далей дымились суда.
Их строй был поистине неисчислим.
Грядой пристаней не граничился клин,
Но, весь громоздясь пелионом на оссу,
Под лад броненосцам
Качался и несся
Обрывистый город в шпалерах маслин.

7

Он тихо шел от пушки к пушке,
А даль неслась.
Он шел под взглядами опухших,
Голодных глаз.

И вот, стругая воду, будто
Стальной терпуг,
Он видел не толпу над бухтой,
А Петербург.

Но что могло напомнить юность?
Неужто сброд,

Грязнивший слух, как сток гальюнный
Для нечистот?
С чужих бортов друзья по школе,
Тех лет друзья,
Ругались и встречали в колья,
Петлей грозя.
Назад! Зачем соваться под нос,
Под дождь помой?
Утратят ли боеспособность
«Синоп» с «Чесмой»?

8

Снова на миг повернувшись круто,
Город от криков задрожал:
На миноносец брали с «Прута»
Освобожденных каторжан.
Снова, приветствуем экипажем,
На броненосцы всходил и глох
И офицеров брал под стражу
И уводил с собой в залог.
В смене отчаянья и отваги
Вновь, озираясь, мертвел, как холст:
Всюду суда тасовали флаги.
Стяг государства за красным полз.
По возвращеньи же на «Очаков»,
Искрой надежды еще согрет,
За волоса схватясь, заплакал,
Как на ладони увидев рейд.
«Эх, – простонал, – без ножа доконали!»
Натиском зарев рдела вода.
Дружно смеркалось. Рейд удлиняли
Тучи, косматясь, как в холода.
С суши, в порыве низкопоклонства,
Шибче, чем надо, как никогда,
Падали крыши складов и консульств,
Камни и тени, скалы и солнце
В воду и вечность, как невода.
Все закружилось так, что в финале
Обморок сшиб его без труда.

9

Был выспренен, как сердце,
И тих закат, как вдруг
Метнула пушка с «терца»
Икру.

Мгновенный взрыв котельной,
Далекий крик с байдар,
И – под воду. Смертельный
Удар!

От катера к шаландам
Пловцы, тела, балласт.
И радость: часть команды
Спаслась.

И началось. Пространства,
Клубясь, метнулись в бой,
Чтоб пасть и опрастаться
Пальбой.

10

Внутри настала ночь. Снаружи
Зарделся движущийся хвост
Над войском всех родов оружья
И свойств.

Он лез, грабастая овраги,
И треском разгонял толпу,
И пламенел, и гладил флаги
По лбу.

Как сумерки, сгустились снасти.
В ревущей, хлещущей дряпне
Пошла валить, как снег в ненастье,
Шрапнель.

Она рвалась, в лету, на жнивьях,
В расцвете лет людских, в воде,
Рождая смерть, и визг, и вывих
Везде.

Часть третья

1

"Все отшумело. Вставши поодаль,
Чувствую всею силой чутья:
Жребий завиден. Я жил и отдал
Душу свою за други своя.

Высшего нет. Я сердцем – у цели

И по пути в пустяках не увяз.
Крут был подъем, и сегодня, в сочельник,
Ошеломляюсь, остановясь.

Но объясни. Полюбив даже вора,
Как не рвануться к нему в каземат
В дни, когда всюду только и спору,
Нынче его или завтра казнят?
Ты ж предпочла омрачить мне остаток
Дней. Прости мне эти слова.
Спор подогнал бы мне таянье святок.
Лучше задержим бег рождества.
Где он, тот день, когда, вскрыв телеграмму,
Все позабыв за твоим «навсегда»,
Жил я мечтой, как помчусь и нагряну?
Как же, ты скажешь, попал я сюда?
В вечер ее полученья был митинг.
Я предрекал неуспех мятежа,
Но уж ничто не могло вразумить их.
Ехать в ту ночь означало бежать.
О, как рвался я к тебе! Было пыткой
Браться и знать, что народ не готов,
Жертвовать встречей и видеть в избытке
Доводы в пользу других городов.
Вера в разъезд по фабричным районам,
В новую стачку и новый подъем,
Может, сплеталась во мне с затаенным
Чувством, что ездить будем вдвоем.
Но повалила волна депутаций,
Дума, эсдеки, звонок за звонком.
Выехать было нельзя и пытаться.
Вот и кончаю бунтовщиком.
Кажется все. Я гораздо спокойней,
Чем ожидают. Что бишь еще?
Да, а насчет севастопольской бойни,
В старых газетах – полный отчет".

2

Послепогромной областью почтовый поезд в Ромны
Сквозь вопли вьюги доблестно прокладывает путь.
Снаружи вихря гарканье, огарков проблеск
темный,
Мигают гайки жаркие, на рельсах пляшет ртуть.
Огни и искры чиркают, и дым над изголовьем
Бежит за пассажиркою по лестницам витым.

В одиннадцать, не вынеся немолчного злословья,
Она встает, и – к выходу на вызов клеветы.

И молит, в дверь просунувшись: "Прошу вас,
не шумите…
Нельзя же до полуночи!" И разом в лязг и дым
Уносит оба голоса и выдумку о Шмидте,
И вьет и тащит по лесу, по лестницам витым.
Наверно повод есть у ней, отворотясь
к простенку,
Рыдать, сложа ответственность в сырой комок
платка.
Вы догадались, кто она. – Его корреспондентка.
В купе кругом рассованы конверты моряка.

А в ту же ночь в очакове в пурге и мыльной пене
Полощет створки раковин песчаная коса.
Постройки есть на острове, острог и укрепленье.
Он весь из камня острого, и – чайки на часах.
И неизвестно едущей, что эта крепость-тезка
(Очаков – крестный дедушка повстанца корабля)
Таит по злой иронии звезду надежд матросских,
От взора постороннего прибоем отделя.

Но что пред забастовкою почтово-телеграфной
Все тренья и неловкости во встрече двух сердец!
Теперь хоть бейся об стену в борьбе с судьбой
неравной,
Дознаться, где он, собственно, нет ни малейших
средств.
До ромен не доехать ей. Не скрыться от мороки.
Беглянка видит нехотя: забвенья нет в езде,
И пешую иль бешено катящую, с дороги
Ее вернут депешею к ее дурной звезде.

Тогда начнутся поиски, и происки, и слезы,
И двери тюрем вскроются, и, вдоволь очернив,
Сойдутся посноровистей объятья пьяной прозы,
И смерть скользнет по повести, как оттиск
пятерни.
И будет день посредственный, и разговор
в передней,
И обморок, и шествие по лестнице витой,
И тонущий в периодах, как камень, миг последний,
И жажда что-то выудить из прорвы прожитой.

3

Как памятен ей этот переход!
Приезд в Одессу ночью новогодней.
С какою неохотой пароход
Стал поднимать в ту непогоду сходни!
И утренней картины не забыть.

В ушах шумело море горькой хиной.
Снег перестал, но продолжали плыть
Обрывки туч, как кисти балдахина.

И из кучки пирамид
Привстал маяк поганкою мухортой.
«Мадам, вот остров, где томится Шмидт», —
И публика шагнула вправо к борту.
Когда пороховые погреба
Зашли за строй бараков карантинных,
Какой-то образ трупного гриба
Остался гнить от виденной картины.
Понурый, хмурый, черный островок
Несло водой, как шляпку мухомора.
Кружась в водовороте, как плевок,
Он затонул от полного измора.
Тем часом пирамиды из химер
Слагались в город, становились тверже
И вдруг, застлав слезами глазомер,
Образовали крепостные горжи.

4

Однако, как свежо Очаков дан у данта!
Амбары, каланча, тачанки, облака…
Все это так, но он дорогой к коменданту,
В отличье от нее, имел проводника.
Как ткнуться? Что сказать? Перебрала оттенки.
"Я – конфидентка Шмидта? Я – его дневник?
Я – крик его души из номеров ткаченки,
Вот для него цветы и связка старых книг?
Удобно ли тогда с корзиной гиацинтов,
Не значась в их глазах ни в браке, ни в
родстве?"
Так думала она, и ветер рвал косынку
С земли, и даль неслась за крепостной бруствер.
Но это все затмил прием у генерала.
Индюшачий кадык спирал сухой коклюш.
Желтел натертый пол, по окнам темь ныряла,
И снег махоркой жег больные глотки луж.

5

Уездная глушь захолустья.
Распев петухов по утрам,
И холостящий устье
Весенний флюс Днепра.
Таким дрянным городишкой

Очаков во плоти
Встает, как смерть, притихши
У шмидтовцев на пути.

Похоже, с лент матросских
Сошедши без следа,
Он стал землей в отместку
И местом для суда.
Две крепости, два погоста
Да горсточка халуп,
Свиней и галок вдосталь
И офицерский клуб.

Без преувеличенья
Ты слышишь в эту тишь,
Как хлопаются тени
С пригретых солнцем крыш.
И звякнет ли шпорами ротмистр,
Прослякотит ли солдат,
В следах их – соли подмесь.
Вся отмель – точно в сельдях.

О, суши воздух ковкий,
Земли горячий фарш!
"Караул, в винтовки!
Партия, шагом марш!"
И, вбок косясь на приезжих,
Особым скоком сорок
Сторонится побережье
На их пути в острог.

О, воздух после трюма,
И высадки триумф!
Но в этот час угрюмый
Ничто нейдет на ум.
И горько, как на расстанках,
Качают головой
Заборы арестанты,
И кони, и конвой.

Прошли, – и в двери с бранью
Костяшками бьет тишина…

Военного собранья
Фисташковая стена.
Из зал выносят мебель.
В них скоро ворвется гул.
Два писаря. Фельдфебель.
Казачий подъесаул.

Над Очаковым пронес
Ветер тучу слез и хмари
И свалился на базаре
Наковальнею в навоз.

И, на всех остервенясь,
Дождик, первенец творенья,
Горсть за горстью, к горсти горсть,
Хлынул шумным увереньем
В снег и грязь, в снег и грязь,
На зиму остервенясь.
А немного погодя,
С треском расшатавши крючья,
Шлепнулся и всею тучей
Водяной бурдюк дождя.
Этот странный талисман,
С неба сорванный истомой,
Весь – туманного письма,
Рухнул вниз не по-пустому.
Каждым всхлипом он прилип
К разрывным побегам лип
Накладным листом пистона.
Хлопнуть вплоть, пропороть,
Выстрел, цвет, тепло и плоть.
Но зима не верит в близость,
В даль и смерть верит снег.
И седое небо, низясь,
Сыплет пригоршнями известь.
Это зимний катехизис
Шепчут хлопья в полусне.
И, шипя, кружит крупа
По небу и мертвой глине,
Но мгновенный вздох теплыни
Одевает черепа.
Пусть тоща, как щепа,
Вязь цветочного шипа,
Новолунью улыбаясь,
Как на шапке шалопая,
Сохнет краска голубая
На сырых концах серпа.
И, долбя и колупая
Льдины старого пласта,
Спит и ломом бьет по сини,
Рты колоколов разиня,
Размечтавшийся в уныньи
Звон великого поста.
Наблюдая тяжбу льда,
В этом звяканьи спросонья
Подоконниками тонет
Зал военного суда.

Все живое баззаконье,
Вся душевная бурда,
Из зачатий и агоний
В снеге, слякоти и звоне
Перед ним, как на ладони,
Ныне так же, как тогда.

Чем же занято собранье?
Казнью звали в те года
Переправу к березани.
Современность просит дани:
Высшей мере наказанья
Служат эти господа.

7

Скамьи, шашки, выпушка охраны,
Обмороки, крики, схватки спазм.
Чтенье, чтенье, чтенье, несмотря на
Головокруженье, несмотря
На пары нашатыря и пряный,
Пьяный запах слез и валерьяны,
Чтение без пенья тропаря,
Рана, и жандармы-ветераны,
Шаровары и кушак царя,
И под люстрой зайчик восьмигранный.

Чтенье, несмотря на то, что рано
Или поздно, сами, будет день,
Сядут там же за грехи тирана
В грязных клочьях поседелых пасм.
Будет так же ветрен день весенний,
Будет страшно стать живой мишенью,
Будут высшие соображенья
И капели вешней дребедень.
Будут схватки астмы. Будет чтенье,
Чтенье, чтенье без конца и пауз.

Версты обвинительного акта,
Шапку в зубы, только не рыдать!
Недра шахт вдоль нерчинского тракта.
Каторга, какая благодать!
Только что и думать о соблазне.
Шапку в зубы – да минуй озноб!
Мысль о казни – топи непролазней:
С лавки съедешь, с головой увязнешь,
Двинешься, чтоб вырваться, и – хлоп.
Тормошат, повертывают навзничь,
Отливают, волокут, как сноп.

В перерывах – таска на гауптвахту
Плотной кучей, в полузабытьи.
Ружья, лужи, вязкий шаг без такта,
Пики, гики, крики: осади!

Утки – крякать, курицы – кудахтать,
Свист нагаек, взбрызги колеи.
Это небо, пахнущее как-то
Так, как будто день, как масло, спахтан!
Эти лица, и в толпе – свои!
Эти бабы, плачущие в плахтах!
Пики, гики, крики: осади!

8

Кому-то стало дурно.
Казалось, жуть минуты
Простерлась от кинбурна
До хуторов и фольварков
За мысом тарканхутом.
Послышалось сморканье
Жандармов и охранников,
И жилы вздулись жолвями
На лбах у караульных.
Забывши об уставе,
Конвойную отставили
Полуживые ружья
И терли кулаками
Трясущиеся скулы.
При виде этой вольности
Кто-то безотчетно
Полез уж за револьвером,
Но так и замер в позе
Предчувствия чего-то,
Похожего на бурю,
С рукой на кобуре.
Волнение предгрозья
Окуталось удушьем,
Давно уже идущим
Откуда-то от ольвии.
И вот он поднялся.
Слепой порыв безмолвия
Стянул гусиной кожей
Тазы и пояса,
И, протащившись с дрожью,
Как зябкая оса,
По записям и папкам,
За пазухи и шапки
Заполз под волоса.

И точно шла работа
По сборке эшафота,
Стал слышен частый стук
Полутораста штук
Расколебавших сумрак
Пустых сердечных сумок.

Все были предупреждены,
Но это превзошло расчеты.
«Тише!» – Крикнул кто-то,
Не вынесши тишины.

"Напрасно в годы хаоса
Искать конца благого.
Одним карать и каяться.
Другим – кончать голгофой.

Как вы, я – часть великого
Перемещенья сроков,
И я приму ваш приговор
Без гнева и упрека.

Наверно, вы не дрогнете,
Сметая человека.
Что ж, мученики догмата,
Вы тоже – жертвы века.

Я тридцать лет вынашивал
Любовь к родному краю,
И снисхожденья вашюго
Не жду и не теряю.

В те дни, – а вы их видели,
И помните, в какие, —
Я был из ряда выделен
Волной самой стихии.

Не встать со всею родиной
Мне было б тяжелее,
И о дороге пройденной
Теперь не сожалею.

Я знаю, что столб, у которого
Я стану, будет гранью
Двух разных эпох истории,
И радуюсь избранью".

9

Двум из осужденных, а всех их было четверо, —

Думалось еще – из четырех двоим.
Ветер гладил звезды горячо и жертвенно
Вечным чем-то, чем-то зиждущим своим.

Распростившись с ними, жизнь брела по дамбе,
Удаляясь к людям в спящий городок.
Неизвестность вздрагивала плавниками камбалы.
Тихо, миг за мигом рос ее приток.

Близился конец, и не спалось тюремщикам.
Быть в тот миг могло примерно два часа.
Зыбь переминилась, пожирая жемчуг.
Так, чем свет, в конюшнях дремлет хруст овса.
Остальных пьянила ширь весны и каторги.
Люки были настежь, и точно у миног,
Округлясь, дышали рты иллюминаторов.
Транспорт колыхался, как сонный осьминог.
Вдруг по тьме мурашками пробежал прожектор.
«Прут» зевнул, втянув тысячеперстье лап.
Свет повел ноздрями, пробираясь к жертвам.
Заскрипели петли. Упал железный трап.
Это канонерка пристала к люку угольному.
Свет всадил с шипеньем внутрь свою иглу.
Клетку ослепило. Отпрянули испуганно.
Путаясь костями в цепях, забились вглубь.
Но затем, не в силах более крепиться,
Бросились к решетке, колясь о сноп лучей
И крича: «Не мучьте! Кончайте, кровопийцы!» —
Потянулись с дрожью в руки палачей.
Счет пошел на миги. Крик: «Прощай, товарищи!»
Породил содом. Прожектор побежал,
Окунаясь в вопли, по люкам, лбам и наручням,
И пропал, потушенный рыданьем каторжан.

Спекторский
(1925 – 1931)

Вступленье

Привыкши выковыривать изюм
Певучестей из жизни сладкой сайки,
Я раз оставить должен был стезю
Объевшегося рифмами всезнайки.
Я бедствовал. У нас родился сын.
Ребячества пришлось на время бросить.
Свой возраст взглядом смеривши косым,
Я первую на нем заметил проседь.
Но я не засиделся на мели.

Нашелся друг отзывчивый и рьяный.
Меня без отлагательств привлекли
К подбору иностранной лениньяны.

Задача состояла в ловле фраз
О Ленине. Вниманье не дремало.
Вылавливая их, как водолаз,
Я по журналам понырял немало.

Мандат предоставлял большой простор.
Пуская в дело разрезальный ножик,
Я каждый день форсировал Босфор
Малодоступных публике обложек.

То был двадцать четвертый год. Декабрь
Твердел к окну витринному притертый.
И холодел, как оттиск медяка,
На опухоли теплой и нетвердой.

Читальни департаменский покой
Не посещался шумом дальних улиц.
Лишь ближней, с перевязанной щекой
Мелькал в дверях рабочий ридикюлец.

Обычно ей бывало не до ляс
С библиотекаршей наркоминдела.
Набегавшись, она во всякий час
Неслась в снежинках за угол по делу.

Их колыхало, и сквозь флер невзгод,
Косясь на комья светло-серой грусти,
Знакомился я с новостями мод
И узнавал о Конраде и Прусте.

Вот в этих-то журналах, стороной
И стал встречаться я как бы в тумане
Со славою Марии Ильиной,
Снискавшей нам всемирное вниманье.

Она была в чести и на виду,
Но указанья шли из страшной дали
И отсылали к старому труду,
Которого уже не обсуждали.

Скорей всего то был большой убор
Тем более дремучей, чем скупее
Показанной читателю в упор
Таинственной какой-то эпопеи,

Где, верно, все, что было слез и снов,
И до крови кроил наш век закройщик,
Простерлось красотой без катастроф

И стало правдой сроков без отсрочки.
Все как один, всяк за десятерых
Хвалили стиль и новизну метафор,
И с островами спорил материк,
Английский ли она иль русский автор.

Но я не ведал, что проистечет
Из этих внеслужебных интересов.
На рождестве я получил расчет,
Пути к дальнейшим розыскам отрезав.
Тогда в освободившийся досуг
Я стал писать Спекторского, с отвычки
Занявшись человеком без заслуг,
Дружившим с упомянутой москвичкой.
На свете былей непочатый край,
Ничем не замечательных – тем боле.
Не лез бы я и с этой, не сыграй
Статьи о ней своей особой роли.
Они упали в прошлое снопом
И озарили часть его на диво.
Я стал писать Спекторского в слепом
Повиновеньи силе объектива.
Я б за героя не дал ничего
И рассуждать о нем не скоро б начал,
Но я писал про короб лучевой,
В котором он передо мной маячил.
Про мглу в мерцаньи плошки погребной,
Которой ошибают прозы дебри,
Когда нам ставит волосы копной
Известье о неведомом шедевре.
Про то, как ночью, от норы к норе,
Дрожа, протягиваются в далекость
Зонты косых московских фонарей
С тоской дождя, попавшею в их фокус.
Как носят капли вести о езде,
И всю-то ночь все цокают да едут,
Стуча подковой об одном гвозде
То тут, то там, то в тот подъезд, то в этот.
Светает. Осень, серость, старость, муть.
Горшки и бритвы, щетки, папильотки.
И жизнь прошла, успела промелькнуть,
Как ночь под стук обшарпанной пролетки.
Свинцовый свод. Рассвет. Дворы в воде.
Железных крыш авторитетный тезис.
Но где ж тот дом, та дверь, то детство, где
Однажды мир прорезывался, грезясь?
Где сердце друга? – Хитрых глаз прищур.
Знавали ль вы такого-то? – Наслышкой.
Да, видно, жизнь проста… Но чересчур.
И даже убедительна… Но слишком.

Чужая даль. Чужой, чужой из труб

По рвам и шляпам шлепающий дождик,
И отчужденьем обращенный в дуб,
Чужой, как мельник пушкинский, художник.

1

Весь день я спал, и, рушась от загона,
На всем ходу гася в колбасных свет,
Совсем еще по-зимнему вагоны
К пяти заставам заметали след.

Сегодня ж ночью, теплым ветром залит,
В трамвайных парках снег сошел дотла.
И не напрасно лампа с жаром пялит
Глаза в окно и рвется со стола.

Гашу ее. Темь. Я ни зги не вижу.
Светает в семь, а снег как назло рыж.
И любо ж, верно, крякать уткой в жиже
И падать в слякоть, под кропила крыш!

Жует губами грязь. Орут невежи.
По выбоинам стынет мутный квас.
Как едется в такую рань приезжей,
С самой посадки не смежавшей глаз?

Ей гололедица лепечет с дрожью,
Что время позже, чем бывает в пять.
Распутица цепляется за вожжи,
Торцы грозятся в луже искупать.

Какая рань! В часы утра такие,
Стихиям четырем открывши грудь,
Лихие игроки, фехтуя кием,
Кричат кому-нибудь: счастливый путь!

Трактирный гам еще глушит тетерю,
Но вот, сорвав отдушин трескотню,
Порыв разгула открывает двери
Земле, воде, и ветру, и огню.

Как лешие, земля, вода и воля
Сквозь сутолоку вешалок и шуб
За голою русалкой алкоголя
Врываются, ища губами губ.

Давно ковры трясут и лампы тушат,
Не за горой заря, но и скорей
Их четвертует трескотня вертушек,
Кроит на части звон и лязг дверей.

И вот идет подвыпивший разиня.
Кабак как в половодье унесло.
По лбу его, как по галош резине,
Проволоклось раздолий помело.
Пространство спит, влюбленное в пространство,
И город грезит, по уши в воде,
И море просьб, забывшихся и страстных,
Спросонья плещет неизвестно где.
Стоит и за сердце хватает бормот
Дворов, предместий, мокрой мостовой,
Калиток, капель… Чудный гул без формы,
Как обморок и разговор с собой.
В раскатах затихающего эха
Неистовствует прерванный досуг:
Нельзя без истерического смеха
Лететь, едва потребуют услуг.
"Ну и калоши. Точно с людоеда.
Так обменяться стыдно и в бреду.
Да ну их к ляду, и без них доеду,
А не найду извозчика – дойду".
В раскатах, затихающих к вокзалам,
Бушует мысль о собственной судьбе,
О сильной боли, о довольстве малым,
О синей воле, о самом себе.
Пока ломовики везут товары,
Остатки ночи предают суду,
Песком полощут горло тротуары,
И клубы дыма борются на льду,
Покамест оглашаются открытья
На полном съезде капель и копыт,
Пока бульвар с простительною прытью
Скамью дождем растительным кропит,
Пока березы, метлы, голодранцы,
Афиши, кошки и столбы скользят
Виденьями влюбленного пространства,
Мы повесть на год отведем назад.

2

Трещал мороз, деревья вязли в кружке
Пунцовой стужи, пьяной, как крюшон,
Скрипучий сумрак раскупал игрушки
И плыл в ветвях, от дола отрешен.

Посеребренных ног роскошный шорох
Пугал в полете сизых голубей,
Волокся в дыме и висел во взорах
Воздушным лесом елочных цепей.

И солнца диск, едва проспавшись, сразу
Бросался к жженке и, круша сервиз,
Растягивался тут же возле вазы,
Нарезавшись до положенья риз.

Причин средь этой сладкой лихорадки
Нашлось немало, чтобы к рождеству
Любовь с сердцами наигравшись в прятки,
Внезапно стала делом наяву.

Был день, Спекторский понял, что не столько
Прекрасна жизнь, и Ольга, и зима,
Как подо льдом открылся ключ жестокий,
Которого исток – она сама.

И чем наплыв у проруби громадней,
И чем его растерянность видней,
И чем она милей и ненаглядней,
Тем ближе срок, и это дело дней.
Поселок дачный, срубленный в дуброве,
Блистал слюдой, переливался льдом,
И целым бором ели, свесив брови,
Брели на полузанесенный дом.

И, набредя, спохватывались: вот он,
Косою ниткой инея исшит,
Вчерашней бурей на живуху сметан,
Пустыню комнат башлыком вершит.

Валясь от гула и людьми покинут,
Ночами бредя шумом полых вод,
Держался тем балкон, что вьюги минут,
Как позапрошлый и как прошлый год.

А там от леса влево, где-то с тылу
Шатая ночь, как воспаленный зуб,
На полустанке лампочка коптила
И жили люди, не снимая шуб.

Забытый дом служил как бы резервом
Кружку людей, знакомых по Москве,
И потому Бухтеевым не первым
Подумалось о нем на рождестве.

В самом кружке немало было выжиг,
Немало присоседилось извне.
Решили новый год встречать на лыжах,
Неся расход со всеми наравне.
Их было много, ехавших на встречу.
Опустим планы, сборы, переезд.
О личностях не может быть и речи.
На них поставим лучше тут же крест.

Знаком ли вам сумбур таких компаний,
Благоприятный бурной тайне двух?
Кругом галдят, как бубенцы в тимпане,
От сердцевины отвлекая слух.
Счесть невозможно, сколько новогодних
Встреч было ими спрыснуто в пути.
Они нуждались в фонарях и сходнях,
Чтоб на разъезде с поезда сойти.
Он сплыл, и колесом вдоль чащ ушастых
По шпалам стал ходить, и прогудел
Чугунный мост, и взвыл лесной участок,
И разрыдался весь лесной удел.
Ночные тени к кассе стали красться.
Простор был ослепительно волнист.
Толпой ввалились в зал второго класса
Переобуться и нанять возниц.
Не торговались – спьяна люди щедры,
Не многих отрезвляла тишина.
Пожар несло к лесам попутным ветром,
Бренчаньем сбруи, бульканьем вина.
Был снег волнист, окольный путь – извилист,
И каждый шаг готовил им сюрприз.
На розвальнях до колики резвились,
И женский смех, как снег, был серебрист.
"Не слышу. Это тот, что за березой?
Но я ж не кошка, чтоб впотьмах…" Толчок,
Другой и третий, – и конец обоза
Влетает в лес, как к рыбаку в сачок.
"Особенно же я вам благодарна
За этот такт: за то, что ни с одним…"
Ухаб, другой. – "Ну, как? " – А мы на парных.
«А мы кульков своих не отдадим».

На вышке дуло, и, меняя скорость,
То замирали, то неслись часы.
Из сада к окнам стаскивали хворост
Четыре световые полосы.

Внизу смеялись. Лежа на диване,
Он под пол вниз перебирался весь,
Где праздник обгоняло одеванье.
Был третий день их пребыванья здесь.

Дверь врезалась в сугроб на пол-аршина.
Год и на воле явно иссякал.
Рядок обледенелых порошинок
Упал куском с дверного косяка,

И обступила тьма. А ну, как срежусь?
Мелькнула мысль, но, зажимая рот,
Ее сняла и опровергла свежесть
К самим перилам кравшихся широт.

В ту ночь еще ребенок годовалый
За полною неопытностью чувств,
Он содрогался. "В случае провала
Какой я новой шуткой отшучусь?"

Закрыв глаза, он ночь, как сок арбуза,
Впивал, и снег, вливаясь в душу, рдел.
Роптала тьма, что год и ей в обузу.
Все порывалось за его предел.

Спустившись вниз, он разом стал в затылок
Пыланью ламп, опилок, подолов,
Лимонов, яблок, колпаков с бутылок
И снежной пыли, ползшей из углов.

Все были в сборе, и гудящей бортью
Бил в переборки радости прилив.
Смеялись, торт черт знает чем испортив,
И фыркали, салат пересолив.

Рассказывать ли, как столпились, сели,
Сидят, встают, – шумят, смеются, пьют?
За рубенсовской росписью веселья
Мы влюбимся, и тут-то нам капут:

Мы влюбимся, тогда конец работе,
И дни пойдут по гулкой мостовой
Скакать через колесные ободья
И колотиться об земь головой.

Висит и так на волоске поэма.
Да и забыться я не вижу средств:
Мы без суда осуждены и немы,
А обнесенный будет вечно трезв.

За что же пьют? За четырех хозяек.
За их глаза, за встречи в мясоед.
За то, чтобы поэтом стал прозаик
И полубогом сделался поэт.
В разгаре ужин. Вдруг, без перехода:
"Нет! Тише! Рано! Встаньте! Ваши врут!
Без двух!.. Без возражений!.. С новым годом!"
И гранных дюжин громовой салют.
"О мальчик мой, и ты, как все, забудешь
И возмужавши, назовешь мечтой
Те дни, когда еще ты верил в чудищ?
О, помни их, без них любовь ничто.
О, если б мне на память их оставить!
Без них мы прах, без них равны нулю.
Но я люблю, как ты, и я сама ведь
Их нынешнею ночью утоплю.

Я дуновеньем наготы свалю их.
Всей женской подноготной растворю.
И тени детства схлынут в поцелуях.
Мы разойдемся по календарю.
Шепчу? – Нет, нет. – С ликером, и покрепче.
Шепчу не я, – вишневки чернота.
Карениной, – так той дорожный сцепщик
В бреду под чепчик что-то бормотал".
Идут часы. Поставлены шарады.
Сдвигают стулья. Как прибой, клубит
Не то оркестра шум, не то оршада,
Висячей лампой к скатерти прибит.
И год не нов. Другой новей обещан.
Весь вечер кто-то чистит апельсин.
Весь вечер вьюга, не щадя затрещин,
Врывается сквозь трещины тесин.
Но юбки вьются, и поток ступеней,
Сорвавшись вниз, отпрядывает вверх.
Ядро кадрили в полном исступленьи
Разбрызгивает весь свой фейерверк,
И все стихает. Точно топот, рухнув
За кухнею, попал в провал, в мальстрем,
В века… – Рассвет. Ни звука. Лампа тухнет,
И елка иглы осыпает в крем.

До лыж ли тут! Что сделалось с погодой?
Несутся тучи мимо деревень.
И штук пятнадцать солнечных заходов
Отметили в окно за этот день.

С утра назавтра с кровли, с можжевелин
Льет в три ручья. Бурда бурдой. С утра
Промозглый день теплом и ветром хмелен,
Точь-в-точь как сами лыжники вчера.

По талой каше шлепают калошки.
У поля все смешалось в голове.
И облака, как крашеные ложки,
Крутясь, плывут в вареной синеве.

На пятый день, при всех, Спекторский, бойко
Взглянув на Ольгу, говорит, что спектр
Разложен новогоднею попойкой
И оттого-то пляшет барометр.

И так как шутка не совсем понятна
И вкруг нее стихает болтовня,
То, путаясь, он лезет на попятный
И, покраснев, смолкает на два дня.

"Для бодрости ты б малость подхлестнул.
Похоже, жаркий будет день, разведрясь".
Чихает цинк, ручьи сочат весну,
Шуруя снег, бушует левый подрез.

Струится грязь, ручьи на все лады,
Хваля весну, разворковались в голос,
И, выдирая полость из воды,
Стучит, скача по камню, правый полоз.

При въезде в переулок он на миг
Припомнит утро въезда к генеральше,
Приятно будет, показав язык
Своей норе, проехать фертом дальше.

Но что за притча! Пред его дверьми
Слезает с санок дама с чемоданом.
И эта дама – "стой же, черт возьми!
Наташа, ты?…Негаданно, нежданно?..

Вот радость! Здравствуй. Просто стыд и срам.
Ну, что б черкнуть? Как ехалось? Надолго?
Оставь, пустое, взволоку и сам.
Толкай смелей, она у нас заволгла.

Да резонанс ужасный. Это в сад.
А хоть и спят? Ну что ж, давай потише.
Как не писать, писал дня три назад.
Признаться, и они не чаще пишут.
Вот мы и дома. Ставь хоть на рояль.
Чего ты смотришь? " – "Боже, сколько пыли!
Разгром! Что где! На всех вещах вуаль.
Скажи, тут, верно, год полов не мыли?»
Когда он в сумерки открыл глаза,
Не сразу он узнал свою берлогу.
Она была светлей, чем бирюза
По выкупе из долгого залога.
Но где ж сестра? Куда она ушла?
Откуда эта пара цинерарий?
Тележный гул колеблет гладь стекла,
И слышен каждый шаг на тротуаре.
Горит закат. На переплетах книг,
Как угли, тлеют переплеты окон.
К нему несут по лестнице сенник,
Внизу на кухне громыхнули блоком.
Не спите днем. Пластается в длину
Дыханье парового отопленья.
Очнувшись, вы очутитесь в плену
Гнетущей грусти и смертельной лени.
Несдобровать забывшемуся сном

При жизни солнца, до его захода.
Хоть этот день – хотя бы этим днем
Был вешний день тринадцатого года.
Не спите днем. Как временный трактат,
Скрепит ваш сон с минувшим мировую.
Но это перемирье прекратят!
И дернуло ж вас днем на боковую.
Вас упоил огонь кирпичных стен,
Свалила пренебрегнутая прелесть
В урочный час неоцененных сцен,
Вы на огне своих ошибок грелись.
Вам дико все. Призванье, год, число.
Вы угорели. Вас качала жалость.
Вы поняли, что время бы не шло,
Когда б оно на нас не обижалось.

4

Стояло утро, летнего теплей,
И ознаменовалось первой крупной
Головомойкой в жизни тополей,
Которым сутки стукнуло невступно.
Прошедшей ночью свет увидел дерн.
Дорожки просыхали, как дерюга.
Клубясь бульварным рокотом валторн,
По ним мячом катился ветер с юга.

И той же ночью с часа за второй,
Вооружась «громокипящим кубком»,
Последний сон проспорил брат с сестрой.
Теперь они носились по покупкам.

Хвосты у касс, расчеты и чаи
Влияли мало на Наташин норов,
И в шуме предотъездной толчеи
Не обошлось у них без разговоров.

Слова лились, внезапно становясь
Бессвязней сна. Когда ж еще вдобавок
Приказчик расстилал пред ними бязь,
Остаток связи спарывал прилавок.

От недосыпу брат молчал и кис,
Сестра ж трещала под дыханьем бриза,
Как языки опущенных маркиз
И сквозняки и лифты мерилиза.

"Ты спрашиваешь, отчего я злюсь?
Садись удобней, дай и я подвинусь.
Вот видишь ли, ты – молод, это плюс,

А твой отрыв от поколенья – минус.

Ты вне исканий, к моему стыду.
В каком ты стане? Кстати, как неловко,
Что за отъездом я не попаду
С товарищами паши на маевку.

Ты возразишь, что я не глубока?
По-твоему, ты мне простишь поспешность,
Я что-то вроде синего чулка,
И только всех обманывает внешность?»

"Оставим спор, Наташа. Я неправ?
Ты праведница? Ну и на здоровье.
Я сыт молчаньем без твоих приправ.
Прости, я б мог отбрить еще суровей".

Таким-то родом оба провели
Последний день, случайно не повздорив.
Он начался, как сказано, в пыли,
Попал под дождь и к ночи стал лазорев.
На земляном валу из-за угла
Встает цветник, живой цветник из Фета.
Что и земля, как клумба, и кругла,
Поют судки вокзального буфета.
Бокалы, карты кушаний и вин.
Пивные сетки. Пальмовые ветки.
Пары борща. Процессии корзин.
Свистки, звонки. Крахмальные салфетки.
Кондуктора. Ковши из серебра.
Литые бра. Людских роев метанье.
И гулкие удары в буфера
Тарелками со щавелем в сметане.
Стеклянные воздушные шары.
Наклонность сводов к лошадиным дозам.
Прибытье огнедышащей горы,
Несомой с громом потным паровозом.
Потом перрон и град шагов и фраз,
И чей-то крик: «Так, значит, завтра в Нижнем?»
И у окна: "Итак, в последний раз.
Ступай. Мы больше ничего не выжмем."
И вот, залившись тонкой фистулой,
Чугунный смерч уносится за Яузу
И осыпает просеки золой
И пилит лес сипеньем вестингауза.
И дочищает вырубки сплеча,
И, разлетаясь все неизреченней,
Несет жену фабричного врача
В чехле из гари к месту назначенья.
С вокзала возвращаются с трудом,
Брезгливую улыбку пересиля.
О город, город, жалкий скопидом,

Что ты собрал на льне и керосине?
Что перенял ты от былых господ?
Большой ли капитал тобою нажит?
Бегущий к паровозу небосвод
Содержит все, что сказано и скажут.

Ты каторгой купил себе уют
И путаешься в собственных расчетах,
А по предместьям это сознают
И в пригородах вечно ждут чего-то.

Догадки эти вовсе не кивок
В твой огород, ревнивый теоретик.
Предвестий политических тревог
Довольно мало в ожиданьях этих.

Но эти вещи в нравах слобожан,
Где кругозор свободнее гораздо,

И городской рубеж перебежав,
Гуляет рощ зеленая зараза.

Природа ж – ненадежный элемент.
Ее вовек оседло не поселишь.
Она всем телом алчет перемен
И вся цветет из дружной жажды зрелищ.

Все это постигаешь у застав,
Где с фонарями в выкаченном чреве
За зданья задевают поезда
И рельсами беременны деревья;

Где нет мотивов и перипетий,
Но, аппетитно выпятив цилиндры,
Паровичок на стрелке кипятит
Туман лугов, как молоко с селитрой.

Все это постигаешь у застав,
Где вещи рыщут в растворенном виде.
В таком флюиде встретил их состав
И мой герой, из тьмы вокзальной выйдя.

Заря вела его на поводу
И, жаркой лайкой стягивая тело,
На деле подтверждала правоту
Его судьбы, сложенья и удела.

Он жмурился и чувствовал на лбу
Игру той самой замши и шагрени,
Которой небо кутало толпу
И сутолоку мостовой игреней.

Затянутый все в тот же желтый жар
Горячей кожи, надушенной амброй,
Пылил и плыл заштатный тротуар,
Раздувши ставни, парные, как жабры.

Но по садам тягучий матерьял
Преображался, породнясь с листвою,
И одухотворялся и терял
Все, что на гулкой мостовой усвоил.

Где средь травы, тайком, наедине,
Дорожку к дому огненно наохрив,
Вечерний сплав смертельно леденел,
Как будто солнце ставили на погреб.
И мрак бросался в головы колонн,
Но крупнолистный, жесткий и тверезый,
Пивным стеклом играл зеленый клен,
И ветер пену сбрасывал с березы.

5

Едва вагона выгнутая дверь
Захлопнулась за сестриной персоной,
Действительность, как выспавшийся зверь,
Потягиваясь, поднялась спросонок.
Она не выносила пустомель,
И только ей вернули старый навык, —
Вздохнула вслух, как дышит карамель
В крохмальной тьме колониальных лавок.
Учуяв нюхом эту москатиль,
Голодный город вышел из берлоги,
Мотнул хвостом, зевнул и раскатил
Тележный гул семи холмов отлогих.
Тоска убийств, насилий и бессудств
Ударила песком по рту фортуны
И сжала крик, теснившийся из уст
Красноречивой некогда вертуньи.
И так как ей ничто не шло в башку,
То не судьба, а первое пустое
Несчастье приготовилось к прыжку,
Запасшись склянкой с серной кислотою.
Вот тут с разбега он и налетел
На Сашку Бальца. Всей сквозной округой.
Всей тьмой. На полусон. На полутень,
На что-то вроде рока. Вроде друга.
Всей световой натугой – на портал,
Всей лайкою упругой – на деревья,
Где Бальц как перст перчаточный торчал.
А говорили, – болен и в Женеве.
И точно назло он стерег

Намеренно под тем дверным навесом,
Куда Сережу ждали на урок
К отчаянному одному балбесу.

Но выяснилось им в один подъезд,
Где наверху в придачу к прошлым тещам
У Бальца оказался новый тесть,
Одной из жен пресимпатичный отчим.

Там помещался новый Бальцев штаб.
Но у порога кончилась морока,
И, пятясь из приятелевых лап,
Сергей поклялся забежать с урока.

Смешная частность. Сашка был мастак
По части записного словоблудья.
Он ждал гостей и о своих гостях
Таинственно заметил: «Будут люди».

Услыша сей внушительный посул,
Сергей представил некоторой Меккой
Эффектный дом, где каждый венский стул
Готов к пришествию сверхчеловека.

Смеясь в душе, "Приступим, – возгласил,
Входя, Сережа. – Как делишки, Миша?"
И, сдерживаясь из последних сил,
Уселся в кресло у оконной ниши.

"Не странно ли, что все еще висит,
И дуется, и сесть не может солнце?"
Обдумывая будущий визит,
Не вслушивался он в слова питомца.

Из окон открывался чудный вид,
Обитый темно-золотистой кожей.
Диван был тоже кожею обит.
«Какая чушь!» – Подумалось Сереже.

Он не любил семьи ученика.
Их здравый смысл был тяжелей увечья,
А путь прямей и проще тупика.
Читали «Кнут», выписывали «Вече».

Кобылкины старались корчить злюк,
Но даже голосов свирепый холод
Всегда сбивался на плаксивый звук,
Как если кто задет или уколот.

Особенно заметно у самой
Страдальчества растравленная рана
Изобличалась музыкой прямой

Богатого гаремного сопрано.

Не меньшею загадкой был и он,
Невежда с правоведческим дипломом,
Холоп с апломбом и хамелеон,
Но лучших дней оплеванный обломок.

В чаду мытарств угасшая душа,
Соединял он в духе дел тогдашних
Образованье с маской ингуша
И умудрялся рассуждать, как стражник.
Но в целом мире не было людей
Забитее при всей наружной спеси
И участи забытей и лютей,
Чем в этой цитадели мракобесья.
Урчали краны порчею аорт,
Ругалась, фартук подвернув, кухарка,
И весь в рассрочку созданный комфорт
Грозил сумой и кровью сердца харкал.
По вечерам висячие часы
Анализом докучных тем касались,
И, как с цепей сорвавшиеся псы,
Клопы со стен на встречного бросались.
Урок кончался. Дом, как корифей,
Топтал деревьев ветхий муравейник
И кровли, к ночи ставшие кривей
И точно потерявшие равненье.
Сергей прощался. Что-то в нем росло,
Как у детей средь суесловья взрослых,
Как будто что-то плавно и без слов
Навстречу дому близилось на веслах.
Как будто это приближался вскрик,
С которым, позабыв о личной шкуре,
Снимают с ближних бремя их вериг,
Чтоб разбросать их по клавиатуре.
В таких мечтах: "Ты видишь, – возгласил,
Входя, Сергей, – я не обманщик, Сашка", —
И, сдерживаясь из последних сил,
Присел к столу и пододвинул чашку.
И осмотрелся. Симпатичный тесть
Отсутствовал, но жил нельзя шикарней.
Картины, бронзу все хотелось съесть,
Все как бы в рот просилось, как в пекарне.
И вдруг в мозгу мелькнуло: "И съедят.
Не только дом, но раньше или позже
И эту ночь, и тех, что тут сидят.
Какая чушь!" – Подумалось Сереже.
Но мысль осталась, завязав дуэт
С тоской, что гложет поедом поэтов,
И неизвестность, точно людоед,
Окинула глазами сцену эту.

И увидала: полукруглый стол,
Цветы и фрукты, и мужчин и женщин,
И обреченья общий ореол,
И девушку с прической a la Ченчи.

И абажур, что как бы клал запрет
Вовне, откуда робкий гимназистик
Смотрел, как прочь отставленный портрет,
На дружный круг живых характеристик.

На Сашку, на Сережу, – иногда
На старшего уверенного брата,
Который сдуру взял его сюда,
Но, вероятно, уведет обратно.

Их назвали, но как-то невдомек.
Запало что-то вроде «мох» иль «лемех».
Переспросить Сережа их не мог,
Затем что тон был взят, как в близких семьях.

Он наблюдал их, трогаясь игрой
Двух крайностей, но из того же теста.
Во младшем крылся будущий герой.
А старший был мятежник, то есть деспот.

6

Неделю проскучал он, книг не трогав,
Потом, торгуя что-то в зеленной,
Подумал, что томиться нет предлогов,
И повернул из лавки к ильиной.

Он чуть не улизнул от них сначала,
Но на одном из Бальцевских окон
Над пропастью сидела и молчала
По внешности – насмешница, как он.

Она была без вызова глазаста,
Носила траур и нельзя честней
Витала, чтобы не соврать, верст за сто.
Урвав момент, он вышел вместе с ней.

Дорогою бессонный говор веток
Был смутен и, как слух, тысячеуст.
А главное, не делалось разведок
По части пресловутых всяких чувств.

Таких вещей умели сторониться.
Предметы были громче их самих.
А по бульвару шмыгали зарницы

И подымали спящих босомыг.

И вот порой, как ветер без провесу
Взвивал песок и свирепел и креп,
Отец ее, – узнал он, – был профессор,
Весной она по нем надела креп,
И множество чего, – и эта лава
Подробностей росла атакой в лоб
И приближалась, как гроза, по праву,
Дарованному от роду по гроб.
Затем прошла неделя, и сегодня,
Собравшися впервые к ней, он шел
Рассеянней, чем за город, свободней,
Чем с выпуска, за школьный частокол.
Когда-то дом был ложею масонской.
Лет сто назад он перешел в казну.
Пустые классы щурились на солнце.
Ремонтный хлам располагал ко сну.
В творилах с известью торчали болтни.
Рогожа скупо пропускала свет.
И было пусто, как бывает в полдни,
Когда с лесов уходят на обед.
Он долго в дверь стучался без успеха,
А позади, как бабочка в плену,
Безвыходно и пыльно билось эхо.
Отбив кулак, он отошел к окну.
Тут горбились задворки института,
Катились градом балки, камни, пот,
И, всюду сея мусор, точно смуту,
Ходило море земляных работ.
Многолошадный, буйный, голоштанный,
Двууглекислый двор кипел ключом,
Разбрасывал лопатами фонтаны,
Тянул, как квас, полки под кирпичом.
Слонялся ветер, скважистый, как траур,
Рябил, робел и, спины заголя,
Завешивал рубахами брандмауэр
И каменщиков гнал за флигеля.
У них курились бороды и ломы,
Как фитили у первых пушкарей.
Тогда казалось – рядом жгут солому,
Как на торфах в несметной мошкаре.
Землистый залп сменялся белым хряском.
Обвал бледнел, чтоб опухолью спасть.
Показывались горловые связки.
Дыханье щебня разевало пасть.

Но вот он раз застал ее. Их встречи
Пошли частить. Вне дней, когда не след.
Он стал ходить: в ненастье; чуть рассветши:
Во сне: в часы, которых в списках нет.

Отказов не предвиделось в приеме.
Свиданья назначались: в пеньи птиц;
В кистях дождя; в черемухе и в громе;
Везде, где жизнь и двум не разойтись.

«Ах, это вы? Зажмурьтесь и застыньте», —
Услышал он в тот первый раз и миг,
Когда, сторонний в этом лабиринте,
Он сосвежу и точно стал в тупик.

Их разделял и ей служил эгидой
Шкапных изнанок вытертый горбыль.
"Ну, как? Поражены? Сейчас я выйду.
Ночей не сплю. Ведь тут что вещь, то быль.

Ну, здравствуйте. Я думала – подрядчик.
Они освобождают весь этаж,
Но нет ни сил, ни стимулов бодрящих
Поднять и вывезть этот ералаш.

А всех-то дел – двоих швейцаров, вас бы
Да три-четыре фуры – и на склад.
Притом пора. Мой заграничный паспорт
Давно зовет из этих анфилад".

Так было в первый раз. Он знал, что встретит
Глухую жизнь, породистую встарь,
Но он не знал, что во второй и в третий
Споткнется сам об этот инвентарь.

Уже помочь он ей не мог. Напротив.
Вконец подпав под власть галиматьи,
Он в этот склад обломков и лохмотьев
Стал из дому переносить свои.

А щебень плыл и, поводя гортанью,
Грозил и их когда-нибудь сглотнуть.
На стройке упрощались очертанья,
У них же хаос не редел отнюдь.

Свиданья учащались. С каждым новым
Они клялись, что примутся за ум,
И сложатся, и не проронят слова,
Пока не сплавят весь шурум-бурум.

Но забывались, и в пылу беседы
То громкое, что крепло с каждым днем,
Овладевало ими напоследок
И сделанное ставило вверх дном.

Оно распоряжалось с самодурством
Неразберихой из неразберих

И проливным и краткосрочным курсом
Чему-то переучивало их.
Холодный ветер, как струя муската,
Споласкивал дыханье. За спиной,
Затягиваясь ряскою раскатов,
Прудилось устье ночи водяной.
Вздыхали ветки. Заспанные прутья
Потягивались, стукались, текли,
Валились наземь в серых каплях ртути,
Приподнимались в серебре с земли.
Она ж дрожала и, забыв про старость,
Влетала в окна и вонзала киль,
Распластывая облако, как парус,
В миротворенья послужную быль.
Тут целовались, наяву и вживе.
Тут, точно дым и ливень, мга и гам,
Улыбкою к улыбке, грива к гриве,
Жемчужинами льнули к жемчугам.
Тогда в развале открывалась прелесть.
Перебегая по краям зеркал,
Меж блюд и мисок молнии вертелись,
А следом гром откормленный скакал.
И, завершая их игру с приданым,
Не стоившим лишений и утрат,
Ключами ударял по чемоданам
Саврасый, частый, жадный летний град.
Их распускали. Кипятили кофе.
Загромождали чашками буфет.
Почти всегда при этой катастрофе
Унылой тенью вырастал рассвет.
И с тем же неизменным постоянством
Сползались с полу на ночной пикник
Ковры в тюках, озера из фаянса
И горы пыльных, беспросветных книг.
Ломбардный хлам смотрел еще серее,
Последних молний вздрагивала гроздь,
И оба уносились в эмпиреи,
Взаимоокрылившись, то есть врозь.
Теперь меж ними пропасти зияли.
Их что-то порознь запускало в цель.
Едва касаясь пальцами рояля,
Он плел своих экспромтов канитель.

Сырое утро ежилось и дрыхло,
Бросался ветер комьями в окно,
И воздух падал сбивчиво и рыхло
В мариин новый отрывной блокнот.

Среди ее стихов осталась запись
Об этих днях, где почерк был иглист,
Как тернии, и ненависть, как ляпис,
Фонтаном клякс избороздила лист.

"Окно в лесах, и – две карикатуры,
Чтобы избегнуть даровых смотрин,
Мы занавесимся от штукатуров,
Но не уйдем от показных витрин.

Мы рано, может статься, углубимся
В неисследимый смысл добра и зла.
Но суть не в том. У жизни есть любимцы.
Мне кажется, мы не из их числа.

Теперь у нас пора импровизаций.
Когда же мы заговорим всерьез?
Когда, иссякнув, станем подвизаться
На поприще похороненных грез?

Исхода нет. Чем я зрелей, тем боле
В мой обиход врывается земля
И гонит волю и берет безволье
Под кладбища, овраги и поля.

P.S. Все это требует проверки.
Не верю мыслям, – семь погод на дню.
В тот день, как вещи будут у шиперки,
Я, вероятно, их переменю".

7

Конец пришел нечаянней и раньше,
Чем думалось. Что этот человек
Никак не Дон Жуан и не обманщик,
Сама Мария знала лучше всех.

Но было б легче от прямых уколов,
Чем от предполаганья наугад,
Несчастия, участки, протоколы?
Нет, нет, увольте. Жаль, что он не фат.

Бесило, что его домашний адрес
Ей неизвестен. Оставалось жить,
Рядиться в гнев и врать себе, не зазрясь,
Чтоб скрыть страданье в горделивой лжи.

И вот, лишь к горлу подступали клубья,
Она спешила утопить их груз
В оледенелом вопле самолюбья
И яростью перешибала грусть.
Три дня тоска, как призрак криволицый,
Уставясь вдаль, блуждала средь тюков.
Сергей Спекторский точно провалился,

Пошел в читальню, да и был таков.
А дело в том, что из библиотеки
На радостях он забежал к себе.
День был на редкость, шел он для потехи,
И что ж нашел он на дверной скобе?
Игра теней прохладной филигранью
Качала пачку писем. Адресат
Растерянно метнулся к телеграмме,
Врученной десять дней тому назад.
Он вытер пот. По смыслу этих литер,
Он – сирота, быть может. Он связал
Текущее и этот вызов в Питер
И вне себя помчался на вокзал.
Когда он уличил себя под Тверью
В заботах о Марии, то постиг,
Что значит мать, и в детском суеверьи
Шарахнулся от этих чувств простых.
Так он и не дал знать ей, потому что
С пути не смел, на месте ж – потому,
Что мать спасли, и он не видел нужды
Двух суток ради прибегать к письму.
Мать поправлялась. Через две недели,
Очухавшись в свистках, в дыму, в листве,
Он тер глаза. Кругом в плащах сидели.
Почтовый поезд подходил к Москве.
Многолошадный, буйный, голоштанный…
Скорей, скорей навстречу толкотне!
Скорей, скорее к двери долгожданной!
И кажется – да! Да! Она в окне!
Скорей! Скорей! Его приезд в секрете.
А вдруг, а вдруг?.. О, что он натворил!
Тем и скорей через ступень на третью
По лестнице без видимых перил.

Клозеты, стружки, взрывы перебранки,
Рубанки, сурик, сальная пенька.
Пора б уж вон из войлока и дранки.
Но где же дверь? Назад из тупика!

Да полно, все ль еще он в коридоре?
Да нет, тут кухня! Печь, водопровод.
Ведь он у ней, и всюду пыль и море
Снесенных стен и брошенных работ!

8

Прошли года. Прошли дожди событий,
Прошли, мрача юпитера чело.
Пойдешь сводить концы за чаепитьем, —

Их точно сто. Но только шесть прошло.

Прошло шесть лет, и, дрему поборовши,
Задвигались деревья, побурев.
Закопошились дворики в пороше.
Смел прусаков с сиденья табурет.

Сейчас мы руки углем замараем,
Вмуруем в камень самоварный дым,
И в рукопашной с медным самураем,
С кипящим солнцем в комнаты влетим.

Но самурай закован в серый панцирь.
К пустым сараям не протоптан след.
Пролеты комнат канули в пространство.
Тогда скорей на крышу дома слазим,
И вновь в роях недвижных верениц
Москва с размаху кувырнется наземь,
Как ящик из-под киевских яиц.

Испакощенный тес ее растащен.
Взамен оград какой-то чародей
Огородил дощатый шорох чащи
Живой стеной ночных очередей.

Кругом фураж, не дожранный морозом.
Застряв в бурана бледных челюстях,
Чернеют крупы палых паровозов
И лошадей, шарахнутых врастяг.

Пещерный век на пустырях щербатых
Понурыми фигурами пронырь
Напоминает города в Карпатах:
Москва – войны прощальный сувенир.

Дырявя даль, и тут летели ядра,
Затем, что воздух родины заклят,
И половина края – люди кадра,
А погибать без торгу – их уклад.
Затем что небо гневно вечерами,
Что распорядок штатский позабыт,
И должен рдеть хотя б в военной раме
Военной формы не носивший быт.
Теперь и тут некстати блещет скатерть
Зимы; и тут в разрушенный очаг,
Как наблюдатель на аэростате,
Косое солнце смотрит натощак.
Поэзия, не поступайся ширью.
Храни живую точность: точность тайн.
Не занимайся точками в пунктире
И зерен в мере хлеба не считай!
Недоуменьем меди орудийной

Стесни дыханье и спроси чтеца:
Неужто, жив в охвате той картины,
Он верит в быль отдельного лица?
И, значит, место мне укажет, где бы,
Как манекен, не трогаясь никем,
Не стало бы в те дни немое небо
В потоках крови и Шато д'Икем?
Оно не льнуло ни к каким Спекторским,
Не жаждало ничьих метаморфоз,
Куда бы их по рубрикам конторским
Позднейший бард и цензор ни отнес.
Оно росло стеклянною заставой
И с обреченных не спускало глаз
По вдохновенью, а не по уставу,
Что единицу побеждает класс.
Бывают дни: черно-лиловой шишкой
Над потасовкой вскочит небосвод,
И воздух тих по слишком буйной вспышке,
И сани трутся об его испод.
И в печках жгут скопившиеся письма,
И тучи хмуры и не ждут любви,
И все б сошло за сказку, не проснись мы
И оторопи мира не прерви.
Случается: отполыхав в признаньях,
Исходит снегом время в ноябре,
И день скользит украдкой, как изгнанник,
И этот день – пробел в календаре.

И в киновари ренскового солнца
Дымится иней, как вино и хлеб,
И это дни побочного потомства
В жару и правде непрямых судеб.

Куда-то пряча эти предпочтенья,
Не знает век, на чем он спит, лентяй.
Садятся солнца, удлиняют тени,
Чем старше дни, тем больше этих тайн.

Вдруг крик какой-то девочки в чулане.
Дверь вдребезги, движенье, слезы, звон,
И двор в дыму подавленных желаний,
В босых ступнях несущихся знамен.

И та, что в фартук зарывала, мучась,
Дремучий стыд, теперь, осатанев,
Летит в пролом открытых преимуществ
На гребне бесконечных степеней.

Дни, миги, дни, и вдруг единым сдвигом
Событье исчезает за стеной
И кажется тебе оттуда игом
И ложью в мертвой корке ледяной.

Попутно выясняется: на свете
Ни праха нет без пятнышка родства:
Совместно с жизнью прижитые дети —
Дворы и бабы, галки и дрова.

И вот заря теряет стыд дочерний.
Разбив окно ударом каблука,
Она перелетает в руки черни
И на ее руках за облака.

За ней ныряет шиворот сыновний.
Ему тут оставаться не барыш.
И небосклон уходит всем становьем
Облитых снежной сывороткой крыш.

Ты одинок. И вновь беда стучится.
Ушедшими оставлен протокол,
Что ты и жизнь – старинные вещицы,
А одинокость – это рококо.

Тогда ты в крик. Я вам не шут! Насилье!
Я жил, как вы. Но отзыв предрешен:
История не в том, что мы носили,
А в том, как нас пускали нагишом.

Не плакалась, а пела вьюга. Чуть не
Как благовест к заутрене средь мги,
Раскатывались снеговые крутни,
И пели басом путников шаги.

Угольный дом скользил за дом угольный,
Откуда руки в поле простирал.
Там мучили, там сбрасывали в штольни,
Там измывался шахтами Урал.
Там ели хлеб, там гибли за бесценок,
Там белкою кидался в пихту кедр,
Там был зимы естественный застенок,
Валютный фонд обледенелых недр.
Там по юрам кустились перелески,
Пристреливались, брали, жгли дотла,
И подбегали к женщине в черкеске,
Оглядывавшей эту ширь с седла.
Пред ней, за ней, обходом в тыл и с флангов,
Курясь ползла гражданская война,
И ты б узнал в наезднице беглянку,
Что бросилась из твоего окна.
По всей земле осипшим морем грусти,
Дымясь, гремел и стлался слух о ней,
Марусе тихих русских захолустий,
Поколебавшей землю в десять дней.
Не плакались, а пели снега крутни,

И жулики ныряли внутрь пурги
И укрывали ужасы и плутни
И утопавших путников шаги.
Как кратеры, дымились кольца вьюги,
И к каждому подкрадывался вихрь,
И переулки лопались с натуги,
И вьюга вновь заклепывала их.
Безвольные, по всей первопрестольной
Сугробами, с сугроба на сугроб,
Раскачивая в торбах колокольни,
Тащились цепи пешеходных троп.

9

В дни голода, когда вам слали на дом
Повестки и никто вас не щадил,
По старым сыромятниковским складам
С утра бродило несколько чудил.
То были литераторы. Союзу
Писателей доверили разбор
Обобществленной мебели и грузов
В сараях бывших транспортных контор.

Предвидя от кофейников до сабель
Все разности домашнего старья,
Определяла именная табель,
Какую вещь в какой комиссариат.

Их из необходимости пустили
К завалам Ступина и прочих фирм,
И не ошиблись: честным простофилям
Служил мерилом римский децемвир.

Они гордились данным полномочьем.
Меж тем смеркалось. Между тем шел снег.
Предметы обихода шли рабочим,
А ценности и провиант – казне.

В те дни у сыромятницких окраин
Был полудеревенский аромат,
Пластался снег и, галками ограян,
Был только этим карканьем примят.

И, раменье убрав огнем осенним
И пламенем – брусы оконных рам,
Закат бросался к полкам и храненьям
И как бы убывал по номерам.

В румяный дух реберчатого теса
Врывался визг отверток и клещей,

И люди были тверды, как утесы,
И лица были мертвы, как клише.

И лысы голоса. И близко-близко
Над ухом, а казалось – вдалеке,
Все спорили, как быть со штукой плиса,
И серебро ли ковш иль аплике.

Срезали пломбы на ушках шпагата,
И, мусора взрывая облака,
Прикатывали кладь по дубликату,
Кладовщика зовя издалека.

Отрыжкой отдуваясь от отмычек,
Под крышками вздувался старый хлам,
И давность потревоженных привычек
Морозом пробегала по телам.

Но даты на квитанциях стояли,
И лиц, из странствий не подавших весть,
От срока сдачи скарба отделяли
Год-два и редко-редко пять и шесть.

Дух путешествия казался старше,
Чем понимали старость до сих пор.
Дрожала кофт заржавленная саржа,
И гнулся лифов колкий коленкор.

Амбар, где шла разборка гардеробов,
Плыл наугад, куда глаза глядят.
Как волны в море, тропы и сугробы
Тянули к рвоте, притупляя взгляд.
Но было что-то в свойствах околотка,
Что обращалось к мысли, и хотя
Держало к ней, как высланная лодка,
Но гибло, до нее не доходя.
Недостовало, может быть, секунды,
Чтоб вытянуться и поймать буек,
Но вновь и вновь, захлестнутая тундрой,
Душа тонула в темноте таег.
Как вдруг Спекторский обомлел и ахнул.
В глазах, уставших от чужих перин,
Блеснуло что-то яркое, как яхонт,
Он увидал мариин лабиринт.
"А ну-ка, – быстро молвил он, – коллега,
Вот список. Жарьте по инвентарю.
А я… А я неравнодушен к снегу:
Пробегаюсь чуть-чуть и покурю".
Был воздух тих, но если б веткой хрустнуть,
Он снежным вихрем бросился б в галоп,
Как эскимос, нависшей тучей сплюснут,
Был небосвод лиловый низколоб.

Был воздух тих, как в лодке китолова,
Затерянной в тисках плавучих гор.
Но если б хрустнуть веткою еловой,
Все б сдвинулось и понеслось в опор.
Он думал: "Где она – сейчас, сегодня?»
И слышал рядом: «Шелк. Чулки. Портвейн».
"Счастливей моего ли и свободней,
Со склада доносилось: "Дальше. Дальше.
Под опись. В фонд. Под опись. В фонд.
В подвал".
И монотонный голос, как гадальщик,
Все что-то клал и что-то называл.
Настала ночь. Сверхштатные ликурги
Закрыли склад. Гаданья голос стих.
Поднялся вихрь. Сережины окурки
Пошли кружиться на манер шутих.
Ему какие-то совали снимки.
Событья дня не шли из головы.
Он что-то отвечал и слышал в дымке:
"Да вы взгляните только. Это вы?

Нескромность? Обронили из альбома.
Опомнитесь: кому из нас на дню
Не строил рок подобного ж: любому
Подсунул не знакомых, так родню".

Мело, мело. Метель костры лизала,
Пигмеев сбив гигантски у огня.
Я жил тогда у курского вокзала
И тут-то наконец его нагнал.

Я соблазнил его коробкой «Иры»
И затащил к себе, причем – курьез:
Он знал не хуже моего квартиру,
Где кто-то под его присмотром рос.

Он тут же мне назвал былых хозяев,
Которых я тогда же и забыл.
У нас был чад отчаянный. Оттаяв,
Все морщилось, размокши до стропил.

При самом входе, порох зря потратив,
Он сразу облегчил свой патронташ
И рассказал про двух каких-то братьев,
Припутав к братьям наш шестой этаж.

То были дни как раз таких коллизий.
Один был учредиловец, другой
Красногвардеец первых тех дивизий,
Что бились под сарептой и уфой.

Он был погублен чьею-то услугой.

Тут чей-то замешался произвол,
И кто-то вроде рока, вроде друга
Его под пулю чешскую подвел…

В квартиру нашу были, как в компотник,
Набуханы продукты разных сфер:
Швея, студент, ответственный работник,
Певица и смирившийся эсер.

Я знал, что эта женщина к партийцу.
Партиец приходился ей родней.
Узнав, что он не скоро возвратится,
Она уселась с книжкой в проходной.

Она читала, заслонив коптилку,
Ложась на нас наплывом круглых плеч.
Полпотолка срезала тень затылка.
Нам надо было залу пересечь.

Мы шли, как вдруг: «Спекторский, мы знакомы»
Высокомерно раздалось нам вслед,
И, не готовый ни к чему такому,
Я затесался третьим в тете-а-тете.

Бухтеева мой шеф по всей проформе,
О чем тогда я не мечтал ничуть.
Перескажу, что помню, попроворней,
Тем более, что понял только суть.
Я помню ночь, и помню друга в краске,
И помню плошки утлый фитилек.
Он изгибался, точно ход развязки
Его по глади масла ветром влек.
Мне бросилось в глаза, с какой фриволью
Невольный вздрог улыбкой погася,
Она шутя обдернула револьвер
И в этом жесте выразилась вся.
Как явственней, чем полный вздох двурядки,
Вздохнул у локтя кожаный рукав,
А взгляд, косой, лукавый взгляд бурятки,
Сказал без слов: «мой друг, как ты плюгав!»
Присутствие мое их не смутило.
Я заперся, но мой дверной засов
Лишь удесятерил слепую силу
Друг друга обгонявших голосов.
Был разговор о свинстве мнимых сфинксов,
О принципах и принцах, но весом
Был только темный призвук материнства
В презреньи, в ласке, в жалости, во всем.
"Вы вспомнили рождественских застольцев?..
Изламываясь радугой стыда,
Гремел вопрос. Я дочь народовольцев.
Вы этого не поняли тогда?"

Он отвечал… "Но чтоб не быть уродкой,
Рвалось в ответ, ведь надо ж чем-то быть?"
И вслед за тем: "Я родом патриотка.
Каким другим оружьем вас добить?.."
Уже мне начинало что-то сниться
(Я, видно, спал), как зазвенел звонок.
Я выбежал, дрожа, открыть партийцу
И бросился назад что было ног.
Но я прозяб, согреться было нечем,
Постельное тепло я упустил.
И тут лишь вспомнил я о происшедшем.
Пока я спал, обоих след простыл.

Второе рождение
(1930 – 1931)

1

Волны

Здесь будет все: пережитое,
И то, чем я еще живу,
Мои стремленья и устои,
И виденное наяву.

Передо мною волны моря.
Их много. Им немыслим счет.
Их тьма. Они шумят в миноре.
Прибой, как вафли, их печет.

Весь берег, как скотом, исшмыган.
Их тьма, их выгнал небосвод.
Он их гуртом пустил на выгон
И лег за горкой на живот.

Гуртом, сворачиваясь в трубки,
Во весь разгон моей тоски
Ко мне бегут мои поступки,
Испытанного гребешки.

Их тьма, им нет числа и сметы,
Их смысл досель еще не полн,
Но все их сменою одето,
Как пенье моря пеной волн.

Здесь будет спор живых достоинств,
И их борьба и их закат,
И то, чем дарит жаркий пояс

И чем умеренный богат.

И в тяжбе борющихся качеств
Займет по первенству куплет
За сверхъестественную зрячесть
Огромный берег кобулет.

Обнявший, как поэт в работе,
Что в жизни порознь видно двум,
Одним концом ночное поти,
Другим светающий батум.

Умеющий, так он всевидящ,
Унять, как временную блажь,
Любое, с чем к нему не выйдешь:
Огромный восьмиверстный пляж.
Огромный пляж из голых галек
На все глядящий без пелен
И зоркий, как глазной хрусталик,
Незастекленный небосклон.
Мне хочется домой, в огромность
Квартиры, наводящей грусть.
Войду, сниму пальто, опомнюсь,
Огнями улиц озарюсь.
Перегородок тонкоребрость
Пройду насквозь, пройду, как свет.
Пройду, как образ входит в образ
И как предмет сечет предмет.
Пускай пожизненность задачи,
Врастающей в заветы дней,
Зовется жизнию сидячей,
И по такой, грущу по ней.
Опять знакомостью напева
Пахнут деревья и дома.
Опять направо и налево
Пойдет хозяйничать зима.
Опять к обеду на прогулке
Наступит темень, просто страсть.
Опять научит переулки
Охулки на руки не класть.
Опять повалят с неба взятки,
Опять укроет к утру вихрь
Осин подследственных десятки
Сукном сугробов снеговых.
Опять опавшей сердца мышцей
Услышу и вложу в слова,
Как ты ползешь и как дымишься.
Встаешь и строишься, Москва.
И я приму тебя, как упряжь,
Тех ради будущих безумств,
Что ты, как стих, меня зазубришь,
Как быль, запомнишь наизусть.

Здесь будет облик гор в покое.
Обман безмолвья, гул во рву;
Их тишь; стесненное, крутое
Волненье первых рандеву.

Светало. За Владикавказом
Чернело что-то. Тяжело
Шли тучи. Рассвело не разом.
Светало, но не рассвело.

Верст за шесть чувствовалась тяжесть
Обвившей выси темноты,
Хоть некоторые, куражась,
Старались скинуть хомуты.

Каким-то сном несло оттуда.
Как в печку вмазанный казан,
Горшком отравленного блюда
Внутри дымился Дагестан.

Он к нам катил свои вершины
И, черный сверху до подошв,
Так и рвался принять машину
Не в лязг кинжалов, так под дождь.

В горах заваривалась каша.
За исполином исполин,
Один другого злей и краше,
Спирали выход из долин.

Зовите это как хотите,
Но все кругом одевший лес
Бежал, как повести развитье,
И сознавал свой интерес.

Он брал не фауной фазаньей,
Не сказочной осанкой скал,
Он сам пленял, как описанье,
Он что-то знал и сообщал.

Он сам повествовал о плене
Вещей, вводимых не на час,
Он плыл отчетом поколений,
Служивших за сто лет до нас.

Шли дни, шли тучи, били зорю,
Седлали, повскакавши с тахт,
И в горы рощами предгорья
И вон из рощ, как этот тракт.

И сотни новых вслед за теми,
Тьмы крепостных и тьмы служак,

Тьмы ссыльных, имена и семьи,
За родом род, за шагом шаг.

За годом год, за родом племя,
К горам во мгле, к горам под стать
Горянкам за чадрой в гареме,
За родом род, за пядью пядь.
И в неизбывное насилье
Колонны, шедшие извне,
На той войне черту вносили,
Не виданную на войне.
Чем движим был поток их? Тем ли,
Что кто-то посылал их в бой?
Или, влюбляясь в эту землю,
Он дальше влекся сам собой?
Страны не знали в Петербурге,
И злясь, как на сноху свекровь,
Жалели сына в глупой бурке
За чертову его любовь.
Она вселяла гнев в отчизне,
Как ревность в матери, но тут
Овладевали ей, как жизнью,
Или как женщину берут.
Вот чем лесные дебри брали,
Когда на рубеже их царств
Предупрежденьем о дарьяле
Со дна оврага вырос ларс.
Все смолкло, сразу впав в немилость,
Все стало гулом: сосны, мгла…
Все громкой тишиной дымилось,
Как звон во все колокола.
Кругом толпились гор отроги,
И новые отроги гор
Входили молча по дороге
И уходили в коридор.
А в их толпе у парапета
Из-за угла, как пешеход,
Прошедший на рассвете млеты,
Показывался небосвод.
Он дальше шел. Он шел отселе,
Как всякий шел. Он шел из мглы
Удушливых ушей ущелья
Верблюдом сквозь ушко иглы.
Он шел с котомкой по дну балки,
Где кости круч и облака
Торчат, как палки катафалка,
И смотрят в клетку рудника.

На дне той клетки едким натром
Травится Терек, и руда
Орет пред всем амфитеатром
От боли, страха и стыда.

Он шел породой, бьющей настежь
Из преисподней на простор,
А эхо, как шоссейный мастер,
Сгребало в пропасть этот сор.

Уж замка тень росла из крика
Обретших слово, а в горах,
Как мамкой пуганый заика,
Мычал и таял девдорах.

Мы были в Грузии. Помножим
Нужду на нежность, ад на рай,
Теплицу льдам возьмем подножьем,
И мы получим этот край.

И мы поймем в сколь тонких дозах
С землей и небом входят в смесь
Успех и труд, и долг, и воздух,
Чтоб вышел человек, как здесь.

Чтобы, сложившись средь бескормиц,
И поражений, и неволь,
Он стал образчиком, оформясь
Во что-то прочное, как соль.

Кавказ был весь как на ладони
И весь как смятая постель,
И лед голов синел бездонней
Тепла нагретых пропастей.

Туманный, не в своей тарелке,
Он правильно, как автомат,
Вздымал, как залпы перестрелки,
Злорадство ледяных громад.

И в эту красоту уставясь
Глазами бравших край бригад,
Какую ощутил я зависть
К наглядности таких преград!

О, если б нам подобный случай,
И из времен, как сквозь туман,
На нас смотрел такой же кручей
Наш день, наш генеральный план!

Передо мною днем и ночью
Шагала бы его пята,
Он мял бы дождь моих пророчеств
Подошвой своего хребта.

Ни с кем не надо было б грызться.

Не заподозренный никем,
Я вместо жизни виршеписца
Повел бы жизнь самих поэм.
Ты рядом, даль социализма.
Ты скажешь близь? Средь тесноты,
Во имя жизни, где сошлись мы,
Переправляй, но только ты.
Ты куришься сквозь дым теорий,
Страна вне сплетен и клевет,
Как выход в свет и выход к морю,
И выход в Грузию из млет.
Ты край, где женщины в Путивле
Зегзицами не плачут впредь,
И я всей правдой их счастливлю,
И ей не надо прочь смотреть.
Где дышат рядом эти обе,
А крючья страсти не скрипят
И не дают в остатке дроби
К беде родившихся ребят.
Где я не получаю сдачи
Разменным бытом с бытия,
Но значу только то, что трачу,
А трачу все, что знаю я.
Где голос, посланный вдогонку
Необоримой новизне,
Весельем моего ребенка
Из будущего вторит мне.
Здесь будет все: пережитое
В предвиденьи и наяву,
И те, которых я не стою,
И то, за что средь них слыву.
И в шуме этих категорий
Займут по первенству куплет
Леса аджарского предгорья
У взморья белых кобулет.
Еще ты здесь, и мне сказали,
Где ты сейчас и будешь в пять,
Я б мог застать тебя в курзале,
Чем даром языком трепать.
Ты б слушала и молодела,
Большая, смелая, своя,
О человеке у предела,
Которому не век судья.

Есть в опыте больших поэтов
Черты естественности той,
Что невозможно, их изведав,
Не кончить полной немотой.

В родстве со всем, что есть, уверясь
И знаясь с будущим в быту,
Нельзя не впасть к концу, как в ересь,

В неслыханную простоту.

Но мы пошажены не будем,
Когда ее не утаим.
Она всего нужнее людям,
Но сложное понятней им.

Октябрь, а солнце, что твой август,
И снег, ожегший первый холм,
Усугубляет тугоплавкость
Катящихся как вафли волн.

Когда он платиной из тигля
Просвечивает сквозь листву,
Чернее лиственицы иглы,
И снег ли то по существу?

Он блещет снимком лунной ночи,
Рассматриваемой в обед,
И сообщает пошлость сочи
Природе скромных кобулет.

И все ж, то знак: зима при дверях,
Почтим же лета эпилог.
Простимся с ним, пойдем на берег
И ноги окунем в белок.

Растет и крепнет ветра натиск,
Растут фигуры на ветру.
Растут и, кутаясь и пятясь,
Идут вдоль волн, как на смотру.

Обходят линию прибоя,
Уходят в пены перезвон,
И с ними, выгнувшись трубою,
Здоровается горизонт.

2

Баллада

Дрожат гаражи автобазы,
Нет-нет, как кость, взблеснет костел.
Над парком падают топазы,
Слепых зарниц бурлит котел.
В саду табак, на тротуаре
Толпа, в толпе гуденье пчел.
Разрывы туч, обрывки арий,
Недвижный Днепр, ночной подол.

«пришел», летит от вяза к вязу,
И вдруг становится тяжел
Как бы достигший высшей фазы
Бессонный запах матиол.
«Пришел», летит от пары к паре,
«Пришел», стволу лепечет ствол.
Потоп зарниц, гроза в разгаре,
Недвижный Днепр, ночной подол.
Удар, другой, пассаж, и сразу
В шаров молочный ореол
Шопена траурная фраза
Вплывает, как больной орел.
Под ним угар араукарий,
Но глух, как будто что обрел,
Обрывы донизу обшаря,
Недвижный Днепр, ночной подол.
Полет орла, как ход рассказа.
В нем все соблазны южных смол
И все молитвы и экстазы
За сильный и за слабый пол.
Полет сказанье об икаре.
Но тихо с круч ползет подзол,
И глух, как каторжник на каре,
Недвижный Днепр, ночной подол.
Вам в дар баллада эта, гарри.
Воображенья произвол
Не тронул строк о вашем даре:
Я видел все, что в них привел.
Запомню и не разбазарю:
Метель полночных матиол.
Концерт и парк на крутояре.
Недвижный Днепр, ночной подол.

Вторая баллада

На даче спят. В саду, до пят
Подветренном, кипят лохмотья.
Как флот в трехъярусном полете,
Деревьев паруса кипят.

Лопатами, как в листопад,
Гребут березы и осины.
На даче спят, укрывши спину,
Как только в раннем детстве спят.

Ревет фагот, гудит набат.
На даче спят под шум без плоти,
Под ровный шум на ровной ноте,
Под ветра яростный надсад.
Льет дождь, он хлынул с час назад.

Кипит деревьев парусина.
Льет дождь. На даче спят два сына,
Как только в раннем детстве спят.

Я просыпаюсь. Я объят
Открывшимся. Я на учете.
Я на земле, где вы живете,
И ваши тополя кипят.
Льет дождь. Да будет так же свят,
Как их невинная лавина…
Но я уж сплю наполовину,
Как только в раннем детстве спят.

Льет дождь. Я вижу сон: я взят
Обратно в ад, где все в комплоте,
И женщин в детстве мучат тети,
А в браке дети теребят.
Льет дождь. Мне снится: из ребят
Я взят в науку к исполину,
И сплю под шум, месящий глину,
Как только в раннем детстве спят.

Светает. Мглистый банный чад.
Балкон плывет, как на плашкоте.
Как на плотах, кустов щепоти
И в каплях потный тес оград.
(я видел вас раз пять подряд.)

Спи, быль. Спи жизни ночью длинной.
Усни, баллада, спи, былина,
Как только в раннем детстве спят.
Лето

Ирпень это память о людях и лете,
О воле, о бегстве из-под кабалы,
О хвое на зное, о сером левкое
И смене безветрия, ведра и мглы.

О белой вербене, о терпком терпеньи
Смолы; о друзьях, для которых малы
Мои похвалы и мои восхваленья,
Мои славословья, мои похвалы.
Пронзительных иволог крик и явленье
Китайкой и углем желтило стволы,
Но сосны не двигали игол от лени
И белкам и дятлам сдавали углы.
Сырели комоды, и смену погоды
Древесная квакша вещала с сучка,
И балка у входа ютила удода,
И, детям в угоду, запечье сверчка.
В дни съезда шесть женщин топтали луга.
Лениво паслись облака в отдаленьи.

Смеркалось, и сумерек хитрый маневр
Сводил с полутьмою зажженный репейник,
С землею саженные тени ирпенек
И с небом пожар полосатых панев.
Смеркалось, и, ставя простор на колени,
Загон горизонта смыкал полукруг.
Зарницы вздымали рога по-оленьи,
И с сена вставали и ели из рук
Подруг, по приходе домой, тем не мене
От жуликов дверь запиравших на крюк.
В конце, пред отъездом, ступая по кипе
Листвы облетелой в жару бредовом,
Я с неба, как с губ, перетянутых сыпью,
Налет недомолвок сорвал рукавом.
И осень, дотоле вопившая выпью,
Прочистила горло; и поняли мы,
Что мы на пиру в вековом прототипе
На пире Платона во время чумы.
Откуда же эта печаль, диотима?
Каким увереньем прервать забытье?
По улицам сердца из тьмы нелюдимой!
Дверь настежь! За дружбу, спасенье мое!
И это ли происки Мэри арфистки,
Что рока игрою ей под руки лег
И арфой шумит ураган аравийский,
Бессмертья, быть может, последний залог.

Смерть поэта

Не верили, считали бредни,
Но узнавали от двоих,
Троих, от всех. Равнялись в строку
Остановившегося срока
Дома чиновниц и купчих,
Дворы, деревья, и на них
Грачи, в чаду от солнцепека
Разгоряченно на грачих
Кричавшие, чтоб дуры впредь не
Совались в грех, да будь он лих.
Лишь был на лицах влажный сдвиг,
Как в складках порванного бредня.

Был день, безвредный день, безвредней
Десятка прежних дней твоих.
Толпились, выстроясь в передней,
Как выстрел выстроил бы их.

Ты спал, постлав постель на сплетне,
Спал и, оттрепетав, был тих,
Красивый, двадцатидвухлетний,

Как предсказал твой тетраптих.

Ты спал, прижав к подушке щеку,
Спал со всех ног, со всех лодыг
Врезаясь вновь и вновь с наскоку
В разряд преданий молодых.
Ты в них врезался тем заметней,
Что их одним прыжком достиг.
Твой выстрел был подобен Этне
В предгорьи трусов и трусих.

3

Годами когда-нибудь в зале концертной

Годами когда-нибудь в зале концертной
Мне Брамса сыграют тоской изойду.
Я вздрогну, я вспомню союз шестисердый,
Прогулки, купанье и клумбу в саду.

Художницы робкой, как сон, крутолобость,
С беззлобной улыбкой, улыбкой взахлеб,
Улыбкой, огромной и светлой, как глобус,
Художницы облик, улыбку и лоб.

Мне Брамса сыграют, я вздрогну, я сдамся,
Я вспомню покупку припасов и круп,
Ступеньки террасы и комнат убранство,
И брата, и сына, и клумбу, и дуб.

Художница пачкала красками траву,
Роняла палитру, совала в халат
Набор рисовальный и пачки отравы,
Что «басмой» зовутся и астму сулят.
Мне Брамса сыграют, я сдамся, я вспомню
Упрямую заросль, и кровлю, и вход,
Балкон полутемный и комнат питомник,
Улыбку, и облик, и брови, и рот.
И вдруг, как в открывшемся в сказке сезаме,
Предстанут соседи, друзья и семья,
И вспомню я всех, и зальюсь я слезами,
И вымокну раньше, чем выплачусь, я.
И станут кружком на лужке интермеццо,
Руками, как дерево, песнь охватив,
Как тени, вертеться четыре семейства
Под чистый, как детство, немецкий мотив.

Не волнуйся, не плачь, не труди

Не волнуйся, не плачь, не труди
Сил иссякших, и сердца не мучай.
Ты жива, ты во мне, ты в груди,
Как опора, как друг и как случай.
Верой в будущее не боюсь
Показаться тебе краснобаем.
Мы не жизнь, не душевный союз,
Обоюдный обман обрубаем.
Из тифозной тоски тюфяков
Вон на воздух широт образцовый!
Он мне брат и рука. Он таков,
Что тебе, как письмо, адресован.
Надорви ж его вширь, как письмо,
С горизонтом вступи в переписку,
Победи изнуренья измор,
Заведи разговор по-альпийски.
И над блюдом баварских озер
С мозгом гор, точно кости мослатых,
Убедишься, что я не фразер
С заготовленной к месту подсласткой.
Добрый путь. Добрый путь. Наша связь,
Наша честь не под кровлею дома.
Как росток на снегу распрямясь,
Ты посмотришь на все по-другому.

Окно, пюпитр и, как овраги эхом

Окно, пюпитр и, как овраги эхом,
Полны ковры всем игранным. В них есть
Невысказанность. Здесь могло с успехом
Сквозь исполненье авторство процвесть.

Окно не на две створки alla Bree,[9]
Но шире, на три: в ритме трех вторых.
Окно, и двор, и белые деревья,
И снег, и ветки, свечи пятерик.

Окно, и ночь, и пульсом бьющий иней
В ветвях, в узлах височных жил. Окно,
И синий лес висячих нотных линий,
И двор. Здесь жил мой друг. Давным-давно

Смотрел отсюда я за круг Сибири,
Но друг и сам был городом, как Омск
И Томск, был кругом войн и перемирий

---

[9] кратко (итал.), Укороченный счет 2/2 (муз).

И кругом свойств, занятий и знакомств.

И часто-часто, ночь о нем продумав,
Я утра ждал у трех оконных створ.
И муторным концертом мертвых шумов
Копался в мерзлых внутренностях двор.

И мерил я полуторною мерой
Судьбы и жизни нашей недомер,
В душе ж, как в детстве, снова шел премьерой
Большого неба ветреный пример.

Любить иных тяжелый крест

Любить иных тяжелый крест,
А ты прекрасна без извилин,
И прелести твоей секрет
Разгадке жизни равносилен.

Весною слышен шорох снов
И шелест новостей и истин.
Ты из семьи таких основ.
Твой смысл, как воздух, бескорыстен.

Легко проснуться и прозреть,
Словесный сор из сердца вытрясть
И жить, не засоряясь впредь,
Все это не большая хитрость.

Все снег да снег, терпи и точка

Все снег да снег, терпи и точка.
Скорей уж, право б, дождь прошел
И горькой тополевой почкой
Подруги сдобрил скромный стол.
Зубровкой сумрак бы закапал,
Укропу к супу б накрошил,
Бокалы, грохотом вокабул,
Латынью ливня оглушил.
Тупицу б двинул по затылку,
Мы в ту пору б оглохли, но
Откупорили б, как бутылку,
Заплесневелое окно,
И гам ворвался б: "Ливень заслан
К чертям, куда Макар телят
Не ганивал…" И солнце маслом
Асфальта б залило салат.
А вскачь за громом, за четверкой

Ильи пророка, под струи
Мои телячьи бы восторги,
Телячьи нежности твои.

Мертвецкая мгла

Мертвецкая мгла,
И с тумбами вровень
В канавах тела
Утопленниц-кровель.
Оконницы служб
И охра покоев
В покойницкой луж,
И лужи рекою.
И в них извозцы,
И дрожек разводы,
И взят под уздцы
Битюг небосвода.
И капли в кустах,
И улица в тучах,
И щебеты птах,
И почки на сучьях.
И все они, все
Выходят со мною
Пустынным шоссе
На поле ямское.

Где спят фонари
И даль, как чужая:
Ее снегири
Зарей оглушают.

Опять на гроши
Грунтами несмело
Творится в тиши
Великое дело.

Платки, подборы, жгучий взгляд

Платки, подборы, жгучий взгляд
Подснежников не оторваться.
И грязи рыжий шоколад
Не выровнен по ватерпасу.

Но слякоть месит из лучей
Весну и сонный стук каменьев,
И птичьи крики мнет ручей,
Как лепят пальцами пельмени.

Платки, оборки благодать!
Проталин черная лакрица…
Сторицей дай тебе воздать
И, как реке, вздохнуть и вскрыться.

Дай мне, превысив нивелир,
Благодарить тебя до сипу
И сверху окуни свой мир,
Как в зеркало, в мое спасибо.

Толпу и тумбы опрокинь,
И желоба в слюне и пене,
И неба роговую синь,
И облаков пустые тени.

Слепого полдня желатин,
И желтые очки промоин,
И тонкие слюдинки льдин,
И кочки с черной бахромою.

Любимая, молвы слащавой,
Как угля, вездесуща гарь.
А ты подспудной тайной славы
Засасывающий словарь.

А слава почвенная тяга.
О, если б я прямей возник!
Но пусть и так, не как бродяга,
Родным войду в родной язык.

Теперь не сверстники поэтов,
Вся ширь проселков, меж и лех
Рифмует с Лермонтовым лето
И с Пушкиным гусей и снег.
И я б хотел, чтоб после смерти,
Как мы замкнемся и уйдем,
Тесней, чем сердце и предсердье,
Зарифмовали нас вдвоем.
Чтоб мы согласья сочетаньем
Застлали слух кому-нибудь
Всем тем, что сами пьем и тянем
И будем ртами трав тянуть.

Красавица моя, вся стать

Красавица моя, вся стать,
Вся суть твоя мне по сердцу,
Вся рвется музыкою стать,
И вся на рифму просится.

А в рифмах умирает рок,
И правдой входит в наш мирок
Миров разноголосица.
И рифма не вторенье строк,
А гардеробный номерок,
Талон на место у колонн
В загробный гул корней и лон.
И в рифмах дышит та любовь,
Что тут с трудом выносится,
Перед которой хмурят бровь
И морщат переносицу.
И рифма не вторенье строк,
Но вход и пропуск за порог,
Чтоб сдать, как плащ за бляшкою
Болезни тягость тяжкую,
Боязнь огласки и греха
За громкой бляшкою стиха.
Красавица моя, вся суть,
Вся стать твоя, красавица,
Спирает грудь и тянет в путь,
И тянет петь и нравится.
Тебе молился поликлет.
Твои законы изданы.
Твои законы в далях лет.
Ты мне знакома издавна.

4

Кругом семенящейся ватой

Кругом семенящейся ватой,
Подхваченной ветром с аллей,
Гуляет, как призрак разврата,
Пушистый ватин тополей.

А в комнате пахнет, как ночью
Болотной фиалкой. Бока
Опущенной шторы морочат
Доверье ночного цветка.

В квартире прохлада усадьбы.
Не жертвуя ей для бесед,
В разлуке с тобой и писать бы,
Внося пополненья в бюджет.

Но грусть одиноких мелодий
Как участь бульварных семян,
Как спущенной шторы бесплодье,
Вводящей фиалку в обман.

Ты стала настолько мне жизнью,
Что все, что не к делу, долой,
И вымыслов пить головизну
Тошнит, как от рыбы гнилой.

И вот я вникаю на ощупь
В доподлинной повести тьму.
Зимой мы расширим жилплощадь,
Я комнату брата займу.

В ней шум уплотнителей глуше,
И слушаться будет жадней,
Как битыми днями баклуши
Бьют зимние тучи над ней.

Никого не будет в доме

Никого не будет в доме,
Кроме сумерек. Один
Зимний день в сквозном проеме
Незадернутых гардин.

Только белых мокрых комьев
Быстрый промельк маховой.
Только крыши, снег и, кроме
Крыш и снега, никого.

И опять зачертит иней,
И опять завертит мной
Прошлогоднее унынье
И дела зимы иной,
И опять кольнут доныне
Неотпущенной виной,
И окно по крестовине
Сдавит голод дровяной.
Но нежданно по портьере
Пробежит вторженья дрожь.
Тишину шагами меря,
Ты, как будущность, войдешь.
Ты появишься у двери
В чем-то белом, без причуд,
В чем-то впрямь из тех материй,
Из которых хлопья шьют.

Ты здесь, мы в воздухе одном

Ты здесь, мы в воздухе одном.

Твое присутствие, как город,
Как тихий киев за окном,
Который в зной лучей обернут,
Который спит, не опочив,
И сном борим, но не поборот,
Срывает с шеи кирпичи,
Как потный чесучевый ворот,
В котором, пропотев листвой
От взятых только что препятствий,
На побежденной мостовой
Устало тополя толпятся.
Ты вся, как мысль, что этот Днепр
В зеленой коже рвов и стежек,
Как жалобная книга недр
Для наших записей расхожих.
Твое присутствие, как зов
За полдень поскорей усесться
И, перечтя его с азов,
Вписать в него твое соседство.

Опять Шопен не ищет выгод

Опять Шопен не ищет выгод,
Но, окрыляясь на лету,
Один прокладывает выход
Из вероятья в правоту.

Задворки с выломанным лазом,
Хибарки с паклей по бортам.
Два клена в ряд, за третьим, разом
Соседней рейтарской квартал.

Весь день внимают клены детям,
Когда ж мы ночью лампу жжем
И листья, как салфетки, метим,
Крошатся огненным дождем.

Тогда, насквозь проколобродив
Штыками белых пирамид,
В шатрах каштановых напротив
Из окон музыка гремит.

Гремит Шопен, из окон грянув,
А снизу, под его эффект
Прямя подсвечники каштанов,
На звезды смотрит прошлый век.

Как бьют тогда в его сонате,
Качая маятник громад,
Часы разъездов и занятий,

И снов без смерти, и фермат!

Итак, опять из-под акаций
Под экипажи парижан?
Опять бежать и спотыкаться,
Как жизни тряский дилижанс?

Опять трубить, и гнать, и звякать,
И, мякоть в кровь поря, опять
Рождать рыданье, но не плакать,
Не умирать, не умирать?

Опять в сырую ночь в мальпосте
Проездом в гости из гостей
Подслушать пенье на погосте
Колес, и листьев, и костей?

В конце ж, как женщина, отпрянув
И чудом сдерживая прыть
Впотьмах приставших горлопанов,
Распятьем фортепьян застыть?

А век спустя, в самозащите
Задев за белые цветы,
Разбить о плиты общежитий
Плиту крылатой правоты.

Опять? И, посвятив соцветьям
Рояля гулкий ритуал,
Всем девятнадцатым столетьем
Упасть на старый тротуар.

5

Вечерело. Повсюду ретиво

Вечерело. Повсюду ретиво
Рос орешник. Мы вышли на скат.
Нам открылась картина на диво.
Отдышась, мы взглянули назад.
По краям пропастей куролеся,
Там, как прежде, при нас, напролом
Совершало подъем мелколесье,
Попирая гнилой бурелом.
Там, как прежде, в фарфоровых гнездах
Колченого хромал телеграф,
И дышал и карабкался воздух,
Грабов головы кверху задрав.
Под прорешливой сенью орехов

Там, как прежде, в петлистой красе
По заре вечеревшей проехав,
Колесило и рдело шоссе.
Каждый спуск и подъем что-то чуял,
Каждый столб вспоминал про разбой,
И все тулово вытянув, буйвол
Голым дьяволом плыл под арбой.
А вдали, где как змеи на яйцах,
Тучи в кольца свивались, грозней,
Чем былые набеги ногайцев,
Стлались цепи китайских теней.
То был ряд усыпальниц, в завесе
Заметенных снегами путей
За кулисы того поднебесья,
Где томился и мерк Прометей.
Как усопших представшие души,
Были все ледники налицо.
Солнце тут же японскою тушью
Переписывало мертвецов.
И тогда, вчетвером на отвесе,
Как один, заглянули мы вниз.
Мельтеша, точно чернь на эфесе,
В глубине шевелился Тифлис.
Он так полно осмеивал сферу
Глазомера и все естество,
Что возник и остался химерой,
Точно град не от мира сего.

Точно там, откупаяся данью,
Длился век, когда жизнь замерла
И горячие серные бани
Из-за гор воевал Тамерлан.

Будто вечер, как встарь, его вывел
На равнину под персов обстрел,
Он малиною кровель червивел
И, как древнее войско, пестрел.

Пока мы по Кавказу лазаем

Пока мы по Кавказу лазаем,
И в задыхающейся раме
Кура ползет атакой газовою
К арагве, сдавленной горами,
И в августовский свод из мрамора,
Как обезглавленных гортани,
Заносят яблоки адамовы
Казненных замков очертанья.

Пока я голову заламываю,

Следя, как шеи укреплений
Плывут по синеве сиреневой
И тонут в бездне поколений,
Пока, сменяя рощи вязовые,
Курчавится лесная мелочь,
Что шепчешь ты, что мне подсказываешь,
Кавказ, Кавказ, о что мне делать!

Объятье в тысячу охватов,
Чем обеспечен твой успех?
Здоровый глаз за веко спрятав,
Над чем смеешься ты, Казбек?
Когда от высей сердце екает
И гор колышутся кадила,
Ты думаешь, моя далекая,
Что чем-то мне не угодила.
И там, у Альп в дали германии,
Где так же чокаются скалы,
Но отклики еще туманнее,
Ты думаешь, ты оплошала?

Я брошен в жизнь, в потоке дней
Катящую потоки рода,
И мне кроить свою трудней,
Чем резать ножницами воду.
Не бойся снов, не мучься, брось.
Люблю и думаю и знаю.
Смотри: и рек не мыслит врозь
Существованья ткань сквозная.

6

О, знал бы я, что так бывает

О, знал бы я, что так бывает,
Когда пускался на дебют,
Что строчки с кровью убивают,
Нахлынут горлом и убьют!
От шуток с этой подоплекой
Я б отказался наотрез.
Начало было так далеко,
Так робок первый интерес.
Но старость это Рим, который
Взамен турусов и колес
Не читки требует с актера,
А полной гибели всерьез.
Когда строку диктует чувство,
Оно на сцену шлет раба,
И тут кончается искусство,

И дышат почва и судьба.

Когда я устаю от пустозвонства

Когда я устаю от пустозвонства
Во все века вертевшихся льстецов,
Мне хочется, как сон при свете солнца,
Припомнить жизнь и ей взглянуть в лицо.
Незванная, она внесла, во-первых,
Во все, что сталось, вкус больших начал.
Я их не выбирал, и суть не в нервах,
Что я не жаждал, а предвосхищал.
И вот года строительного плана,
И вновь зима, и вот четвертый год,
Две женщины, как отблеск ламп Светлана,
Горят и светят средь его тягот.
Мы в будущем, твержу я им, как все, кто
Жил в эти дни. А если из калек,
То все равно: телегою проекта
Нас переехал новый человек.
Когда ж от смерти не спасет таблетка,
То тем свободней время поспешит
В ту даль, куда вторая пятилетка
Протягивает тезисы души.

Тогда не убивайтесь, не тужите,
Всей слабостью клянусь остаться в вас.
А сильными обещано изжитье
Последних язв, одолевавших нас.

Стихи мои, бегом, бегом

Стихи мои, бегом, бегом.
Мне в вас нужда, как никогда.
С бульвара за угол есть дом,
Где дней порвалась череда,
Где пуст уют и брошен труд,
И плачут, думают и ждут.

Где пьют, как воду, горький бром
Полубессонниц, полудрем.
Есть дом, где хлеб как лебеда,
Есть дом, так вот бегом туда.

Пусть вьюга с улиц улюлю,
Вы радугой по хрусталю,
Вы сном, вы вестью: я вас шлю,
Я шлю вас, значит, я люблю.

О ссадины вкруг женских шей
От вешавшихся фетишей!
Как я их знаю, как постиг,
Я, вешающийся на них.
Всю жизнь я сдерживаю крик
О видимости их вериг,
Но их одолевает ложь
Чужих похолодевших лож,
И образ синей бороды
Сильнее, чем мои труды.

Наследье страшное мещан,
Их посещает по ночам
Несуществующий, как Вий,
Обидный призрак нелюбви,
И привиденьем искажен
Природный жребий лучших жен.

О, как она была смела,
Когда едва из-под крыла
Любимой матери, шутя,
Свой детский смех мне отдала,
Без прекословий и помех
Свой детский мир и детский смех,
Обид не знавшее дитя,
Свои заботы и дела.

Еще не умолкнул упрек

Еще не умолкнул упрек
И слезы звенели в укоре,
С рассветом к тебе на порог
Нагрянуло новое горе.
Скончался большой музыкант,
Твой идол и родич, и этой
Утратой открылся закат
Уюта и авторитета.
Стояли, от слез охмелев
И астр тяжеля переливы,
Белел алебастром рельеф
Одной головы горделивой.
Черты в две орлиных дуги
Несли на буксире квартиру,
Обрывки цветов, и шаги,
И приторный привкус эфира.
Твой обморок мира не внес
В качанье венков в одноколке,
И пар обмороженных слез
Пронзил нашатырной иголкой.

И марш похоронный роптал,
И снег у ворот был раскидан,
И консерваторский портал
Гражданскою плыл панихидой.
Меж пальм и московских светил,
К которым ковровой дорожкой
Я тихо тебя подводил,
Играла огромная брошка.
Орган отливал серебром,
Немой, как в руках ювелира,
А издали слышался гром,
Катившийся из-за полмира.
Покоилась люстр тишина,
И в зареве их бездыханном
Играл не орган, а стена,
Украшенная органом.
Ворочая балки, как слон,
И освобождаясь от бревен,
Хорал выходил, как Самсон,
Из кладки, где был замурован.
Томившийся в ней поделом,
Но пущенный из заточенья,
Он песнею несся в пролом
О нашем с тобой обрученьи.

Как сборы на общий венок,
Плетни у заставы чернели.
Короткий морозный денек
Вечерней звенел ритурнелью.

Воспользовавшись темнотой,
Нас кто-то догнал на моторе.
Дорога со всей прямотой
Направилась на крематорий.

С заставы дул ветер и снег,
Как на рубежах у варшавы,
Садился на брови и мех
Снежинками смежной державы.

Озябнувшие москвичи
Шли полем, и вьюжная нежить
Уже выносила ключи
К затворам последних убежищ.

Но он был любим. Ничего
Не может пропасть. Еще мене
Семья и талант. От него
Остались броски сочинений.

Ты дома подымешь пюпитр,
И, только коснешься до клавиш,

Попытка тебя ослепит,
И ты ей все крылья расправишь.

И будет январь и луна,
И окна с двойным позументом
Ветвей в серебре галуна,
И время пройдет незаметно.
А то, удивившись на миг,
Спохватишься ты на концерте,
Насколько скромней нас самих
Вседневное наше бессмертье.

7

Весенний день тридцатого апреля

Весенний день тридцатого апреля
С рассвета отдается детворе.
Захваченный примеркой ожерелья,
Он еле управляется к заре.

Как горы мятой ягоды под марлей,
Всплывает город из-под кисеи.
По улицам шеренгой куцых карлиц
Бульвары тянут сумерки свои.

Вечерний мир всегда бутон кануна.
У этого ж особенный почин.
Он расцветет когда-нибудь коммуной
В скрещеньи многих майских годовщин.
Он долго будет днем переустройства,
Предпраздничных уборок и затей,
Как были до него березы тройцы
И, как до них, огни панатеней.
Все так же будут бить песок размякший
И на иллюминованный карниз
Подтаскивать кумач и тес. Все так же
По сборным пунктам развозить актрис.
И будут бодро по трое матросы
Гулять по скверам, огибая дерн.
И к ночи месяц в улицы вотрется,
Как мертвый город и остывший горн.
Но с каждой годовщиной все махровей
Тугой задаток розы будет цвесть,
Все явственнее прибывать здоровье,
И все заметней искренность и честь.
Все встрепаннее, все многолепестней
Ложиться будут первого числа
Живые нравы, навыки и песни

В луга и пашни и на промысла.
Пока, как запах мокрых центифолий,
Не вырвется, не выразится вслух,
Не сможет не сказаться поневоле
Созревших лет перебродивший дух.

Столетье с лишним не вчера

Столетье с лишним не вчера,
А сила прежняя в соблазне
В надежде славы и добра
Глядеть на веши без боязни.
Хотеть в отличье от хлыща
В его существованьи кратком,
Труда со всеми сообща
И заодно с правопорядком.
И тот же тотчас же тупик
При встрече с умственною ленью,
И те же выписки из книг,
И тех же эр сопоставленье.

Но лишь сейчас сказать пора,
Величьем дня сравненье разня:
Начало славных дней Петра
Мрачили мятежи и казни.

Итак, вперед, не трепеща
И утешаясь параллелью,
Пока ты жив, и не моща,
И о тебе не пожалели.

Весеннею порою льда

Весеннею порою льда
И слез, весной бездонной,
Весной бездонною, когда
В Москве конец сезона,
Вода доходит в холода
По пояс небосклону,
Отходят рано поезда,
Пруды желто-лимонны,
И проводы, как провода,
Оттянуты в затоны.

Когда ручьи поют романс
О непролазной грязи,
И вечер явно не про нас
Таинственен и черномаз,

И неба безобразье
Как речь сказителя из масс
И женщин до потопа,
Как обаянье без гримас
И отдых углекопа.

Когда какой-то брод в груди,
И лошадью на броде
В нас что-то плачет: пощади,
Как площади отродье.
Но столько в лужах позади
Затопленных мелодий,
Что вставил вал и заводи
Машину половодья.

Какой в нее мне вставить вал?
Весна моя, не сетуй.
Печали час твоей совпал
С преображеньем света.

Струитесь, черные ручьи.
Родимые, струитесь.
Примите в заводи свои
Околицы строительств.

Их марева как облака
Зарей неторопливой.
Как август, жаркие века
Стопили их наплывы.
В краях заката стаял лед.
И по воде, оттаяв,
Гнездом сполоснутым плывет
Усадьба без хозяев.
Прощальных слез не осуша
И плакав вечер целый,
Уходит с запада душа,
Ей нечего там делать.
Она уходит, как весной
Лимонной желтизною
Закатной заводи лесной
Пускаются в ночное.
Она уходит в перегной
Потопа, как при Ное,
И ей не боязно одной
Бездонною весною.
Пред нею край, где в поясной
Поклон не вгонят стона,
Из сердца девушки сенной
Не вырежут фестона.
Пред ней заря, пред ней и мной
Зарей желто-лимонной
Простор, затопленный весной,

Весной, весной бездонной.
И так как с малых детских лет
Я ранен женской долей,
И след поэта только след
Ее путей, не боле,
И так как я лишь ей задет
И ей у нас раздолье,
То весь я рад сойти на нет
В революцьонной воле.
О том ведь и веков рассказ,
Как, с красотой не справясь,
Пошли топтать не осмотрясь
Ее живую завязь.
А в жизни красоты как раз
И крылась жизнь красавиц.
Но их дурманил лоботряс
И развивал мерзавец.
Венец творенья не потряс
Участвующих и погряз
Во тьме утаек и прикрас.
Отсюда наша ревность в нас
И наша месть и зависть.

На ранних поездах
(1936 – 1944)

Художник

1

Мне по душе строптивый норов
Артиста в силе: он отвык
От фраз, и прячется от взоров,
И собственных стыдится книг.

Но всем известен этот облик.
Он миг для пряток прозевал.
Назад не повернуть оглобли,
Хотя б и затаясь в подвал.

Судьбы под землю не заямить.
Как быть? Неясная сперва,
При жизни переходит в память
Его признавшая молва.

Но кто ж он? На какой арене
Стяжал он поздний опыт свой?
С кем протекли его боренья?

С самим собой, с самим собой.

Как поселенье на гольфштреме,
Он создан весь земным теплом.
В его залив вкатило время
Все, что ушло за волнолом.

Он жаждал воли и покоя,
А годы шли примерно так,
Как облака над мастерскою,
Где горбился его верстак.

2

Как-то в сумерки Тифлиса
Я зимой занес стопу.
Пресловутую теплицу
Лихорадило в гриппу.

Рысью разбегались листья.
По пятам, как сенбернар,
Прыгал ветер в желтом плисе
Оголившихся чинар.

Постепенно все грубело.
Север, черный лежебок,
Вешал ветку изабеллы
Перед входом в погребок.
Быстро таял день короткий,
Кротко шел в щепотку снег.
От его сырой щекотки
Разбирал не к месту смех.
Я люблю их, грешным делом,
Стаи хлопьев, холод губ,
Шапки, шубы, дым из труб.
Я люблю перед бураном
Присмеревшие дворы,
Присмиревшие дворы,
Нашалившей детворы,
И летящих туч обрывки,
И снежинок канитель,
И щипцами для завивки
Их крутящую метель.
Но впервые здесь на юге
Средь порхания пурги
Я увидел в кольцах вьюги
Угли вольтовой дуги.
Ах, с какой тоской звериной,
Трепеща, как стеарин,
Озаряли мандарины

Красным воском лед витрин!
Как на родине миньоны
С гетевским: «Dahin!», «Dahin!»,[10]
Полыхали лампионы
Субтропических долин.
И тогда с коробкой шляпной,
Как модистка синема,
Настигала нас внезапно
Настоящая зима.
Нас отбрасывала в детство
Белокурая копна
В черном котике кокетства
И почти из полусна.

3

Скромный дом, но рюмка рому
И набросков черный грог,
И взамен камор хоромы,
И на чердаке чертог.

От шагов и волн капота
И расспросов ни следа.
В зарешеченном работой
Своде воздуха слюда.

Голос, властный, как полюдье,
Плавит все наперечет.
В горловой его полуде
Ложек олово течет.

Что ему почет и слава,
Место в мире и молва
В миг, когда дыханьем сплава
В слово сплочены слова?

Он на это мебель стопит,
Дружбу, разум, совесть, быт.
На столе стакан не допит,
Век не дожит, свет забыт.

Слитки рифм, как воск гадальный,
Каждый миг меняют вид.
От детей дыханье в спальной
Паром их благословит.

---

[10] "туда!", "Туда!" (Нем.)

4

Он встает. Века, гелаты.
Где-то факелы горят.
Кто провел за ним в палату
Островерхих шапок ряд?

И еще века. Другие.
Те, что после будут. Те,
В уши чьи, пока тугие,
Шепчет он в своей мечте.

Этого хоть захлебнись.
Время пощадит мой почерк
От критических скребниц.

Разве въезд в эпоху заперт?
Пусть он крепость, пусть и храм,
Въеду на коне на паперть,
Лошадь осажу к дверям.

Не гусляр и не балакирь,
Лошадь взвил я на дыбы,
Чтоб тебя, военный лагерь,
Увидать с высот судьбы.

И, едва поводья тронув,
Порываюсь наугад
В широту твоих прогонов,
Что еще во тьме лежат.
Как гроза, в пути объемля
Жизнь и случай, смерть и страсть,
Ты пройдешь умы и земли,
Чтоб преданьем в вечность впасть.
Твой поход изменит местность.
Под чугун твоих подков,
Размывая бессловесность,
Хлынут волны языков.
Крыши городов дорогой,
Каждой хижины крыльцо,
Каждый тополь у порога
Будут знать тебя в лицо.
Безвременно умершему

Немые индивиды,
И небо, как в степи.
Не кайся, не завидуй,
Покойся с миром, спи.
Как прусской пушке берте
Не по зубам Париж,
Ты не узнаешь смерти,

Хоть через час сгоришь.
Эпохи революций
Возобновляют жизнь
Народа, где стрясутся,
В громах других отчизн.
Страницы века громче
Отдельных правд и кривд.
Мы этой книги кормчей
Простой уставный шрифт.
Затем-то мы и тянем,
Что до скончанья дней
Идем вторым изданьем,
Душой и телом в ней.
Но тут нас не оставят.
Лет через пятьдесят,
Как ветка пустит паветвь,
Найдут и воскресят.

Побег не обезлиствел,
Зарубка зарастет.
Так вот в самоубийстве ль
Спасенье и исход?
Деревьев первый иней
Убористым сучьем
Вчерне твоей кончине
Достойно посвящен.

Кривые ветки ольшин
Как реквием в стихах.
И это все; и больше
Не скажешь впопыхах.

Теперь темнеет рано,
Но конный небосвод
С пяти несет охрану
Окраин, рощ и вод.

Из комнаты с венками
Вечерний виден двор
И выезд звезд верхами
В сторожевой дозор.

Прощай. Нас всех рассудит
Невинность новичка.
Покойся. Спи. Да будет
Земля тебе легка.

Путевые записки

1

Не чувствую красот
В Крыму и на Ривьере,
Люблю речной осот,
Чертополоху верю.

Бесславить бедный юг
Считает пошлость долгом,
Он ей, как роем мух,
Засижен и оболган.

А между тем и тут
Сырую прелесть мира
Не вынесли на суд
Для нашего блезира.

2

Как кочегар, на бак
Поднявшись, отдыхает,
Так по ночам табак
В грядах благоухает.
С земли гелиотроп
Передает свой запах
Рассолу флотских роб,
Развешанных на трапах.
В совхозе садовод
Ворочается чаще,
Глаза на небосвод
Из шалаша тараща.
Ночь в звездах, стих норд-ост,
И жерди палисадин
Моргают сквозь нарост
Зрачками виноградин.
Левкой и млечный путь
Одною лейкой полит,
И близостью чуть-чуть
Ему глаза мозолит.

3

Счастлив, кто целиком,
Без тени чужеродья,
Всем детством с бедняком,
Всей кровию в народе.
Я в ряд их не попал,
Но и не ради форса

С шеренгой прихлебал
В родню чужую втерся.
Отчизна с малых лет
Влекла к такому гимну,
Что небу дела нет
Была ль любовь взаимна.
Народ, как дом без кром,
И мы не замечаем,
Что этот свод шатром,
Как воздух, нескончаем.
Он чащи глубина,
Где кем-то в детстве раннем
Давались имена
Событьям и созданьям.

Ты без него ничто.
Он, как свое изделье,
Кладет под долото
Твои мечты и цели.

4

Дымились, встав от сна,
Пространства за навтлугом,
Познанья новизна
Была к моим услугам.

Откинув лучший план,
Я ехал с волокитой,
Дорога на беслан
Была грозой размыта,

Откос пути размяк,
И вспухшая Арагва
Неслась, сорвав башмак
С болтающейся дратвой.

Я видел поутру
С моста за старой мытней
Взбешенную куру
С машиной стенобитной.

5

За прошлого порог
Не вносят произвола.
Давайте с первых строк
Обнимемся, паоло!

Ни разу властью схем
Я близких не обидел,
В те дни вы были всем,
Что я любил и видел.

Входили ль мы в квартал
Оружья, кож и седел,
Везде ваш дух витал
И мною верховодил.

Уступами террас
Из вьющихся глициний
Я мерил ваш рассказ
И слушал, рот разиня.

Не зная ваших строф,
Но полюбив источник,
Я понимал без слов
Ваш будущий подстрочник.

6

Я видел, чем Тифлис
Удержан по откосам,
Я видел даль и близь
Кругом под абрикосом.
Он был во весь отвес,
Как книга с фронтисписом,
На языке чудес
Кистями слив исписан.
По склонам цвел анис,
И, высясь пирамидой,
Смотрели сверху вниз
Сады горы Давида.
Я видел блеск светца
Меж кадок с олеандром,
И видел ночь: чтеца
За старым фолиантом.

7

Я помню грязный двор.
Внизу был винный погреб,
А из чердачных створ
Виднелся гор апокриф.
Собьются тучи в ком
Глазами не осилишь,

А через них гуськом
Бредет толпа страшилищ.
В колодках облаков,
Протягивая шляпы,
Обозы ледников
Тащились по этапу.
Однако иногда
Пред комнатами дома
Кавказская гряда
Вставала по-иному.
На окна и балкон,
Где жарились оладьи,
Смотрел весь южный склон
В серебряном окладе.
Перила галерей
Прохватывало как бы
Морозом алтарей,
Пылавших за арагвой.

Там реял дух земли,
Остановивший время,
Которым мы, врали,
Так грезили в богеме.

Объятья протянув
Из вьюги многогодней,
Стучался в вечность туф
Руками преисподней.

8

Меня б не тронул рай
На вольном ветерочке.
Иным мне дорог край
Родившихся в сорочке.

Живут и у озер
Слепые и глухие,
У этих фантазер
Стал пятою стихией.

Убогие арбы
И хижины без прясел
Он меткостью стрельбы
И шуткою украсил.

Когда во весь свой рост
Встает хребта громада,
Его застольный тост
Венец ее наряда.

9

Чернее вечера,
Заливистее ливни,
И песни овчара
С ночами заунывней.

В горах, средь табуна,
Холодной ночью лунной
Встречаешь чабана.
Он как дольмен валунный.

Он повесть ближних сел.
Поди, что хочешь, вызнай.
Он кнут ременный сплел
Из лиц, имен и жизней.

Он знает: нет того,
Что б в единеньи силы
Народа торжество
В пути остановило.

10

Немолчный плеск солей.
Скалистое ущелье.
Стволы густых елей.
Садовый стол под елью.
На свежем шашлыке
Дыханье водопада,
Он тут невдалеке
На оглушенье саду.
На хлебе и жарком
Угар его обвала,
Как пламя кувырком
Упавшего шандала.
От говора ключей,
Сочащихся из скважин,
Тускнеет блеск свечей,
Так этот воздух влажен.
Они висят во мгле
Сученой ниткой книзу,
Их шум прибит к скале,
Как канделябр к карнизу.

11

Еловый бурлом,
Обрыв тропы овечьей.
Нас много за столом,
Приборы, звезды, свечи.
Как пылкий дифирамб,
Все затмевая оптом,
Огнем садовых ламп
Тицьян Табидзе обдан.
Сейчас он речь начнет
И мыслью на прицеле.
Он слово почерпнет
Из этого ущелья.
Он курит, подперев
Рукою подбородок,
Он строг, как барельеф,
И чист, как самородок.
Он плотен, он шатен,
Он смертен, и однако
Таким, как он, Роден
Изобразил Бальзака.

Он в глыбе поселен,
Чтоб в тысяче градаций
Из каменных пелен
Все явственней рождаться.

Свой непомерный дар
Едва, как свечку тепля,
Он пира перегар
В рассветном сером пепле.

12

На Грузии не счесть
Одеж и оболочек.
На свете розы есть.
Я лепесткам не счетчик.

О роза, с синевой
Из радуг и алмазин,
Тягучий роспуск твой,
Как сна теченье, связен.

На трубочке чуть свет
Следы ночной примерки.
Ты ярче всех ракет
В садовом фейерверке.

Чуть зной коснется губ,
Ты вся уже в эфире,
Зачатья пышный клуб,
Как пава, расфуфыря.

Но лето на кону,
И ты, не медля часу,
Роняешь всю копну
Обмякшего атласа.

13

Дивясь, как высь жутка,
А Терек дик и мутен,
За пазуху цветка
И я вползал, как трутень.

Переделкино

Летний день

У нас весною до зари
Костры на огороде,
Языческие алтари
На пире плодородья.
Перегорает целина
И парит спозаранку,
И вся земля раскалена,
Как жаркая лежанка.
Я за работой земляной
С себя рубашку скину,
И в спину мне ударит зной
И обожжет, как глину.
Я стану где сильней припек,
И там, глаза зажмуря,
Покроюсь с головы до ног
Горшечною глазурью.
А ночь войдет в мой мезонин
И, высунувшись в сени,
Меня наполнит, как кувшин,
Водою и сиренью.
Она отмоет верхний слой
С похолодевших стенок
И даст какой-нибудь одной
Из здешних уроженок.

Сосны

В траве, меж диких бальзаминов,
Ромашек и лесных купав,
Лежим мы, руки запрокинув
И к небу головы задрав.
Трава на просеке сосновой
Непроходима и густа.
Мы переглянемся и снова
Меняем позы и места.
И вот, бессмертные на время,
Мы к лику сосен причтены
И от болезней, эпидемий
И смерти освобождены.

С намеренным однообразьем,
Как мазь, густая синева
Ложиться зайчиками наземь
И пачкает нам рукава.

Мы делим отдых краснолесья,
Под копошенья мураша
Сосновою снотворной смесью
Лимона с ладаном дыша.

И так неистовы на синем
Разбеги огненных стволов,
И мы так долго рук не вынем
Из-под заломленных голов,

И столько широты во взоре,
И так покорно все извне,
Что где-то за стволами море
Мерещится все время мне.

Там волны выше этих веток,
И, сваливаясь с валуна,
Обрушивают град креветок
Со взбаламученного дна.

А вечерами за буксиром
На пробках тянется заря
И отливает рыбьим жиром
И мглистой дымкой янтаря.

Смеркается, и постепенно
Луна хоронит все следы
Под белой магиею пены
И черной магией воды.

А волны все шумней и выше,

И публика на поплавке
Толпится у столба с афишей,
Неразличимой вдалеке.

Ложная тревога

Корыта и ушаты,
Нескладица с утра,
Дождливые закаты,
Сырые вечера,

Проглоченные слезы
Во вздохах темноты,
И зовы паровоза
С шестнадцатой версты.

И ранние потемки
В саду и на дворе,
И мелкие поломки,
И все как в сентябре.
А днем простор осенний
Пронизывает вой
Тоскою голошенья
С погоста за рекой.
Когда рыданье вдовье
Относит за бугор,
Я с нею всею кровью
И вижу смерть в упор.
Я вижу из передней
В окно, как всякий год,
Своей поры последней
Отсроченный приход.
Пути себе расчистив,
На жизнь мою с холма
Сквозь желтый ужас листьев
Уставилась зима.

Зазимки

Открыли дверь, и в кухню паром
Вкатился воздух со двора,
И все мгновенно стало старым,
Как в детстве в те же вечера.
Сухая, тихая погода.
На улице, шагах в пяти,
Стоит, стыдясь, зима у входа
И не решается войти.
Зима и все опять впервые.

В седые дали ноября
Уходят ветлы, как слепые
Без палки и поводыря.
Во льду река и мерзлый тальник,
А поперек, на голый лед,
Как зеркало на подзеркальник,
Поставлен черный небосвод.
Пред ним стоит на перекрестке,
Который полузанесло,
Береза со звездой в прическе
И смотрится в его стекло.

Она подозревает в тайне,
Что чудесами в решете
Полна зима на даче крайней,
Как у нее на высоте.
Иней

Глухая пора листопада.
Последних гусей косяки.
Расстраиваться не надо:
У страха глаза велики.

Пусть ветер, рябину заняньчив,
Пугает ее перед сном.
Порядок творенья обманчив,
Как сказка с хорошим концом.

Ты завтра очнешься от спячки
И, выйдя на зимнюю гладь,
Опять за углом водокачки
Как вкопанный будешь стоять.

Опять эти белые мухи,
И крыши, и святочный дед,
И трубы, и лес лопоухий
Шутом маскарадным одет.

Все обледенело с размаху
В папахе до самых бровей
И крадущейся росомахой
Подсматривает с ветвей.

Ты дальше идешь с недоверьем.
Тропинка ныряет в овраг.
Здесь инея сводчатый терем,
Решетчатый тес на дверях.

За снежной густой занавеской
Какой-то сторожки стена,
Дорога, и край перелеска,
И новая чаща видна.

Торжественное затишье,
Оправленное в резьбу,
Похоже на четверостишье
О спящей царевне в гробу.

И белому мертвому царству,
Бросавшему мысленно в дрожь,
Я тихо шепчу: "Благодарствуй,
Ты больше, чем просят, даешь".

Город

Зима, на кухне пенье Петьки,
Метели, вымерзшая клеть
Нам могут хуже горькой редьки
В конце концов осточертеть.
Из чащи к дому нет прохода,
Кругом сугробы, смерть и сон,
И кажется, не время года,
А гибель и конец времен.
Со скользских лестниц лед не сколот,
Колодец кольцами свело.
Каким магнитом в этот холод
Нас тянет в город и тепло!
Меж тем как, не преувелича,
Зимой в деревне нет житья,
Исполнен город безразличья
К несовершенствам бытия.
Он создал тысячи диковин
И может не бояться стуж.
Он сам, как призраки, духовен
Всей тьмой перебывавших душ.
Во всяком случае поленьям
На станционном тупике
Он кажется таким виденьем
В ночном горящем далеке.
Я тоже чтил его подростком.
Его надменность льстила мне.
Он жизнь веков считал наброском,
Лежавшим до него вчерне.
Он звезды переобезьянил
Вечерней выставкою благ
И даже место неба занял
В моих ребяческих мечтах.
Вальс с чертовщиной

Только заслышу польку вдали,
Кажется, вижу в замочною скважину:
Лампы задули, сдвинули стулья,

Пчелками кверху порх фитили,
Масок и ряженых движется улей.
Это за щелкой елку зажгли.

Великолепие выше сил
Туши и сепии и белил,
Синих, пунцовых и золотых
Львов и танцоров, львиц и франтих.
Реянье блузок, пенье дверей,
Рев карапузов, смех матерей.
Финики, книги, игры, нуга,
Иглы, ковриги, скачки, бега.

В этой зловещей сладкой тайге
Люди и вещи на равной ноге.
Этого бора вкусный цукат
К шапок разбору рвут нарасхват.
Душно от лакомств. Елка в поту
Клеем и лаком пьет темноту.

Все разметала, всем истекла,
Вся из металла и из стекла.
Искрится сало, брызжет смола
Звездами в залу и зеркала
И догорает дотла. Мгла.
Мало-помалу толпою усталой
Гости выходят из-за стола.

Шали, и боты, и башлыки.
Вечно куда-нибудь их занапастишь.
Ставни, ворота и дверь на крюки,
В верхнюю комнату форточку настежь.
Улицы зимней синий испуг.

Время пред третьими петухами.
И возникающий в форточной раме
Дух сквозняка, задувающий пламя,
Свечка за свечкой явственно вслух:
Фук. Фук. Фук. Фук.
Вальс со слезой

Как я люблю ее в первые дни
Только что из лесу или с метели!
Ветки неловкости не одолели.
Нитки ленивые, без суетни,
Медленно переливая на теле,
Виснут серебряною канителью.
Пень под глухой пеленой простыни.

Озолотите ее, осчастливьте
И не смигнет. Но стыдливая скромница
В фольге лиловой и синей финифти

Вам до скончания века запомнится.
Как я люблю ее в первые дни,
Всю в паутине или в тени!

Только в примерке звезды и флаги,
И в бонбоньерки не клали малаги.
Свечки не свечки, даже они
Штифтики грима, а не огни.
Это волнующаяся актриса
С самыми близкими в день бенефиса.
Как я люблю ее в первые дни
Перед кулисами в кучке родни.
Яблоне яблоки, елочке шишки.
Только не этой. Эта в покое.
Эта совсем не такого покроя.
Это отмеченная избранница.
Вечер ее вековечно протянется.
Этой нимало не страшно пословицы.
Ей небывалая участь готовится:
В золоте яблок, как к небу пророк,
Огненной гостьей взмыть в потолок.
Как я люблю ее в первые дни,
Когда о елке толки одни!
На ранних поездах

Я под Москвою эту зиму,
Но в стужу, снег и буревал
Всегда, когда необходимо,
По делу в городе бывал.
Я выходил в такое время,
Когда на улице ни зги,
И рассыпал лесною темью
Свои скрипучие шаги.
Навстречу мне на переезде
Вставали ветлы пустыря.
Надмирно высились созведья
В холодной яме января.
Обыкновенно у задворок
Меня старался перегнать
Почтовый или номер сорок,
А я шел на шесть двадцать пять.
Вдруг света хитрые морщины
Сбирались щупальцами в круг.
Прожектор несся всей махиной
На оглушенный виадук.
В горячей духоте вагона
Я отдавался целиком
Порыву слабости врожденной
И всосанному с молоком.

Сквозь прошлого перипетии
И годы войн и нищеты

Я молча узнавал россии
Неповторимые черты.

Превозмогая обожанье,
Я наблюдал, боготворя.
Здесь были бабы, слобожане,
Учащиеся, слесаря.

В них не было следов холопства,
Которые кладет нужда,
И новости и неудобства
Они несли, как господа.

Рассевшись кучей, как в повозке,
Во всем разнообразьи поз,
Читали дети и подростки,
Как заведенные, взасос.

Москва встречала нас во мраке,
Переходившем в серебро,
И, покидая свет двоякий,
Мы выходили из метро.

Потомство тискалось к перилам
И обдавало на ходу
Черемуховом свежим мылом
И пряниками на меду.

Опять весна

Поезд ушел. Насыпь черна.
Где я дорогу впотьмах раздобуду?
Неузнаваемая сторона,
Хоть я и сутки только отсюда.
Замер на шпалах лязг чугуна.
Вдруг что за новая, право, причуда?
Бестолочь, кумушек пересуды.
Что их попутал за сатана?

Где я обрывки этих речей
Слышал уж как-то порой прошлогодней?
Ах, это сызнова, верно, сегодня
Вышел из рощи ночью ручей.
Это, как в прежние времена,
Сдвинула льдины и вздулась запруда.
Это поистине новое чудо,
Это, как прежде, снова весна.

Это она, это она,
Это ее чародейство и диво,

Это ее телогрейка за ивой,
Плечи, косынка, стан и спина.

Это снегурка у края обрыва.
Это о ней из оврага со дна
Льется без умолку бред торопливый
Полубезумного болтуна.
Это пред ней, заливая преграды,
Тонет в чаду водяном быстрина,
Лампой висячего водопада
К круче с шипеньем пригвождена.
Это зубами стуча от простуды,
Льется чрез край ледяная струя
В пруд и из пруда в другую посуду.
Речь половодья бред бытия.

Присяга

Толпой облеплены ограды,
В ушах печальный шаг с утра,
Трещат пропеллеры парада,
Орут упорно рупора.
Три дня проходят как в угаре,
В гостях, в театре, у витрин,
На выставке, на тротуаре,
Три дня сливаются в один.
Все умолкает на четвертый.
Никто не открывает рта.
В окрестностях аэропорта
Усталость, отдых, глухота.
Наутро отпускным курсантом
Полкомнаты заслонено.
В рубашке с первомайским бантом
Он свешивается в окно.
Все существо его во власти
Надвинувшейся новизны,
Коротким сном огня и счастья
Все чувства преображены.
С души дремавшей снят наглазник.
Он за ночь вырос раза в два.
К его годам прибавлен праздник.
Он отстоит свои права.
На дне дворового колодца
Оттаивает снега пласт.
Сейчас он в комнату вернется
К той, за кого он жизнь отдаст.
Он смотрит вниз на эти комья.
Светает. Тушат фонари.
Все ежится, как он, в истоме,
Просвечивая изнутри.

Дрозды

На захолустном полустанке
Обеденная тишина.
Безжизненно поют овсянки
В кустарнике у полотна.

Бескрайный, жаркий, как желанье,
Прямой проселочный простор.
Лиловый лес на заднем плане,
Седого облака вихор.

Лесной дорогою деревья
Заигрывают с пристяжной.
По углубленьям на корчевье
Фиалки, снег и перегной.

Наверное, из этих впадин
И пьют дрозды, тогда взамен
Раззванивают слухи за день
Огнем и льдом своих колен.

Вот долгий слог, а вот короткий.
Вот жаркий, вот холодный душ.
Вот что выделывают глоткой,
Луженной лоском этих луж.

У них на кочках свой поселок,
Подглядыванье из-за штор,
Шушуканье в углах светелок
И целодневный таратор.

По их распахнутым покоям
Загадки в гласности снуют.
У них часы с дремучим боем,
Им ветви четверти поют.

Таков притон дроздов тенистый.
Они в неубранном бору
Живут, как жить должны артисты.
Я тоже с них пример беру.

Стихи о войне

Страшная сказка

Все переменится вокруг.
Отстроится столица.
Детей разбуженных испуг
Вовеки не простится.

Не сможет позабыться страх,
Изборождавший лица.
Сторицей должен будет враг
За это поплатиться.
Запомнится его обстрел.
Сполна зачтется время,
Когда он делал, что хотел,
Как Ирод в Вифлееме.
Настанет новый, лучший век.
Исчезнут очевидцы.
Мученья маленьких калек
Не смогут позабыться.

Бобыль

Грустно в нашем саду.
Он день ото дня краше.
В нем и в этом году
Жить бы полною чашей.
Но обитель свою
Разлюбил обитатель.
Он отправил семью,
И в краю неприятель.
И один, без жены,
Он весь день у соседей,
Точно с их стороны
Ждет вестей о победе.
А повадится в сад
И на пункт ополченский,
Так глядит на закат
В направленьи к Смоленску.
Там в вечерней красе
Мимо Вязьмы и Гжатска
Протянулось шоссе
Пятитонкой солдатской.
Он еще не старик
И укор молодежи,
А его дробовик
Лет на двадцать моложе.

Застава

Садясь, как куры на насест,

Зарей заглядывают тени
Под вечереющий подъезд,
На кухню, в коридор и сени.

Приезжий видит у крыльца
Велосипед и две винтовки
И поправляет деревца
В пучке воздушной маскировки.

Он знает: этот мирный вид
В обман вводящий пережиток.
Его попутчиц ослепит
Огонь восьми ночных зениток.

Деревья окружат блиндаж.
Войдут две женщины, робея,
И спросят, наш или не наш,
Ловя ворчанье из траншеи.

Украдкой, ежась, как в мороз,
Вернутся горожанки к дому
И позабудут бомбовоз
При зареве с аэродрома.

Они увидят, как патруль,
Меж тем как пламя кровель светит,
Крестом трассирующих пуль
Ночную нечисть в небе метит.

И вдруг взорвется небосвод,
И, догорая над поселком,
Чадящей плашкой упадет
Налетчик, сшибленный осколком.

Смелость

Безыменные герои
Осажденных городов,
Я вас в сердце сердца скрою,
Ваша доблесть выше слов.

В круглосуточном обстреле,
Слыша смерти перекат,
Вы векам в глаза смотрели
С пригородных баррикад.

Вы ложились на дороге
И у взрытой колеи
Спрашивали о подмоге
И не слышно ль, где свои.

А потом, жуя краюху,
По истерзанным полям
Шли вы, не теряя духа,
К обгорелым флигелям.

Вы брались рукой умелой
Не для лести и хвалы,
А с холодным знаньем дела
За ружейные стволы.
И не только жажда мщенья,
Но спокойный глаз стрелка,
Как картонные мишени,
Пробивал врагу бока.
Между тем слепое что-то,
Опьяняя и кружа,
Увлекало вас к пролету
Из глухого блиндажа.
Там в неистовстве наитья
Пела буря с двух сторон.
Ветер вам свистел в прикрытье:
Ты от пуль заворожен.
И тогда, чужие миру,
Не причислены к живым,
Вы являлись к командиру
С предложеньем боевым.
Вам казалось все пустое!
Лучше, выиграв, уйти,
Чем бесславно сгнить в застое
Или скиснуть взаперти.
Так рождался победитель:
Вас над пропастью голов
Подвиг уносил в обитель
Громовержцев и орлов.

Старый парк

Мальчик маленький в кроватке,
Бури озверелый рев.
Каркающих стай девятки
Разлетаются с дерев.
Раненому врач в халате
Промывал вчерашний шов.
Вдруг больной узнал в палате
Друга детства, дом отцов.
Вновь он в этом старом парке.
Заморозки по утрам,
И когда кладут припарки,
Плачут стекла первых рам.

Голос нынешнего века
И виденья той поры
Уживаются с опекой
Терпеливой медсестры.

По палате ходят люди.
Слышно хлопанье дверей.
Глухо ухают орудья
Заозерных батарей.

Солнце низкое садится.
Вот оно в затон впилось
И оттуда длинной спицей
Протыкает даль насквозь.

И минуты две оттуда
В выбоины на дворе
Льются волны изумруда,
Как в волшебном фонаре.

Зверской боли крепнут схватки,
Крепнет ветер, озверев,
И летят грачей девятки,
Черные девятки треф.

Вихрь качает липы, скрючив,
Буря гнет их на корню,
И больной под стоны сучьев
Забывает про ступню.

Парк преданьями состарен.
Здесь стоял наполеон,
И славянофил Самарин
Послужил и погребен.

Здесь потомок декабриста,
Правнук русских героинь,
Бил ворон из монтекристо
И одолевал латынь.

Если только хватит силы,
Он, как дед, энтузиаст,
Прадеда-славянофила
Пересмотрит и издаст.

Сам же он напишет пьесу,
Вдохновленную войной,
Под немолчный ропот леса,
Лежа, думает больной.

Там он жизни небывалой
Невообразимый ход

Языком провинциала
В строй и ясность приведет.

Зима приближается

Зима приближается. Сызнова
Какой-нибудь угол медвежий
Под слезы ребенка капризного
Исчезнет в грязи непроезжей.
Домишки в озерах очутятся.
Над ними закурятся трубы.
В холодных объятьях распутицы
Сойдутся к огню жизнелюбы.
Обители севера строгого,
Накрытые небом, как крышей!
На вас, захолустные логова,
Написано: «Сим победиши».
Люблю вас, далекие пристани
В провинции или деревне.
Чем книга чернее и листанней,
Тем прелесть ее задушевней.
Обозы тяжелые двигая,
Раскинувши нив алфавиты,
Вы с детства любимою книгою
Как бы на середке открыты.
И вдруг она пишется заново
Ближайшею первой метелью,
Вся в росчерках полоза санного
И белая, как рукоделье.
Октябрь серебристо-ореховый.
Блеск заморозков оловянный.
Осенние сумерки Чехова,
Чайковского и Левитана.
Смерть сапера

Мы время по часам заметили
И кверху поползли по склону.
Вот и обрыв. Мы без свидетелей
У края вражьей обороны.
Вот там она, и там, и тут она
Везде, везде, до самой кручи.
Как паутиною опутана
Вся проволкою колючей.
Он наших мыслей не подслушивал
И не заглядывал нам в душу.
Он из конюшни вниз обрушивал
Свой бешеный огонь по зуше.

Прожекторы, как ножки циркуля,
Лучом вонзались в коновязи.
Прямые попаданья фыркали
Фонтанами земли и грязи.

Но чем обстрел дымил багровее,
Тем равнодушнее к осколкам,
В спокойсти и хладнокровии
Работали мы тихомолком.

Со мною были люди смелые.
Я знал, что в проволочной чаще
Проходы нужные проделаю
Для битвы завтра предстоящей.

Вдруг одного сапера ранило.
Он отползал от вражьих линий,
Привстал, и дух от боли заняло,
И он упал в густой полыни.

Он приходил в себя урывками,
Осматривался на пригорке
И щупал место под нашивками
На почерневшей гимнастерке.

И думал: глупость, оцарапали,
И он отвалит от Казани,
К жене и детям вверх к сарапулю,
И вновь и вновь терял сознанье.

Все в жизни может быть издержано,
Изведаны все положенья,
Следы любви самоотверженной
Не подлежат уничтоженью.

Хоть землю грыз от боли раненый,
Но стонами не выдал братьев,
Врожденной стойкости крестьянина
И в обмороке не утратив.

Его живым успели вынести.
Час продышал он через силу.
Хотя за речкой почва глинистей,
Там вырыли ему могилу.

Когда, убитые потерею,
К нему сошлись мы на прощанье,
Заговорила артиллерия
В две тысячи своих гортаней.

В часах задвигались колесики.
Проснулись рычаги и шкивы.
К проделанной покойным просеке
Шагнула армия прорыва.

Сраженье хлынуло в пробоину

И выкатилось на равнину,
Как входит море в край застроенный,
С разбега проломив плотину.
Пехота шла вперед маршрутами,
Как их располагал умерший.
Поздней немногими минутами
Противник дрогнул у завершья.
Он оставлял снарядов штабели,
Котлы дымящегося супа,
Все, что обозные награбили,
Палатки, ящики и трупы.
Потом дорогою завещанной
Прошло с победами все войско.
Края расширившейся трещины
У Криворожья и Пропойска.
Мы оттого теперь у Гомеля,
Что на поляне в полнолунье
Своей души не экономили
В пластунском деле накануне.
Жить и сгорать у всех в обычае,
Но жизнь тогда лишь обессмертишь,
Когда ей к свету и величию
Своею жертвой путь прочертишь.

Преследование

Мы настигали неприятеля.
Он отходил. И в те же числа,
Что мы бегущих колошматили,
Шли ливни и земля раскисла.
Когда нежданно в коноплянике
Показывались мы ватагой,
Их танки скатывались в панике
На дно размокшего оврага.
Везде встречали нас известия,
Как, все растаптывая в мире,
Командовали эти бестии,
Насилуя и дебоширя.
От боли каждый, как ужаленный,
За ними устремлялся в гневе
Через горящие развалины
И падающие деревья.

Деревья падали, и в хворосте
Лесное пламя бесновалось.
От этой сумасшедшей скорости
Все в памяти перемешалось.

Своих грехов им прятать не во что.
И мы всегда припоминали

Подобранную в поле девочку,
Которой тешились канальи.

За след руки на мертвом личике
С кольцом на пальце безымянном
Должны нам заплатить обидчики
Сторицею и чистоганом.

В неистовстве как бы молитвенном
От трупа бедного ребенка
Летели мы по рвам и рытвинам
За душегубами вдогонку.

Тянулись тучи с промежутками,
И сами, грозные, как туча,
Мы с чертовней и приабутками
Давили гнезда их гадючьи.

Разведчики

Синело небо. Было тихо.
Трещали на лугу кузнечики.
Нагнувшись, низкою гречихой
К деревне двигались разведчики.

Их было трое, откровенно
Отчаянных до молодечества,
Избавленных от пуль и плена
Молитвами в глуби отечества.

Деревня вражеским вертепом
Царила надо всей равниною.
Луга желтели курослепом,
Ромашками и пастью львиною.

Вдали был сад, деревьев купы,
Толпились немцы белобрысые,
И под окном стояли группой
Вкруг стойки с канцелярской крысою.

Всмотрясь и головы попрятав,
Разведчики, недолго думая,
Пошли садить из автоматов,
Уверенные и угрюмые.

Деревню пересуматошить
Трудов не стоило особенных.
Взвилась подстреленная лошадь,
Мелькнули мертвые в колдобинах.
И как взлетают арсеналы

По мановенью рук подрывника,
Огню разведки отвечала
Вся огневая мощь противника.
Огонь дал пищу для засечек
На наших пунктах за равниною.
За этой пищею разведчик
И полз сюда, в гнездо осиное.
……
Давно шел бой. Он был так долог,
Что пропадало чувство времени.
Разрывы мин из шестистволок
Забрасывали небо теменью.
Наверно, вечер. Скоро ужин.
В окопах дома щи с бараниной.
А их короткий век отслужен:
Они контужены и ранены.
……
Валили наземь басурмане,
Зеленоглазые и карие.
Поволокли, как на аркане,
За палисадник в канцелярию.
Фуражки, морды, папиросы
И роем мухи, как к покойнику.
Вдруг первый вызванный к допросу
Шагнул к ближайшему разбойнику.
Он дал ногой в подвздошье вору
И, выхвативши автомат его,
Очистил залпами контору
От этого жулья проклятого.
Как вдруг его сразила пуля.
Их снова окружили кучею.
Два остальных рукой махнули.
Теперь им гибель неминучая.
Вверху задвигались стропила,
Как бы в ответ их маловерию,
Над домом крышу расщепило
Снарядом нашей артиллерии.
Дом загорелся. В суматохе
Метнулись к выходу два пленника,
И вот они в чертополе
Бегут задами по гуменнику.

По ним стреляют из-за клети.
Момент и не было товарища.
И в поле выбегает третий
И трет глаза рукою шарящей.

Все день еще, и даль объята
Пожаром солнца сумасшедшего.
Но он дивится не закату,
Закату удивляться нечего.

Садится солнце в курослепе,
И вот что, вот что не безделица:
В деревню входят наши цепи,
И пыль от перебежек стелется.

Без памяти, забыв раненья,
Руками на бегу работая,
Бежит он на соединенье
С победоносною пехотою.

Неоглядность

Непобедимым – многолетье,
Прославившимся исполать!
Раздолье жить на белом свете,
И без конца морская гладь.

И русская судьба безбрежней,
Чем может грезиться во сне,
И вечно остается прежней
При небывалой новизне.

И на одноименной грани
Ее поэтов похвала,
Историков ее преданья
И армии ее дела.

И блеск ее морского флота,
И русских сказок закрома,
И гении ее полета,
И небо, и она сама.

И вот на эту ширь раздолья
Глядят из глубины веков
Нахимов в звездном ореоле
И в медальоне – Ушаков.

Вся жизнь их – подвиг неустанный.
Они, не пожалев сердец,
Сверкают темой для романа
И дали чести образец.

Их жизнь не промелькнула мимо,
Не затерялась вдалеке.
Их след лежит неизгладимо
На времени и на моряке.
Они живут свежо и пылко,
Распорядительны без слов,
И чувствуют родную жилку
В горячке гордых парусов.

На боевой морской арене
Они из дымовых завес
Стрелой бросаются в сраженье
Противнику наперерез.
Бегут в расстройстве стаи турок.
За ночью следует рассвет.
На рейде тлеет, как окурок,
Турецкий тонущий корвет.
И, все препятствия осилив,
Ширяет флагманский фрегат,
Размахом вытянутых крыльев
Уже не ведая преград.

В низовьях

Илистых плавней желтый янтарь,
Блеск чернозема.
Жители чинят снасть, инвентарь,
Лодки, паромы.
В этих низовьях ночи восторг,
Светлые зори.
Пеной по отмели шорх-шорх
Черное море.
Птица в болотах, по рекам налим,
Уймища раков.
В том направлении берегом крым,
В этом Очаков.
За николаевом к низу лиман.
Вдоль поднебесья
Степью на запад зыбь и туман.
Это к Одессе.
Было ли это? Какой это стиль?
Где эти годы?
Можно ль вернуть эту жизнь, эту быль,
Эту свободу?
Ах, как скучает по пахоте плуг,
Пашня по плугу,
Море по Бугу, по северу юг,
Все друг по другу!

Миг долгожданный уже на виду,
За поворотом.
Дали предчувствуют. В этом году
Слово за флотом.
Ожившая фреска

Как прежде, падали снаряды.
Высокое, как в дальнем плаваньи,
Ночное небо Сталинграда
Качалось в штукатурном саване.

Земля гудела, как молебен
Об отвращеньи бомбы воющей,
Кадильницею дым и щебень
Выбрасывая из побоища.

Когда урывками, меж схваток,
Он под огнем своих проведывал,
Необъяснимый отпечаток
Привычности его преследовал.

Где мог он видеть этот ежик
Домов с бездонными проломами?
Свидетельства былых бомбежек
Казались сказочно знакомыми.

Что означала в черной раме
Четырехпалая отметина?
Кого напоминало пламя
И выломанные паркетины?

И вдруг он вспомнил детство, детство,
И монастырский сад, и грешников,
И с общиною по соседству
Свист соловьев и пересмешников.

Он мать сжимал рукой сыновней.
И от копья архистратига ли
По темной росписи часовни
В такие ямы черти прыгали.

И мальчик облекался в латы,
За мать в воображеньи ратуя,
И налетал на супостата
С такой же свастикой хвостатою.

А рядом в конном поединке
Сиял над змеем лик Георгия.
И на пруду цвели кувшинки,
И птиц безумствовали оргии.

И родина, как голос пущи,
Как зов в лесу и грохот отзыва,
Манила музыкой зовущей
И пахла почкою березовой.
О, как он вспомнил те полянки
Теперь, когда своей погонею
Он топчет вражеские танки
С их грозной чешуей драконьею!
Он перешел земли границы,
И будущность, как ширь небесная,
Уже бушует, а не снится,

Приблизившаяся, чудесная.

Победитель

Вы помните еще ту сухость в горле,
Когда, бряцая голой силой зла,
Навстречу нам горланили и перли
И осень шагом испытаний шла?
Но правота была такой оградой,
Которой уступал любой доспех.
Все воплотила участь Ленинграда.
Стеной стоял он на глазах у всех.
И вот пришло заветное мгновенье:
Он разорвал осадное кольцо.
И целый мир, столпившись в отдаленьи,
В восторге смотрит на его лицо.
Как он велик! Какой бессмертный жребий!
Как входит в цепь легенд его звено!
Все, что возможно на земле и небе,
Им вынесено и совершено.
Весна

Все нынешней весной особое.
Живее воробьев шумиха.
Я даже выразить не пробую,
Как на душе светло и тихо.
Иначе думается, пишется,
И громкою октавой в хоре
Земной могучий голос слышится
Освобожденных территорий.
Весеннее дыханье родины
Смывает след зимы с пространства
И черные от слез обводины
С заплаканных очей славянства.

Везде трава готова вылезти,
И улицы старинной Праги
Молчат, одна другой извилистей,
Но заиграют, как овраги.

Сказанья Чехии, Моравии
И Сербии с весенней негой,
Сорвавши пелену бесправия,
Цветами выйдут из-под снега.

Все дымкой сказочной подернется,
Подобно завиткам по стенам
В боярской золоченой горнице
И на Василии Блаженном.

Мечтателю и полуночнику
Москва милей всего на свете.
Он дома, у первоисточника
Всего, чем будет цвесть столетье.

Из цикла «Стихи из романа» (1946 – 1953)

Март

Солнце греет до седьмого пота,
И бушует, одурев, овраг.
Как у дюжей скотницы работа,
Дело у весны кипит в руках.
Чахнет снег и болен малокровьем
В веточках бессильно синих жил.
Но дымится жизнь в хлеву коровьем,
И здоровьем пышут зубья вил.
Эти ночи, эти дни и ночи!
Дробь капелей к середине дня,
Кровельных сосулек худосочье,
Ручейков бессонных болтовня!
Настежь все конюшня и коровник.
Голуби в снегу клюют овес,
И всего живитель и виновник,
Пахнет свежим воздухом навоз.

Белая ночь

Мне далекое время мерещится,
Дом на стороне петербургской.
Дочь степной небогатой помещицы,
Ты на курсах, ты родом из Курска.
Ты мила, у тебя есть поклонники.
Этой белою ночью мы оба,
Примостясь на твоем подоконнике,
Смотрим вниз с твоего небоскреба.
Фонари, точно бабочки газовые,
Утро тронуло первою дрожью.
То, что тихо тебе я рассказываю, али похоже!
Мы охвачены тою же самою
Оробелою верностью тайне,
Как раскинувшийся панорамою
Петербург за Невою бескрайней.

Там вдали, по дремучим урочищам,

Этой ночью весеннею белой
Соловьи славословьем грохочущим
Оглашают лесные пределы.

Ошалелое щелканье катится.
Голос маленькой птички лядащей
Пробуждает восторг и сумятицу
В глубине очарованной чащи.

В те места босоногою странницей
Пробирается ночь вдоль забора,
И за ней с подоконника тянется
След подслушанного разговора.

В отголосках беседы услышанной
По садам, огороженным тесом,
Ветви яблоновые и вишенные
Одеваются цветом белесым.

И деревья, как призраки, белые
Высыпают толпой на дорогу,
Точно знаки прощальные делая
Белой ночи, видавшей так много.
Весенняя распутица

Огни заката догорали.
Распутицей в бору глухом
В далекий хутор на Урале
Тащился человек верхом.

Болтала лошадь селезенкой,
И звону шлепавших подков
Дорогой вторила вдогонку
Вода в воронках родников.

Когда же опускал поводья
И шагом ехал верховой,
Прокатывало половодье
Вблизи весь гул и грохот свой.

Смеялся кто-то, плакал кто-то,
Крошились камни о кремни,
И падали в водовороты
С корнями вырванные пни.

А на пожарище заката,
В далекой прочерни ветвей,
Как гулкий колокол набата,
Неистовствовал соловей.

Где ива вдовий свой повойник
Клонила, свесивши в овраг,

Как древний соловей-разбойник,
Свистал он на семи дубах.
Какой беде, какой зазнобе
Предназначался этот пыл?
В кого ружейной крупной дробью
Он по чащобе запустил?
Казалось, вот он выйдет лешим
С привала беглых каторжан
Навстречу конным или пешим
Заставам здешних партизан.
Земля и небо, лес и поле
Ловили этот редкий звук,
Размеренные эти доли
Безумья, боли, счастья, мук.

Объяснение

Жизнь вернулась так же беспричинно,
Как когда-то странно прервалась.
Я на той же улице старинной,
Как тогда, в тот летний день и час.
Те же люди, и заботы те же,
И пожар заката не остыл,
Как его тогда к стене манежа
Вечер смерти наспех пригвоздил.
Женщины в дешевом затрапезе
Так же ночью топчут башмаки.
Их потом на кровельном железе
Так же распинают чердаки.
Вот она походкою усталой
Медленно выходит на порог
И, поднявшись из полуподвала,
Переходит двор наискосок.
Я опять готовлю отговорки,
И опять все безразлично мне.
И соседка, обогнув задворки,
Оставляет нас наедине.
Не плачь, не морщь опухших губ,
Не собирай их в складки.
Разбередишь присохший струп
Весенней лихорадки.

Сними ладонь с моей груди,
Мы провода под током.
Друг к другу вновь, того гляди,
Нас бросит ненароком.

Пройдут года, ты вступишь в брак,
Забудешь неустройства.
Быть женщиной великий шаг,

Сводить с ума геройство.

А я пред чудом женских рук,
Спины, и плеч, и шеи
И так с привязанностью слуг
Весь век благоговею.

Но как не сковывает ночь
Меня кольцом тоскливым,
Сильней на свете тяга прочь
И манит страсть к разрывам.

Лето в городе

Разговоры вполголоса,
И с поспешностью пылкой
Кверху собраны волосы
Всей копною с затылка.

Из-под гребня тяжелого
Смотрит женщина в шлеме,
Запрокинувши голову
Вместе с косами всеми.

А на улице жаркая
Ночь сулит непогоду,
И расходятся, шаркая,
По домам пешеходы.

Гром отрывистый слышится,
Отдающийся резко,
И от ветра колышется
На окне занавеска.

Наступает безмолвие,
Но по-прежнему парит,
И по-прежнему молнии
В небе шарят и шарят.

А когда светозарное
Утро знойное снова
Сушит лужи бульварные
После ливня ночного,

Смотрят хмуро по случаю
Своего недосыпа
Вековые, пахучие
Неотцветшие липы.
Ветер

Я кончился, а ты жива.
И ветер, жалуясь и плача,
Раскачивает лес и дачу.
Не каждую сосну отдельно,
А полностью все дерева
Со всею далью беспредельной,
Как парусников кузова
На глади бухты корабельной.
И это не из удальства
Или из ярости бесцельной,
А чтоб в тоске найти слова
Тебе для песни колыбельной.
Хмель

Под ракитой, обвитой плющом,
От ненастья мы ищем защиты.
Наши плечи покрыты плащом,
Вкруг тебя мои руки обвиты.
Я ошибся. Кусты этих чащ
Не плющом перевиты, а хмелем.
Ну, так лучше давай этот плащ
В ширину под собою расстелим.

Бабье лето

Лист смородины груб и матерчат.
В доме хохот и стекла звенят,
В нем шинкуют, и квасят, и перчат,
И гвоздики кладут в маринад.
Лес забрасывает, как насмешник,
Этот шум на обрывистый склон,
Где сгоревший на солнце орешник
Словно жаром костра опален.
Здесь дорога спускается в балку,
Здесь и высохших старых коряг,
И лоскутницы осени жалко,
Все сметающей в этот овраг.
И того, что вселенная проще,
Чем иной полагает хитрец,
Что как в воду опущена роща,
Что приходит всему свой конец.

Что глазами бессмысленно хлопать,
Когда все пред тобой сожжено
И осенняя белая копоть
Паутиною тянет в окно.

Ход из сада в заборе проломан
И теряется в березняке.
В доме смех и хозяйственный гомон,

Тот же гомон и смех вдалеке.

Свадьба

Пересекши край двора,
Гости на гулянку
В дом невесты до утра
Перешли с тальянкой.

За хозяйскими дверьми
В войлочной обивке
Стихли с часу до семи
Болтовни обрывки.

А зарею, в самый сон,
Только спать и спать бы,
Вновь запел аккордеон,
Уходя со свадьбы.

И рассыпал гармонист
Снова на баяне
Плеск ладоней, блеск монист,
Шум и гам гулянья.

И опять, опять, опять
Говорок частушки
Прямо к спящим на кровать
Ворвался с пирушки.

А одна, как снег бела,
В шуме, свисте, гаме
Снова павой поплыла,
Поводя боками.

Помавая головой
И рукою правой,
В плясовой по мостовой,
Павой, павой, павой.

Вдруг задор и шум игры,
Топот хоровода,
Провалясь в тартарары,
Канули, как в воду.

Просыпался шумный двор.
Деловое эхо
Вмешивалось в разговор
И раскаты смеха.
В необъятность неба, ввысь
Вихрем сизых пятен

Стаей голуби неслись,
Снявшись с голубятен.
Точно их за свадьбой вслед,
Спохватясь спросонья,
С пожеланьем многих лет
Выслали в погоню.
Жизнь ведь тоже только миг,
Только растворенье
Нас самих во всех других
Как бы им в даренье.
Только свадьба, вглубь окон
Рвущаяся снизу,
Только песня, только сон,
Только голубь сизый.

Осень

Я дал разъехаться домашним,
Все близкие давно в разброде,
И одиночеством всегдашним
Полно все в сердце и природе.
И вот я здесь с тобой в сторожке.
В лесу безлюдно и пустынно.
Как в песне, стежки и дорожки
Позаросли наполовину.
Теперь на нас одних с печалью
Глядят бревенчатые стены.
Мы брать преград не обещали,
Мы будем гибнуть откровенно.
Мы сядем в час и встанем в третьем,
Я с книгою, ты с вышиваньем,
И на рассвете не заметим,
Как целоваться перестанем.
Еще пышней и бесшабашней
Шумите, осыпайтесь, листья,
И чашу горечи вчерашней
Сегодняшней тоской превысьте.

Привязанность, влеченье, прелесть!
Рассемся в сентябрьском шуме!
Заройся вся в осенний шелест!
Замри или ополоумей!

Ты так же сбрасываешь платье,
Как роща сбрасывает листья,
Когда ты попадешь в объятье
В халате с шелковою кистью.

Ты благо гибельного шага,
Когда житье тошней недуга,

А корень красоты отвага,
И это тянет нас друг к другу.

Сказка

Встарь, во время оно,
В сказочном краю
Пробирался конный
Степью по репью.

Он спешил на сечу,
А в степной пыли
Темный лес навстречу
Вырастал вдали.

Ныло ретивое,
На сердце скребло:
Бойся водопоя,
Подтяни седло.

Не послушал конный
И во весь опор
Залетел с разгону
На лесной бугор.

Повернул с кургана,
Въехал в суходол,
Миновал поляну,
Гору перешел.

И забрел в ложбину,
И лесной тропой
Вышел на звериный
След и водопой.

И глухой к призыву
И не вняв чутью,
Свел коня с обрыва
Попоить к ручью.

У ручья пещера.
Пред пещерой брод.
Как бы пламя серы
Озаряло вход.
И в дыму багровом,
Застилавшем взор,
Отдаленным зовом
Огласился бор.
И тогда оврагом,
Вздрогнув, напрямик

Тронул конный шагом
На призывный крик.
И увидел конный,
И приник к копью,
Голову дракона,
Хвост и чешую.
Пламенем из зева
Рассевал он свет,
В три кольца вкруг девы
Обмотав хребет.
Туловище змея,
Как концом бича,
Поводило шеей
У ее плеча.
Той страны обычай
Пленницу-красу
Отдавал в добычу
Чудищу в лесу.
Края населенье
Хижины свои
Выкупало пеней
Этой от змеи.
Змей обвил ей руку
И оплел гортань,
Получив на муку
В жертву эту дань.
Посмотрел с мольбою
Всадник в высь небес
И копье для боя
Взял наперевес.
Сомкнутые веки.
Выси. Облака.
Воды. Броды. Реки.
Годы и века.

Конный в шлеме сбитом,
Сшибленный в бою.
Верный конь, копытом
Топчущий змею.

Конь и труп дракона
Рядом на песке.
В обмороке конный,
Дева в столбняке.

Светел свод полдневный,
Синева нежна.
Кто она? Царевна?
Дочь земли? Княжна?

То, в избытке счастья,
Слезы в три ручья.

То душа во власти
Сна и забытья.

То возврат здоровья,
То недвижность жил
От потери крови
И упадка сил.

Но сердца их бьются.
То она, то он
Силятся очнуться
И впадают в сон.

Сомкнутые веки.
Выси. Облака.
Воды. Броды. Реки.
Годы и века.

Зимняя ночь

Мело, мело по всей земле
Во все пределы.
Свеча горела на столе,
Свеча горела.

Как летом роем мошкара
Летит на пламя,
Слетались хлопья со двора
К оконной раме.

Метель лепила на стекле
Кружки и стрелы.
Свеча горела на столе,
Свеча горела.

На озаренный потолок
Ложились тени,
Скрещенья рук, скрещенья ног,
Судьбы скрещенья.
И падали два башмачка
Со стуком на пол.
И воск слезами с ночника
На платье капал.
И все терялось в снежной мгле
Седой и белой.
Свеча горела на столе,
Свеча горела.
На свечку дуло из угла,
И жар соблазна
Вздымал, как ангел, два крыла

Крестообразно.
Мело весь месяц в феврале,
И то и дело
Свеча горела на столе,
Свеча горела.

Разлука

С порога смотрит человек,
Не узнавая дома.
Ее отъезд был как побег.
Везде следы разгрома.
Повсюду в комнате хаос.
Он меры разоренья
Не замечает из-за слез
И приступа мигрени.
В ушах с утра какой-то шум.
Он в памяти иль грезит?
И почему ему на ум
Все мысль о море лезет?
Когда сквозь иней на окне
Не видно света божья,
Безвыходность тоски вдвойне
С пустыней моря схожа.
Она была так дорога
Ему чертой любою.
Как морю близки берега
Всей линией прибоя.

Как затопляет камыши
Волненье после шторма,
Ушли на дно его души
Ее черты и формы.

В года мытарств, во времена
Немыслимого быта
Она волной судьбы со дна
Была к нему прибита.

Среди препятствий без числа,
Опасности минуя,
Волна несла ее, несла
И пригнала вплотную.

И вот теперь ее отъезд,
Насильственный, быть может.
Разлука их обоих съест,
Тоска с костями сгложет.

И человек глядит кругом:

Она в момент ухода
Все выворотила вверх дном
Из ящиков комода.

Он бродит и до темноты
Укладывает в ящик
Раскиданные лоскуты
И выкройки образчик.

И, наколовшись об шитье
С невынутой иголкой,
Внезапно видит всю ее
И плачет втихомолку.

Свидание

Засыплет снег дороги,
Завалит скаты крыш.
Пойду размять я ноги,
За дверью ты стоишь.

Одна, в пальто осеннем,
Без шляпы, без калош,
Ты борешься с волненьем
И мокрый снег жуешь.

Деревья и ограды
Уходят вдаль, во мглу.
Одна средь снегопада
Стоишь ты на углу.

Течет вода с косынки
По рукаву в обшлаг,
И каплями росинки
Сверкают в волосах.
И прядью белокурой
Озарены: лицо,
Косынка, и фигура,
И это пальтецо.
Снег на ресницах влажен,
В твоих глазах тоска,
И весь твой облик слажен
Из одного куска.
Как будто бы железом,
Обмокнутым в сурьму,
Тебя вели нарезом
По сердцу моему.
И в нем навек засело
Смиренье этих черт,
И оттого нет дела,

Что свет жестокосерд.
И оттого двоится
Вся эта ночь в снегу,
И провести границы
Меж нас я не могу.
Но кто мы и откуда,
Когда от всех тех лет
Остались пересуды,
А нас на свете нет?

Рассвет

Ты значил все в моей судьбе.
Потом пришла война, разруха,
И долго-долго о тебе
Ни слуху не было, ни духу.
И через много-много лет
Твой голос вновь меня встревожил.
Всю ночь читал я твой завет
И как от обморока ожил.
Мне к людям хочется, в толпу,
В их утреннее оживленье.
Я все готов разнесть в щепу
И всех поставить на колени.

И я по лестнице бегу,
Как будто выхожу впервые
На эти улицы в снегу
И вымершие мостовые.

Везде встают, огни, уют,
Пьют чай, торопятся к трамваям.
В теченье нескольких минут
Вид города неузнаваем.

В воротах вьюга вяжет сеть
Из густо падающих хлопьев,
И чтобы вовремя поспеть,
Все мчатся недоев-недопив.

Я чувствую за них за всех,
Как будто побывал в их шкуре,
Я таю сам, как тает снег,
Я сам, как утро, брови хмурю.

Со мною люди без имен,
Деревья, дети, домоседы.
Я ими всеми побежден,
И только в том моя победа.

Земля

В московские особняки
Врывается весна нахрапом.
Выпархивает моль за шкапом
И ползает по летним шляпам,
И прячут шубы в сундуки.

По деревянным антресолям
Стоят цветочные горшки
С левкоем и желтофиолем,
И дышат комнаты привольем,
И пахнут пылью чердаки.

И улица запанибрата
С оконницей подслеповатой,
И белой ночи и закату
Не разминуться у реки.

И можно слышать в коридоре,
Что происходит на просторе,
О чем в случайном разговоре
С капелью говорит апрель.
Он знает тысячи историй
Про человеческое горе,
И по заборам стынут зори
И тянут эту канитель.

И та же смесь огя и жути
На воле и в жилом уюте,
И всюду воздух сам не свой.
И тех же верб сквозные прутья.
И тех же белых почек вздутья
И на окне, и на распутье,
На улице и в мастерской.
Зачем же плачет даль в тумане
И горько пахнет перегной?
На то ведь и мое призванье,
Чтоб не скучали расстоянья,
Чтобы за городскою гранью
Земле не тосковать одной.
Для этого весною ранней
Со мною сходятся друзья,
И наши вечера прощанья,
Пирушки наши завещанья,
Чтоб тайная струя страданья
Согрела холод бытия.

Когда разгуляется
(1956 – 1959)

Un livre est un grand cimetiere ou sur la plupart des tomBes on ne peut plus lire les noms effaces.
Marcel Proust

Во всем мне хочется дойти

Во всем мне хочется дойти
До самой сути.
В работе, в поисках пути,
В сердечной смуте.

До сущности протекших дней,
До их причины,
До оснований, до корней,
До сердцевины.

Все время схватывая нить
Судеб, событий,
Жить, думать, чувствовать, любить,
Свершать открытья.

О, если бы я только мог
Хотя отчасти,
Я написал бы восемь строк
О свойствах страсти.

О беззаконьях, о грехах,
Бегах, погонях,
Нечаянностях впопыхах,
Локтях, ладонях.

Я вывел бы ее закон,
Ее начало,
И повторял ее имен
Инициалы.

Я б разбивал стихи, как сад.
Всей дрожью жилок
Цвели бы липы в них подряд,
Гуськом, в затылок.

В стихи б я внес дыханье роз,
Дыханье мяты,
Луга, осоку, сенокос,
Грозы раскаты.

Так некогда Шопен вложил
Живое чудо

Фольварков, парков, рощ, могил
В свои этюды.

Достигнутого торжества
Игра и мука
Натянутая тетива
Тугого лука.

Быть знаменитым некрасиво

Быть знаменитым некрасиво.
Не это подымает ввысь.
Не надо заводить архива,
Над рукописями трястись.
Цель творчества самоотдача,
А не шумиха, не успех.
Позорно ничего не знача,
Быть притчей на устах у всех.
Но надо жить без самозванства,
Так жить, что бы в конце концов
Привлечь к себе любовь пространства,
Услышать будущего зов.
И надо оставлять пробелы
В судьбе, а не среди бумаг,
Места и главы жизни целой
Отчеркивая на полях.
И окунаться в неизвестность,
И прятать в ней свои шаги,
Как прячется в тумане местность,
Когда в ней не видать ни зги.
Другие по живому следу
Пройдут твой путь за пядью пядь,
Но пораженья от победы
Ты сам не должен отличать.
И должен ни единой долькой
Не отступаться от лица,
Но быть живым, живым и только,
Живым и только до конца.

Ева

Стоят деревья у воды,
И полдень с берега крутого
Закинул облака в пруды,
Как переметы рыболова.

Как невод, тонет небосвод,
И в это небо, точно в сети,

Толпа купальщиков плывет
Мужчины, женщины и дети.

Пять-шесть купальщиц в лозняке
Выходят на берег без шума
И выжимают на песке
Свои купальные костюмы.

И наподобии ужей
Ползут и вьются кольца пряжи,
Как будто искуситель-змей
Скрывался в мокром трикотаже.

О женщина, твой вид и взгляд
Ничуть меня в тупик не ставят.
Ты вся как горла перехват,
Когда его волненье сдавит.

Ты создана как бы вчерне,
Как строчка из другого цикла,
Как будто не шутя во сне
Из моего ребра возникла.

И тотчас вырвалась из рук
И выскользнула из объятья,
Сама смятенье и испуг
И сердца мужеского сжатье.

Без названия

Недотрога, тихоня в быту,
Ты сейчас вся огонь, вся горенье.
Дай запру я твою красоту
В темном тереме стихотворенья.

Посмотри, как преображена
Огневой кожурой абажура
Конура, край стены, край окна,
Наши тени и наши фигуры.

Ты с ногами сидишь на тахте,
Под себя их поджав по-турецки.
Все равно, на свету, в темноте,
Ты всегда рассуждаешь по-детски.

Замечтавшись, ты нижешь на шнур
Горсть на платье скатившихся бусин.
Слишком грустен твой вид, чересчур
Разговор твой прямой безыскусен.
Пошло слово любовь, ты права.

Я придумаю кличку иную.
Для тебя я весь мир, все слова,
Если хочешь, переименую.
Разве хмурый твой вид передаст
Чувств твоих рудоносную залежь,
Сердца тайно светящийся пласт?
Ну так что же глаза ты печалишь?

Весна в лесу

Отчаянные холода
Задерживают таянье.
Весна позднее, чем всегда,
Но и зато нечаянней.

С утра амурится петух,
И нет прохода курице.
Лицом поворотясь на юг,
Сосна на солнце жмурится.
Хотя и парит и печет,
Еще недели целые
Дороги сковывает лед
Корою почернелою.
В лесу еловый мусор, хлам,
И снегом все завалено.
Водою с солнцем пополам
Затоплены проталины.
И небо в тучах как в пуху
Над грязной вешней жижицей
Застряло в сучьях наверху
И от жары не движется.
Июль

По дому бродит привиденье.
Весь день шаги над головой.
На чердаке мелькают тени.
По дому бродит домовой.
Везде болтается некстати,
Мешается во все дела,
В халате крадется к кровати,
Срывает скатерть со стола.

Ног у порога не обтерши,
Вбегает в вихре сквозняка
И с занавеской, как с танцоршей,
Взвивается до потолка.

Кто этот баловник-невежа
И этот призрак и двойник?
Да это наш жилец приезжий,

Наш летний дачник отпускник.

На весь его недолгий роздых
Мы целый дом ему сдаем.
Июль с грозой, июльский воздух
Снял комнаты у нас внаем.

Июль, таскающий в одеже
Пух одуванчиков, лопух,
Июль, домой сквозь окна вхожий,
Все громко говорящий вслух.

Степной нечесаный растрепа,
Пропахший липой и травой,
Ботвой и запахом укропа,
Июльский воздух луговой.

По грибы

Плетемся по грибы.
Шоссе. Леса. Канавы.
Дорожные столбы
Налево и направо.

С широкого шоссе
Идем во тьму лесную.
По щиколку в росе
Плутаем врассыпную.

А солнце под кусты
На грузди и волнушки
Чрез дебри темноты
Бросает свет с опушки.

Гриб прячется за пень.
На пень садится птица.
Нам вехой наша тень,
Чтобы с пути не сбиться.

Но время в сентябре
Отмерено так куцо:
Едва ль до нас заре
Сквозь чащу дотянуться.

Набиты кузовки,
Наполнены корзины.
Одни боровики
У доброй половины.
Уходим. За спиной
Стеною лес недвижный,

Где день в красе земной
Сгорел скоропостижно.

Тишина

Пронизан солнцем лес насквозь.
Лучи стоят столбами пыли.
Отсюда, уверяют, лось
Выходит на дорог развилье.
В лесу молчанье, тишина,
Как будто жизнь в глухой лощине
Не солнцем заворожена,
А по совсем другой причине.
Действительно, невдалеке
Средь заросли стоит лосиха.
Пред ней деревья в столбняке.
Вот отчего в лесу так тихо.
Лосиха ест лесной подсед,
Хрустя обгладывает молодь.
Задевши за ее хребет,
Болтается на ветке желудь.
Иван-да-марья, зверобой,
Ромашка, иван-чай, татарник,
Опутанные ворожбой,
Глазеют, обступив кустарник.
Во всем лесу один ручей
В овраге, полном благозвучья,
Твердит то тише, то звончей
Про этот небывалый случай.
Звеня на всю лесную падь
И оглашая лесосеку,
Он что-то хочет рассказать
Почти словами человека.

Стога

Снуют пунцовые стрекозы,
Летят шмели во все концы,
Колхозники смеются с возу,
Проходят с косами косцы.

Пока хорошая погода,
Гребут и ворошат корма
И складывают до захода
В стога, величиной с дома.

Стог принимает на закате
Вид постоялого двора,

Где ночь ложится на полати
В накошенные клевера.

К утру, когда потемки реже,
Стог высится, как сеновал,
В котором месяц мимоезжий,
Зарывшись, переночевал.

Чем свет телега за телегой
Лугами катятся впотьмах.
Наставший день встает с ночлега
С трухой и сеном в волосах.

А в полдень вновь синеют выси,
Опять стога, как облака,
Опять, как водка на анисе,
Земля душистая крепка.

Липовая аллея

Ворота с полукруглой аркой.
Холмы, луга, леса, овсы.
В ограде мрак и холод парка,
И дом невиданной красы.

Там липы в несколько обхватов
Справляют в сумраке аллей,
Вершины друг за друга спрятав,
Свой двухсотлетний юбилей.

Они смыкают сверху своды.
Внизу лужайка и цветник,
Который правильные ходы
Пересекает напрямик.

Под липами, как в подземельи,
Ни светлой точки на песке,
И лишь отверстием туннеля
Светлеет выход вдалеке.

Но вот приходят дни цветенья,
И липы в поясе оград
Разбрасывают вместе с тенью
Неотразимый аромат.

Гуляющие в летних шляпах
Вдыхают, кто бы ни прошел,
Непостижимый этот запах,
Доступный пониманью пчел.
Он составляет в эти миги,

Когда он за сердце берет,
Предмет и содержанье книги,
А парк и клумбы переплет.
На старом дереве громоздком,
Завешивая сверху дом,
Горят, закапанные воском,
Цветы, зажженные дождем.
Когда разгуляется

Большое озеро как блюдо.
За ним скопленье облаков,
Нагроможденных белой грудой
Суровых горных ледников.
По мере смены освещенья
И лес меняет колорит.
То весь горит, то черной тенью
Насевшей копоти покрыт.
Когда в исходе дней дождливых
Меж туч проглянет синева,
Как празднично в прорывах,
Как торжества полна трава!
Стихает ветер, даль расчистив.
Разлито солнце по земле.
Просвечивает зелень листьев,
Как живопись в цветном стекле.
В церковной росписи оконниц
Так в вечность смотрят изнутри
В мерцающих венцах бессонниц
Святые, схимники, цари.
Как будто внутренность собора
Простор земли, и чрез окно
Далекий отголосок хора
Мне слышать иногда дано.
Природа, мир, тайник вселенной,
Я службу долгую твою,
Объятый дрожью сокровенной,
В слезах от счастья отстою.

Хлеб

Ты выводы копишь полвека,
Но их не заносишь в тетрадь,
И если ты сам не калека,
Ты должен был что-то понять.

Ты понял блаженство занятий,
Удачи закон и секрет.
Ты понял, что праздность проклятье
И счастья без подвига нет.

Что ждет алтарей, откровений,
Героев и богатырей
Дремучее царство растений,
Могучее царство зверей.

Что первым таким откровеньем
Остался в сцепленьи судеб
Прапращуром в дар поколеньям
Взращенный столетьями хлеб.

Что поле во ржи и пшенице
Не только зовет к молотьбе,
Но некогда эту страницу
Твой предок вписал о тебе.

Что это и есть его слово,
Его небывалый почин
Средь круговращенья земного,
Рождений, скорбей и кончин.

Осенний лес

Осенний лес заволосател.
В нем тень, и сон, и тишина.
Ни белка, ни сова, ни дятел
Его не будят ото сна.

И солнце, по тропам осенним
В него входя на склоне дня,
Кругом косится с опасеньем,
Не скрыта ли в нем западня.

В нем топи, кочки и осины,
И мхи и заросли ольхи,
И где-то за лесной трясиной
Поют в селенье петухи.

Петух свой окрик прогорланит,
И вот он вновь надолго смолк,
Как будто он раздумьем занят,
Какой в запевке этой толк.

Но где-то в дальнем закоулке
Прокукарекает сосед.
Как часовой из караулки,
Петух откликнется в ответ.
Он отзовется словно эхо,
И вот, за петухом петух
Отметят глоткою, как вехой,
Восток и запад, север, юг.

По петушиной перекличке
Расступится к опушке лес
И вновь увидит с непривычки
Поля и даль и синь небес.

Заморозки

Холодным утром солнце в дымке
Стоит столбом огня в дыму.
Я тоже, как на скверном снимке,
Совсем неотличим ему.
Пока оно из мглы не выйдет,
Блеснув за прудом на лугу,
Меня деревья плохо видят
На отдаленном берегу.
Прохожий узнается позже,
Чем он пройдет, нырнув в туман.
Мороз покрыт гусиной кожей,
И воздух лжив, как слой румян.
Идешь по инею дорожки,
Как по настилу из рогож.
Земле дышать ботвой картошки
И стынуть больше невтерпеж.

Ночной ветер

Стихли песни и пьяный галдеж.
Завтра надо вставать спозаранок.
В избах гаснут огни. Молодежь
Разошлась по домам с погулянок.
Только ветер бредет наугад
Все по той же заросшей тропинке,
По которой с толпою ребят
Восвояси он шел с вечеринки.
Он за дверью поник головой.
Он не любит ночных катавасий.
Он бы кончить хотел мировой
В споре с ночью свои несогласья.

Перед ними заборы садов.
Оба спорят, не могут уняться.
За разборами их неладов
На дороге деревья толпятся.

Золотая осень

Осень. Сказочный чертог,
Всем открытый для обзора.
Просеки лесных дорог,
Заглядевшихся в озера.

Как на выставке картин:
Залы, залы, залы, залы
Вязов, ясеней, осин
В позолоте небывалой.

Липы обруч золотой
Как венец на новобрачной.
Лик березы под фатой
Подвенечной и прозрачной.

Погребенная земля
Под листвой в канавах, ямах.
В желтых кленах флигеля,
Словно в золоченых рамах,

Где деревья в сентябре
На заре стоят попарно,
И закат на их коре
Оставляет след янтарный,

Где нельзя ступить в овраг,
Чтоб не стало всем известно:
Так бушует, что ни шаг,
Под ногами лист древесный,

Где звучит в конце аллей
Эхо у крутого спуска
И зари вишневый клей
Застывает в виде сгустка.

Осень. Древний уголок
Старых книг, одежд, оружья,
Где сокровищ каталог
Перелистывает стужа.

Ненастье

Дождь дороги заболотил.
Ветер режет их стекло.
Он платок срывает с ветел
И стрижет их наголо.

Листья шлепаются оземь.
Едут люди с похорон.
Потный трактор пашет озимь

В восемь дисковых борон.
Черной вспаханною зябью
Листья залетают в пруд
И по возмущенной ряби
Кораблями в ряд плывут.
Брызжет дождик через сито.
Крепнет холода напор.
Точно все стыдом покрыто,
Точно в осени позор.
Точно срам и поруганье
В стаях листьев и ворон,
И дожде и урагане,
Хлещущих со всех сторон.

Трава и камни

С действительностью иллюзию,
С растительностью гранит
Так сблизили Польша и Грузия,
Что это обеих роднит.
Как будто весной в благовещенье
Им милости возвещены
Землей в каждой каменной трещине,
Травой из-под каждой стены.
И те обещанья подхвачены
Природой, трудами их рук,
Искусствами, всякою всячиной,
Развитьем ремесл и наук.
Побегами жизни и зелени,
Развалинами старины,
Землей в каждой мелкой расселине,
Травой из-под каждой стены.
Следами усердья и праздности,
Беседою, бьющей ключом,
Речами про разные разности,
Пустой болтовней ни о чем.
Пшеницей в полях выше сажени,
Сходящейся над головой,
Землей в каждой каменной скважине,
Травой в половице кривой.

Душистой густой повиликою,
Столетьями, вверх по кусту,
Обвившей былое великое
И будущего красоту.

Сиренью, двойными оттенками
Лиловых и белых кистей,
Пестреющей между простенками
Осыпавшихся крепостей.

Где люди в родстве со стихиями,
Стихии в соседстве с людьми,
Земля в каждом каменном выеме,
Трава перед всеми дверьми.

Где с гордою лирой Мицкевича
Таинственно слился язык
Грузинских цариц и царевичей
Из девичьих и базилик.
Ночь

Идет без проволочек
И тает ночь, пока
Над спящим миром летчик
Уходит в облака.

Он потонул в тумане,
Исчез в его струе,
Став крестиком на ткани
И меткой на белье.

Под ним ночные бары,
Чужие города,
Казармы, кочегары,
Вокзалы, поезда.

Всем корпусом на тучу
Ложится тень крыла.
Блуждают, сбившись в кучу,
Небесные тела.

И страшным, страшным креном
К другим каким-нибудь
Неведомым вселенным
Повернут млечный путь.

В пространствах беспредельных
Горят материки.
В подвалах и котельных
Не спят истопники.

В Париже из-под крыши
Венера или марс
Глядят, какой в афише
Объявлен новый фарс.
Кому-нибудь не спится
В прекрасном далеке
На крытом черепицей
Старинном чердаке.
Он смотрит на планету,
Как будто небосвод

Относится к предмету
Его ночных забот.
Не спи, не спи, работай,
Не прерывай труда,
Не спи, борись с дремотой,
Как летчик, как звезда.
Не спи, не спи, художник,
Не предавайся сну.
Ты вечности заложник
У времени в плену.

Ветер

(четыре отрывка о Блоке)

Кому быть живым и хвалимым,
Кто должен быть мертв и хулим,
Известно у нас подхалимам
Влиятельным только одним.
Не знал бы никто, может статься,
В почете ли Пушкин иль нет,
Без докторских их диссертаций,
На все проливающих свет.
Но блок, слава богу, иная,
Иная, по счастью, статья.
Он к нам не спускался с Синая,
Нас не принимал в сыновья.
Прославленный не по программе
И вечный вне школ и систем,
Он не изготовлен руками
И нам не навязан никем.
Он ветрен, как ветер. Как ветер,
Шумевший в имении в дни,
Как там еще Филька-фалетер[11] (*)
Скакал в голове шестерни.

И жил еще дед якобинец,
Кристальной души радикал,
От коего ни на мизинец
И ветреник внук не отстал.

Тот ветер, проникший под ребра
И в душу, в течение лет
Недоброю славой и доброй
Помянут в стихах и воспет.

Тот ветер повсюду. Он дома,

---

[11] форейтор в старом народном произношении.

В деревьях, в деревне, в дожде,
В поэзии третьего тома,
В «Двенадцати», в смерти, везде.
Широко, широко, широко
Раскинулись речка и луг.
Пора сенокоса, толока,
Страда, суматоха вокруг.
Косцам у речного протока
Заглядываться недосуг.
Косьба разохотила блока,
Схватил косовище барчук.
Ежа чуть не ранил с наскоку,
Косой полоснул двух гадюк.

Но он не доделал урока.
Упреки: лентяй, лежебока!
О детство! О школы морока!
О песни пололок и слуг!

А к вечеру тучи с востока.
Обложены север и юг.
И ветер жестокий не к сроку
Влетает и режется вдруг
О косы косцов, об осоку,
Резучую гущу излук.

О детство! О школы морока!
О песни пололок и слуг!
Широко, широко, широко
Раскинулись речка и луг.
Зловещ горизонт и внезапен,
И в кровоподтеках заря,
Как след незаживших царапин
И кровь на ногах косаря.

Нет счета небесным порезам,
Предвестникам бурь и невзгод,
И пахнет водой и железом
И ржавчиной воздух болот.

В лесу, на дороге, в овраге,
В деревне или на селе
На тучах такие зигзаги
Сулят непогоду земле.
Когда ж над большою столицей
Край неба так ржав и багрян,
С державою что-то случится,
Постигнет страну ураган.
Блок на небе видел разводы.
Ему предвещал небосклон
Большую грозу, непогоду,
Великую бурю, циклон.

Блок ждал этой бури и встряски,
Ее огневые штрихи
Боязнью и жаждой развязки
Легли в его жизнь и стихи.

Дорога

То насыпью, то глубью лога,
То по прямой за поворот
Змеится лентою дорога
Безостановочно вперед.
По всем законам перспективы
За придорожные поля
Бегут мощеные извивы,
Не слякотя и не пыля.
Вот путь перебежал плотину,
На пруд не посмотревши вбок,
Который выводок утиный
Переплывает поперек.
Вперед то под гору, то в гору
Бежит прямая магистраль,
Как разве только жизни в пору
Все время рваться вверх и вдаль.
Чрез тысячи фантасмагорий,
И местности и времена,
Через преграды и подспорья
Несется к цели и она.
А цель ее в гостях и дома
Все пережить и все пройти,
Как оживляют даль изломы
Мимоидущего пути.

В больнице

Стояли как перед витриной,
Почти запрудив тротуар.
Носилки втолкнули в машину.
В кабину вскочил санитар.

И скорая помощь, минуя
Панели, подъезды, зевак,
Сумятицу улиц ночную,
Нырнула огнями во мрак.

Милиция, улицы, лица
Мелькали в свету фонаря.
Покачивалась фельдшерица
Со склянкою нашатыря.

Шел дождь, и в приемном покое
Уныло шумел водосток,
Меж тем как строка за строкою
Марали опросный листок.

Его положили у входа.
Все в корпусе было полно.
Разило парами иода,
И с улицы дуло в окно.

Окно обнимало квадратом
Часть сада и неба клочок.
К палатам, полам и халатам
Присматривался новичок.

Как вдруг из расспросов сиделки,
Покачивавшей головой,
Он понял, что из переделки
Едва ли он выйдет живой.

Тогда он взглянул благодарно
В окно, за которым стена
Была точно искрой пожарной
Из города озарена.

Там в зареве рдела застава,
И, в отсвете города, клен
Отвешивал веткой корявой
Больному прощальный поклон.

"О господи, как совершенны
Дела твои, думал больной,
Постели, и люди, и стены,
Ночь смерти и город ночной.

Я принял снотворного дозу
И плачу, платок теребя.
О боже, волнения слезы
Мешают мне видеть тебя.
Мне сладко при свете неярком,
Чуть падающем на кровать,
Себя и свой жребий подарком
Бесценным твоим сознавать.
Кончаясь в больничной постели,
Я чувствую рук твоих жар.
Ты держишь меня, как изделье,
И прячешь, как перстень, в футляр".

Музыка

Дом высился, как каланча.
По тесной лестнице угольной
Несли рояль два силача,
Как колокол на колокольню.
Они тащили вверх рояль
Над ширью городского моря,
Как с заповедями скрижаль
На каменное плоскогорье.
И вот в гостиной инструмент,
И город в свисте, шуме, гаме,
Как под водой на дне легенд,
Внизу остался под ногами.
Жилец шестого этажа
На землю посмотрел с балкона,
Как бы ее в руках держа
И ею влавствуя законно.
Вернувшись внутрь, он заиграл
Не чью-нибудь чужую пьесу,
Но собственную мысль, хорал,
Гуденье мессы, шелест леса.
Раскат импровизаций нес
Ночь, пламя, гром пожарных бочек,
Бульвар под ливнем, стук колес,
Жизнь улиц, участь одиночек.
Так ночью, при свечах, взамен
Былой наивности нехитрой,
Свой сон записывал Шопен
На черной выпилке пюпитра.

Или, опередивши мир
На поколения четыре,
По крышам городских квартир
Грозой гремел полет валькирий.

Или консерваторский зал
При адском грохоте и треске
До слез Чайковский потрясал
Судьбой Паоло и Франченки.

После перерыва

Три месяца тому назад,
Лишь только первые метели
На наш незащищенный сад
С остервененьем налетели,

Прикинул тотчас я в уме,
Что я укроюсь, как затворник,
И что стихами о зиме

Пополню свой весенний сборник.

Но навалились пустяки
Горой, как снежные завалы.
Зима, расчетам вопреки,
Наполовину миновала.

Тогда я понял, почему
Она во время снегопада,
Снежинками пронзая тьму,
Заглядывала в дом из сада.

Она шептала мне: «Спеши!»
Губами, белыми от стужи,
А я чинил карандаши,
Отшучиваясь неуклюже.

Пока под лампой у стола
Я медлил зимним утром ранним,
Зима явилась и ушла
Непонятым напоминаньем.

Первый снег

Снаружи вьюга мечется
И все заносит в лоск.
Засыпана газетчица
И заметен киоск.

На нашей долгой бытности
Казалось нам не раз,
Что снег идет из скрытности
И для отвода глаз.

Утайщик нераскаянный,
Под белой бахромой
Как часто вас с окраины
Он разводил домой!
Все в белых хлопьях скроется,
Залепит снегом взор,
На ощупь, как пропоица,
Проходит тень во двор.
Движения поспешные:
Наверное, опять
Кому-то что-то грешное
Приходится скрывать.

Снег идет

Снег идет, снег идет.
К белым звездочкам в буране
Тянутся цветы герани
За оконный переплет.
Снег идет, и все в смятеньи,
Все пускается в полет,
Черной лестницы ступени,
Перекрестка поворот.
Снег идет, снег идет,
Словно падают не хлопья,
А в заплатанном салопе
Сходит наземь небосвод.
Словно с видом чудака,
С верхней лестничной площадки,
Крадучись, играя в прятки,
Сходит небо с чердака.
Потому что жизнь не ждет.
Не оглянешься и святки.
Только промежуток краткий,
Смотришь, там и новый год.
Снег идет, густой-густой.
В ногу с ним, стопами теми,
В том же темпе, с ленью той
Или с той же быстротой,
Может быть, проходит время?
Может быть, за годом год
Следуют, как снег идет,
Или как слова в поэме?

Снег идет, снег идет,
Снег идет, и все в смятеньи:
Убеленный пешеход,
Удивленные растенья,
Перекрестка поворот.

Следы на снегу

Полями наискось к закату
Уходят девушек следы.
Они их валенками вмяты
От слободы до слободы.

А вот ребенок жался к мамке.
Луч солнца, как лимонный морс,
Затек во впадины и ямки
И лужей света в льдину вмерз.

Он стынет вытекшею жижей
Яйца в разбитой скорлупе,

И синей линиею лыжи
Его срезают на тропе.

Луна скользит блином в сметане,
Все время скатываясь вбок.
За ней бегут вдогонку сани,
Но не дается колобок.

После вьюги

После угомонившейся вьюги
Наступает в округе покой.
Я прислушиваюсь на досуге
К голосам детворы за рекой.

Я, наверно, неправ, я ошибся,
Я ослеп, я лишился ума.
Белой женщиной мертвой из гипса
Наземь падает навзничь зима.

Небо сверху любуется лепкой
Мертвых, крепко придавленных век.
Все в снегу: двор и каждая щепка,
И на дереве каждый побег.

Лед реки, переезд и платформа,
Лес, и рельсы, и насыпь, и ров
Отлились в безупречные формы
Без неровностей и без углов.

Ночью, сном не успевши забыться,
В просветленьи вскочивши с софы,
Целый мир уложить на странице,
Уместиться в границах строфы.

Как изваяны пни и коряги,
И кусты на речном берегу,
Море крыш возвести на бумаге,
Целый мир, целый город в снегу.

Вакханалия

Город. Зимнее небо.
Тьма. Пролеты ворот.
У Бориса и Глеба
Свет, и служба идет.
Лбы молящихся, ризы
И старух шушуны

Свечек пламенем снизу
Слабо озарены.
А на улице вьюга
Все смешала в одно,
И пробиться друг к другу
Никому не дано.
В завываньи бурана
Потонули: тюрьма,
Экскаваторы, краны,
Новостройки, дома,
Клочья репертуара
На афишном столбе
И деревья бульвара
В серебристой резьбе.
И великой эпохи
След на каждом шагу
В толчее, в суматохе,
В метках шин на снегу,
В ломке взглядов, симптомах
Вековых перемен,
В наших добрых знакомых,
В тучах мачт и антенн,
На фасадах, в костюмах,
В простоте без прикрас,
В разговорах и думах,
Умиляющих нас.
И в значеньи двояком
Жизни, бедной на взгляд,
Но великой под знаком
Понесенных утрат.

«Зимы», «Зисы» и «Татры»,
Сдвинув полосы фар,
Подъезжают к театру
И слепят тротуар.

Затерявшись в метели,
Перекупщики мест
Осаждают без цели
Театральный подъезд.

Все идут вереницей,
Как сквозь строй алебард,
Торопясь протесниться
На «Марию Стюарт».

Молодежь по записке
Добывает билет
И великой артистке
Шлет горячий привет.
За дверьми еще драка,
А уж средь темноты

Вырастают из мрака
Декораций холсты.

Словно выбежав с танцев
И покинув их круг,
Королева шотландцев
Появляется вдруг.

Все в ней жизнь, все свобода,
И в груди колотье,
И тюремные своды
Не сломили ее.

Стрекозою такою
Родила ее мать
Ранить сердце мужское,
Женской лаской пленять.

И за это быть, может,
Как огонь горяча,
Дочка голову сложит
Под рукой палача.

В юбке пепельно-сизой
Села с краю за стол.
Рампа яркая снизу
Льет ей свет на подол.

Нипочем вертихвостке
Похождений угар,
И стихи, и подмостки,
И Париж, и Ронсар.

К смерти приговоренной,
Что ей пища и кров,
Рвы, форты, бастионы,
Пламя рефлекторов?
Но конец героини
До скончанья времен
Будет славой отныне
И молвой окружен.
То же бешенство риска,
Та же радость и боль
Слили роль и артистку,
И артистку и роль.
Словно буйство премьерши
Через столько веков
Помогает умершей
Убежать из оков.
Сколько надо отваги,
Чтоб играть на века,
Как играют овраги,

Как играет река,
Как играют алмазы,
Как играет вино,
Как играть без отказа
Иногда суждено,
Как игралось подростку
На народе простом
В белом платье в полоску
И с косою жгутом.
И опять мы в метели,
А она все метет,
И в церковном приделе
Свет, и служба идет.
Где-то зимнее небо,
Проходные дворы,
И окно ширпотреба
Под горой мишуры.
Где-то пир. Где-то пьянка.
Именинный кутеж.
Мехом вверх, наизнанку
Свален ворох одеж.
Двери с лестницы в сени,
Смех и мнений обмен.
Три корзины сирени.
Ледяной цикламен.

По соседству в столовой
Зелень, горы икры,
В сервировке лиловой
Семга, сельди, сыры,

И хрустенье салфеток,
И приправ острота,
И вино всех расцветок,
И всех водок сорта.

И под говор стоустый
Люстра топит в лучах
Плечи, спины и бюсты,
И сережки в ушах.

И смертельней картечи
Эти линии рта,
Этих рук бессердечье,
Этих губ доброта.

И на эти-то дива
Глядя, как маниак,
Кто-то пьет молчаливо
До рассвета коньяк.

Уж над ним межеумки

Проливают слезу.
На шестнадцатой рюмке
Ни в одном он глазу.

За собою упрочив
Право зваться немым,
Он средь женщин находчив,
Средь мужчин нелюдим.

В третий раз разведенец
И дожив до седин,
Жизнь своих современниц
Оправдал он один.

Дар подруг и товарок
Он пустил в оборот
И вернул им в подарок
Целый мир в свой черед.

Но для первой же юбки
Он порвет повода,
И какие поступки
Совершит он тогда!
Средь гостей танцовщица
Помирает с тоски.
Он с ней рядом садится,
Это ведь двойники.

Эта тоже открыто
Может лечь на ура
Королевой без свиты
Под удар топора.
И свою королеву
Он на лестничный ход
От печей перегрева
Освежиться ведет.
Хорошо хризантеме
Стыть на стуже в цвету.
Но назад уже время
В духоту, в тесноту.
С табаком в чайных чашках
Весь в окурках буфет.
Стол в конфетных бумажках.
Наступает рассвет.
И своей балерине,
Перетянутой так,
Точно стан на пружине,
Он шнурует башмак.
Между ними особый
Распорядок с утра,
И теперь они оба
Точно брат и сестра.

Перед нею в гостиной
Не встает он с колен.
На дела их картины
Смотрят строго со стен.
Впрочем, что им, бесстыжим,
Жалость, совесть и страх
Пред живым чернокнижьем
В их горячих руках?
Море им по колено,
И в безумьи своем
Им дороже вселенной
Миг короткий вдвоем.
Цветы ночные утром спят,
Не прошибает их поливка,
Хоть выкати на них ушат.
В ушах у них два-три обрывка
Того, что тридцать раз подряд
Пел телефонный аппарат.
Так спят цветы садовых гряд
В плену своих ночных фантазий.
Они не помнят безобразья,
Творившегося час назад.

Состав земли не знает грязи.
Все очищает аромат,
Который льет без всякой связи
Десяток роз в стеклянной вазе.
Прошло ночное торжество.
Забыты шутки и проделки.
На кухне вымыты тарелки.
Никто не помнит ничего.

За поворотом

Насторожившись, начеку
У входа в чащу,
Щебечет птичка на суку
Легко, маняще.

Она щебечет и поет
В преддверьи бора,
Как бы оберегая вход
В лесные норы.

Под нею сучья, бурелом,
Над нею тучи,
В лесном овраге за углом
Ключи и кручи.

Нагроможденьем пней, колод

Лежит валежник.
В воде и холоде болот
Цветет подснежник.

А птичка верит, как в зарок,
В свои рулады
И не пускает за порог
Кого не надо.
За поворотом, в глубине
Лесного лога,
Готово будущее мне
Верней залога.

Его уже не втянешь в спор
И не заластишь.
Оно распахнуто, как бор,
Все вглубь, все настежь.

Все сбылось

Дороги превратились в кашу.
Я пробираюсь в стороне.
Я с глиной лед, как тесто квашу,
Плетусь по жидкой размазне.

Крикливо пролетает сойка
Пустующим березняком.
Как неготовая постройка,
Он высится порожняком.
Я вижу сквозь его пролеты
Всю будущую жизнь насквозь.
Все до мельчайшей доли сотой
В ней оправдалось и сбылось.
Я в лес вхожу, и мне не к спеху.
Пластами оседает наст.
Как птице, мне ответит эхо,
Мне целый мир дорогу даст.
Среди размокшего суглинка,
Где обнажился голый грунт,
Щебечет птичка под сурдинку
С пробелом в несколько секунд.
Как музыкальную шкатулку,
Ее подслушивает лес,
Подхватывает голос гулко
И долго ждет, чтоб звук исчез.
Тогда я слышу, как верст за пять,
У дальних землемерных вех
Хрустят шаги, с деревьев капит
И шлепается снег со стрех.
Пахота

Что сталось с местностью всегдашней?
С земли и неба стерта грань.
Как клетки шашечницы, пашни
Раскинулись, куда ни глянь.
Пробороненные просторы
Так гладко улеглись вдали,
Как будто выровняли горы
Или равнину подмели.
И в те же дни единым духом
Деревья по краям борозд
Зазеленели первым пухом
И выпрямились во весь рост.
И ни соринки в новых кленах,
И в мире красок чище нет,
Чем цвет берез светло-зеленых
И светло-серых пашен цвет.

Поездка

На всех парах несется поезд,
Колеса вертит паровоз.
И лес кругом смолист и хвоист,
И склон березами порос.

И путь бежит, столбы простерши,
И треплет кудри контролерши,
И воздух делается горше
От гари, легшей на откос.

Беснуются цилиндр и поршень,
Мелькают гайки шатуна,
И тенью проплывает коршун
Вдоль рельсового полотна.

Машина испускает вздохи
В дыму, как в шапке набекрень,
А лес, как при царе горохе,
Как в предыдущие эпохи,
Не замечая суматохи,
Стоит и дремлет по сей день.

И где-то, где-то города
Вдали маячат, как бывало,
Куда по вечерам устало
Подвозят к старому вокзалу
Новоприбывших поезда.

Туда толпою пассажиры
Текут с вокзального двора,

Путейцы, сторожа, кассиры,
Проводники, кондуктора.

Вот он со скрытностью сугубой
Ушел за улицы изгиб,
Вздымая каменные кубы
Лежащих друг на друге глыб,
Афиши, ниши, крыши, трубы,
Гостиницы, театры, клубы,
Бульвары, скверы, купы лип,
Дворы, ворота, номера,
Подъезды, лестницы, квартиры,
Где всех страстей идет игра
Во имя переделки мира.

Женщины в детстве

В детстве, я как сейчас еще помню,
Высунешься, бывало, в окно,
В переулке, как в каменоломне,
Под деревьями в полдень темно.
Тротуар, мостовую, подвалы,
Церковь слева, ее купола
Тень двойных тополей покрывала
От начала стены до угла.
За калитку дорожки глухие
Уводили в запущенный сад,
И присутствие женской стихии
Облекало загадкой уклад.
Рядом к девочкам кучи знакомых
Заходили и толпы подруг,
И цветущие кисти черемух
Мыли листьями рамы фрамуг.
Или взрослые женщины в гневе,
Разбранившись без обиняков,
Вырастали в дверях, как деревья
По краям городских цветников.
Приходилось, насупившись букой,
Щебет женщин сносить словно бич,
Чтоб впоследствии страсть, как науку,
Обожанье, как подвиг, постичь.
Всем им, вскользь промелькнувшим где-либо
И пропавшим на том берегу,
Всем им, мимо прошедшим, спасибо,
Перед ними я всеми в долгу.

Зимние праздники

Будущего недостаточно.
Старого, нового мало.
Надо, чтоб елкою святочной
Вечность средь комнаты стала.
Чтобы хозяйка утыкала
Россыпью звезд ее платье,
Чтобы ко всем на каникулы
Съехались сестры и братья.
Сколько цепей ни примеривай,
Как ни возись с туалетом,
Все еще кажется дерево
Голым и полуодетым.

Вот, трубочиста замаранней,
Взбив свои волосы клубом,
Елка напыжилась барыней
В нескольких юбках раструбом.

Лица становятся каменней,
Дрожь пробегает по свечкам,
Струйки зажженного пламени
Губы сжимают сердечком.

Ночь до рассвета просижена.
Весь содрогаясь от храпа,
Дом, точно утлая хижина,
Хлопает дверцею шкапа.

Новые сумерки следуют,
День убавляется в росте.
Завтрак проспавши, обедают
Заночевавшие гости.

Солнце садится, и пьяницей
Издали, с целью прозрачной
Через оконницу тянется
К хлебу и рюмке коньячной.

Вот оно ткнулось, уродина,
В снег образиною пухлой,
Цвета наливки смородинной,
Село, истлело, потухло.

Тени вечера волоса тоньше

Тени вечера волоса тоньше
За деревьями тянутся вдоль.
На дороге лесной почтальонша
Мне протягивает бандероль.

По кошачьим следам и по лисьим,
По кошачьим и лисьим следам
Возвращаюсь я с пачкою писем
В дом, где волю я радости дам.

Горы, страны, границы, озера,
Перешейки и материки,
Обсужденья, отчеты, обзоры,
Дети, юноши и старики.

Досточтимые письма мужские!
Нет меж вами того письма,
Где свидетельства мысли сухие
Не выказывали бы ума.

Драгоценные женские письма!
Я ведь тоже упал с облаков.
Присягаю вам ныне и присно:
Ваш я буду во веки веков.
Ну, а вы, собиратели марок!
За один мимолетный прием,
О, какой бы достался подарок
Вам на бедственном месте моем!

Единственные дни

На протяженьи многих зим
Я помню дни солнцеворота,
И каждый был неповторим
И повторялся вновь без счета.
И целая их череда
Составилась мало-помалу
Тех дней единственных, когда
Нам кажется, что время стало.
Я помню их наперечет:
Зима подходит к середине,
Дороги мокнут, с крыш течет
И солнце греется на льдине.
И любящие, как во сне,
Друг к другу тянутся поспешней,
И на деревьях в вышине
Потеют от тепла скворешни.
И полусонным стрелкам лень
Ворочаться на циферблате,
И дольше века длится день
И не кончается объятье.

Стихотворения, не вошедшие в основное собрание

Я в мысль глухую о себе

Я в мысль глухую о себе
Ложусь, как в гипсовую маску.
И это смерть: застыть в судьбе,
В судьбе формовщика повязке.

Вот слепок. Горько разрешен
Я этой думою о жизни.
Мысль о себе как капюшон,
Чернеет на весне капризной.

Сумерки… Словно оруженосцы роз

Сумерки… Словно оруженосцы роз,
На которых их копья и шарфы.
Или сумерки их менестрель, что врос
С плечами в печаль свою арфу.

Сумерки оруженосцы роз
Повторят путей их извивы
И, чуть опоздав, отклонят откос
За рыцарскою альмавивой.

Двух иноходцев сменный черед,
На одном только вечер рьяней.
Тот и другой. Их соберет
Ночь в свои тусклые ткани.

Тот и другой. Топчут полынь
Вспышки копыт порыжелых.
Глубже во мглу. Тушит полынь
Сердцебиение тел их.

Элегия 3

Бывали дни: как выбитые кегли
Ложились в снег двенадцатые дня.
Я видел, миги местничеств избегли,
Был каждый сумрак полднем вкруг меня.

И в пустырях нечаянных игралищ
Терялись вы, ваш целившийся глаз.
Теперь грядущего немой паралич
Расколыхал жестокий ваш отказ.
Прощайте. Пусть! Я посвящаюсь чуду.

Тасуйте дни, я за века зайду.
Прощайте. Пусть. Теперь начну оттуда
Святимых сроков сокрушать гряду.

Он слышал жалобу бруска

Он слышал жалобу бруска
О лезвие косы.
Он слышал… Падала плюска…
И шли часы.
О нет, не шли они… Как кол
Колодезной бадьи
Над севером слезливых сел,
Что в забытьи,
Так время, радуясь, как шест,
Стонало на ветру
И зыбью обмелевших звезд
Несло к утру.
Распутывали пастухи
Сырых свирелей стон,
И где-то клали петухи
Земной поклон.

Пусть даже смешаны сердца

Пусть даже смешаны сердца,
Твоей границей я не стану,
И от тебя как от крыльца
Отпрянувшая в ночь поляна.
О, жутко женщиной идти!
И знает этих шествий участь
Преображенная в пути
Земли последняя певучесть.

Там, в зеркале, они бессрочны,

Мои черты, судьбы черты,
Какой себе самой заочной
Я доношусь из пустоты!
Вокруг изношены судьбою,
Оправленные в города,
Тобой повитые, тобою
Разбросаны мои года…

Лесное

Я уст безвестных разговор,
Как слух, подхвачен городами;
Ко мне, что к стертой анаграмме,
Подносит утро луч в упор.

Но мхи пугливо попирая,
Разгадываю тайну чар:
Я речь безгласного их края,
Я их лесного слова дар.

О, прослезивший туч раскаты,
Отважный, отроческий ствол!
Ты перед вечностью ходатай,
Блуждающий я твой глагол.

О, чернолесье голиаф,
Уединенный воин в поле!
О, певческая влага трав,
Немотствующая неволя!

Лишенных слов стоглавый бор
То хор, то одинокий некто…
Я уст безвестных разговор,
Я столп дремучих диалектов.

Грусть моя, как пленная сербка,

Грусть моя, как пленная сербка,
Родной произносит свой толк.
Напевному слову так терпко
В устах, целовавших твой шелк.

И глаз мой, как загнанный флюгер,
Землей налетевшей гоним.
Твой очерк играл, словно угорь,
И око тонуло за ним.

И вздох мой мехи у органа
Лихой нагнетают фальцет;
Ты вышла из церкви так рано,
Твой чистый хорал недопет!

Весь мартиролог не исчислен
В моем одиноком житьи,
Но я, как репейник, бессмыслен
В степи, как журавль у бадьи.

Близнецы

Сердца и спутники, мы коченеем,
Мы близнецами одиночных камер.
Чьея ж косы горящим водолеем,
Звездою ложа в высоте я замер?
Вокруг иных влюбленных верный хаос,
Чья над уснувшей бездыханна стража,
Твоих покровов мнущийся канаус
Не перервут созвездные миражи.
Земля успенья твоего не вычет
Из возносящихся над снегом пилястр,
И коченеющий близнец граничит
С твоею мукой, стерегущий кастор.
Я оглянусь. За сном оконных фуксий
Близнец родной свой лунный стан просыпал.
Не та же ль ночь на брате, на поллуксе,
Не та же ль ночь сторожевых манипул?
Под ним лучи. Чеканом блещет поножь,
А он плывет, не тронув снов пятою.
Но где тот стан, что ты гнетешь и гонишь,
Гнетешь и гнешь, и стонешь высотою?

Близнец на корме

Константину Локс

Как топи укрывают рдест,
Так никнут над мечтою веки…
Сородичем попутных звезд
Уйду однажды и навеки.
Крутой мы обогнем уступ
Живых, заночевавших криптий,
Моим глаголом, пеплом губ,
Тогда найденыша засыпьте.
Уж пригороды позади.
Свежо… С звездой попутной дрогну.
Иные тянутся в груди,
Иные вырастают стогна.
Наложницы смежилась грудь,
И полночи обогнут профиль,
Колышется, коснеет ртуть
Туманных станов, кранов, кровель.

Тогда, в зловещей полутьме,
Сквозь залетейские миазмы,
Близнец мне виден на корме,
Застывший в безвременной астме.

Лирический простор

Сергею Боброву

Что ни утро, в плененьи барьера,
Непогод обезбрежив брезент,
Чердаки и кресты монгольфьера
Вырываются в брезжущий тент.

Их напутствуют знаком беспалым,
Возвестившим пожар каланче,
И прощаются дали с опалом
На твоей догоревшей свече.

Утончаются взвитые скрепы,
Струнно высится стонущий альт;
Не накатом стократного склепа,
Парусиною вздулся асфальт.

Этот альт только дек поднебесий,
Якорями напетая вервь,
Только утренних, струнных полесий
Колыханно-туманная верфь.

И когда твой блуждающий ангел
Испытает причалов напор,
Журавлями налажен, триангль
Отзвенит за тревогою хорд.

Прирученный не вытерпит беркут,
И не сдержит твердынь карантин.
Те, что с тылу, бескрыло померкнут,
Окрыленно вспылишь ты один.

Ночью… Со связками зрелых горелок

Ночью… Со связками зрелых горелок,
Ночью… С сумою дорожной луны,
Днем ты дохнешь на полуденный щелок,
Днем на седую золу головни.

День не всегда ль порошится щепоткой
Сонных огней, угрызеньем угля?
Ночь не горела ль огнем самородка,
Жалами стульев, словами улья?

О, просыпайтеся, как лаззарони
С жарким, припавшим к панели челом!

Слышите исповедь в пьяном поклоне?
«Был в сновидения ночью подъем».
Ночью, ниспал твой ослабнувший пояс,
И расступилась смущенная чернь…
Днем он таим поцелуем пропоиц,
Льнущих губами к оправе цистерн.

За обрывками редкого сада

За обрывками редкого сада,
За решеткой глухого жилья,
Раскатившеюся эспланадой
Перед небом пустая земля.
Прибывают немые широты,
Убыл по миру пущенный гул,
Как отсроченный день эшафота,
Горизонт в глубину отшагнул.
Дети дня, мы сносить не привыкли
Этот запада гибнущий срок,
Мы, надолго отлившие в тигле
Обиходный и легкий восток.
Но что скажешь ты, вздох по наслышке,
На зачатый тобою прогон,
Когда, ширью грудного излишка
Нагнетаем, плывет небосклон?

Хор

Ю. Анисимову

Жду, скоро ли с лесов дитя,
Вершиной в снежном хоре,
Падет, главою очертя,
В пучину ораторий.

(вариант темы)

Уступами восходит хор,
Хребтами канделябр:
Сначала дол, потом простор,
За всем слепой октябрь.
Сперва плетень, над ним леса,
За всем скрипучий блок.
Рассветно строясь, голоса
Уходят в потолок.

Сначала рань, сначала рябь,
Сначала сеть сорок,
Потом в туман, понтоном в хлябь,
Возводится восток.

Сперва жжешь вдоволь жирандоль,
Потом сгорает зря;
За всем на сотни стогн оттоль
Разгулы октября.

Но будут певчие молчать,
Как станет звать дитя.
Сорвется хоровая рать,
Главою очертя.

О, разве сам я не таков,
Не внятно одинок?
И разве хоры городов
Не певчими у ног?

Когда, оглядываясь вспять,
Дворцы мне стих сдадут,
Не мне ль тогда по ним ступать
Стопами самогуд?

Ночное панно

Когда мечтой двояковогнутой
Витрину сумерки покроют,
Меня сведет в твое инкогнито
Мой телефонный целлулоид.

Да, это надо так, чтоб скучились
К свече преданья коридоров;
Да, надо так, чтоб вместе мучились,
Сам-третий с нами ночи норов.

Да, надо, чтоб с отвагой юноши
Скиталось сердце фаэтоном,
Чтоб вышло из моей полуночи
Оно тяглом к твоим затонам.

Чтобы с затишьями шоссейными
Огни перекликались в центре,
Чтоб за оконными бассейнами
Эскадрою дремало джентри.

Чтоб, ночью вздвоенной оправданы,
Взошли кумиры тусклым фронтом,

Чтобы в моря, за аргонавтами
Рванулась площадь горизонтом.

Чтобы руна златого вычески
Сбивались сединами к мелям,
Чтоб над грядой океанической
Стонало сердце Ариэлем.
Когда ж костры колоссов выгорят
И покачнутся сны на рейде,
В какие бухты рухнет пригород,
И где, когда вне песен негде?

Сердца и спутники

Е. А. В.

Итак, только ты, мой город,
С бессонницей обсерваторий,
С окраинами пропаж,
Итак, только ты, мой город,
Что в спорные, розные зори
Дверьми окунаешь пассаж.
Там: в сумерек сизом закале,
Где блекнет воздушная проседь,
Хладеет заброшенный вход.
Здесь: к неотгорающей дали
В бывалое выхода просит,
К полудню теснится народ.
И словно в сквозном телескопе,
Где, сглазив подлунные очи,
Узнал близнеца звездочет,
Дверь с дверью, друг друга пороча,
Златые и синие хлопья
Плутают и гибнут вразброд.
Где к зыби клонятся балконы
И в небо старинная мебель
Воздета, как вышняя снасть,
В беспамятстве гибельных гребель
Лишатся сердца обороны,
И спутников скажется власть.
Итак, лишь тебе, причудник,
Вошедший в афелий пассажем,
Зарю сочетавший с пургой,
Два голоса в песне, мы скажем:
"нас двое: мы сердце и спутник,
И надвое тот и другой".

Цыгане

От луча отлынивая смолью,
Не алтыном огруженных кос,
В яровых пруженые удолья
Молдован сбивается обоз.

Обленились чада град-загреба,
С молодицей обезроб и смерд:
Твердь обует, обуздает небо,
Твердь стреножит, разнуздает твердь!

Жародею жогу, соподвижцу
Твоего девичья младежа,
Дево, дево, растомленной мышцей
Ты отдашься, долони сложа.

Жглом полуд пьяна напропалую,
Запахнешься ль подлою полой,
Коли он в падучей поцелуя
Сбил сорочку солнцевой скулой.

И на версты. Только с пеклой вышки,
Взлокотяся, крошка за крохой,
Кормит солнце хворую мартышку
Бубенца облетной шелухой.

Мельхиор

Храмовый в малахите ли холен,
Возлелеян в сребре косогор
Многодольную голь колоколен
Мелководный несет мельхиор.

Над канавой иззвеженной сиво
Столбенеют в тускле берега,
Оттого что мосты без отзыву
Водопьянью над згой бочага,

Но, курчавой крушася карелой,
По бересте дворцовой раздран
Обольется и кремль обгорелый
Теплой смирной стоячих румян.

Как под стены зоряни зарытой,
За окоп, под босой бастион
Волокиты мосты волокиту
Собирают в дорожный погон.

И, братаясь, раскат со раскатом,
Башни слюбятся сердцу на том,

Что, балакирем склабясь над блатом,
Разболтает пустой часоем.

Об Иване Великом

В тверди тверда слова рцы
Заторел дворцовый торец,
Прорывает студенцы
Чернолатый ратоборец.
С листовых его желез
Дробью растеклась столица,
Ей несет наперерез
Твердо слово рцы копытце.
Из желобчатых ложбин,
Из-за захолодей хлеблых
За полблином целый блин
Разминает белый облак.
А его обводит кисть,
Шибкой сини птичий причет,
В поцелуях цвель и чисть
Косит, носит, пишет, кличет.
В небе пестуны-писцы
Засинь во чисте содержат.
Шоры, говор, тор… Но тверже
Твердо, твердо слово рцы.

Артиллерист стоит у кормила

Артиллерист стоит у кормила,
И земля, зачерпывая бортом скорбь,
Несется под давлением в миллиард атмосфер,
Озверев, со всеми батареями в пучину.
Артиллерист-вольноопределяющийся, скромный
и простенький.
Он не видит опасных отрогов,
Он не слышит слов с капитанского мостика,
Хоть и верует этой ночью в бога;
И не знает, что ночь, дрожа по всей обшивке
Лесов, озер, церковных приходов и школ,
Вот-вот срежется, спрягая в разбивку
С кафедры на ветер брошенный глагол: zaw[12]
Голосом перосохшей гаубицы,
И вот-вот провалится голос,
Что земля, терпевшая обхаживанья солнца
И ставшая солнце обхаживать потом,

---

[12] жить (греч)

С этой ночи вращается вокруг пушки японской
И что он, вольноопределяющийся, правит винтом.

Что, не боясь попасть на гауптвахту,
О разоруженьи молят облака,
И вселенная стонет от головокруженья,
Расквартированная наспех в разможенных головах,
Она ощутила их сырость впервые,
Они ей неслышны, живые.

Как казначей последней из планет

Как казначей последней из планет,
В какой я книге справлюсь, горожане,
Во что душе обходится поэт,
Любви, людей и весен содержанье?

Однажды я невольно заглянул
В свою еще не высохшую роспись
И ты больна, больна миллионом скул,
И ты одна, одна в их черной оспе!

Счастливая, я девушке скажу.
Когда-нибудь, и с сотворенья мира
Впервые, тело спустят, как баржу,
На волю дней, на волю их буксира.

Несчастная, тебе скажу, жене
Еще не позабытых похождений,
Несчастная затем, что я вдвойне
Люблю тебя за то и это рвенье!

Может быть, не поздно.
Брось, брось,
Может быть, не поздно еще,
Брось!

Ведь будет он преследовать
Рев этих труб,

Назойливых сетований
Поутру, ввечеру:

Зачем мне так тесно
В моей душе
И так безответствен
Сосед!

Быть может, оттуда сюда перейдя
И перетащив гардероб,

Она забыла там снять с гвоздя,
О, если бы только салоп!

Но, без всякого если бы, лампа чадит
Над красным квадратом ковров,
И, без всякого если б, магнит, магнит
Ее родное тавро.

Ты думаешь, я кощунствую?
О нет, о нет, поверь!
Но, как яд, я глотаю по унции
В былое ведущую дверь.
Впустите, я там уже, или сойду
Я от опозданья с ума,
Сохранна в душе, как птица на льду,
Ревнивой тоски сулема.
Ну понятно, в тумане бумаг, стихи
Проведут эту ночь во сне!
Но всю ночь мои мысли, как сосен верхи
К заре в твоем первом огне.
Раньше я покрывал твои колени
Поцелуями от всего безрассудства.
Но, как крылья, растут у меня оскорбленья,
Дай и крыльям моим к тебе прикоснуться!
Ты должна была б слышать, как песню в кости,
Охранительный окрик: «Постой, не торопись!»
Если б знала, как будет нам больно расти
Потом, втроем, в эту узкую высь!
Маленький, маленький зверь,
Дитя больших зверей,
Пред собой, за собой проверь
Замки у всех дверей!
Давно идут часы,
Тебя не стали ждать,
И в девственных дебрях красы
Бушует: «Опять, опять»…
……
Полюбуйся ж на то,
Как всевластен размер,
Орел, решето?
Ты щедра, я щедр.
Когда копилка наполовину пуста,
Как красноречивы ее уста!
Опилки подчас звучат звончей
Копилки и доверху полной грошей.
Но поэт, казначей человечества, рад
Душеизнурительной цифре затрат,
Затрат, пошедших, например,
На содержанье трагедий, царств и химер.

Весна, ты сырость рудника в висках

Весна, ты сырость рудника в висках.
Мигренью руд горшок цветочный полон.
Зачахли льды. Но гиацинт запах
Той болью руд, которою зацвел он.

Сошелся клином свет. И этот клин
Обыкновенно рвется из-под ребер,
Как полы листьев лип и пелерин
В лоскутья рвутся дождевою дробью.

Где ж начинаются пустые небеса,
Когда, куда ни глянь, без передышки
В шаги, во взгляды, в сны и в голоса
Земле врываться, век стуча задвижкой!

За нею на ходу, по вечерам
И по ухабам ночи волочится,
Как цепь надорванная пополам,
Заржавленная, древняя столица.

Она гремит, как только кандалы
Греметь умеют шагом арестанта,
Она гремит и под прикрытьем мглы
Уходит к подгородным полустанкам.

Тоска, бешеная, бешеная

Тоска, бешеная, бешеная,
Тоска в два-три прыжка
Достигает оконницы, завешенной
Обносками крестовика.

Тоска стекло вышибает
И мокрою куницею выносится
Туда, где плоскогорьем лунно-холмным
Леса ночные стонут
Враскачку, ртов не разжимая,
Изъеденные серною луной.

Сквозь заросли татарника, ошпаренная,
Задами пробирается тоска;
Где дуб дуплом насупился,
Здесь тот же желтый жупел все,
И так же, серой улыбаясь,
Луна дубам зажала рты.

Чтоб той улыбкою отсвечивая,
Отмалчивались стиснутые в тысяче

Про опрометчиво-запальчивую,
Про облачно-заносчивую ночь.

Листы обнюхивают воздух,
По ним пробегает дрожь
И ноздри хвойных загвоздок
Воспаляет неба дебош.
Про неба дебош только знает
Редизна сквозная их,
Соседний север краешком
К ним, в их вертепы вхож.
Взъерошенная, крадучись, боком,
Тоска в два-три прыжка
Достигает, черная, наскоком
Вонзенного в зенит сука.
Кишмя-кишат затишьями маковки,
Их целый голубой поток,
Тоска всплывает плакальщицей чащ,
Надо всем водружает вопль.
И вот одна на свете ночь идет
Бобылем по усопшим урочищам,
Один на свете сук опылен
Первопутком млечной ночи.
Одно клеймо тоски на суку,
Полнолунью клейма не снесть,
И кунью лапу поднимает клеймо,
Отдает полнолунью честь.
Это, лапкой по воздуху водя, тоска
Подалась изо всей своей мочи
В ночь, к звездам и молит с последнего сука
Вынуть из лапки занозу.
Надеюсь, ее вынут. Тогда, в дыру
Амбразуры стекольщик вставь ее,
Души моей, с именем женским в миру
Едко въевшуюся фотографию.

Полярная швея

1

На мне была белая обувь девочки
И ноябрь на китовом усе,
Последняя мгла из ее гардеробов,
И не во что ей запахнуться.
Ей не было дела до того, что чучело
Чурбан мужского рода,
Разутюжив вьюги, она их вьючила
На сердце без исподу.

Я любил оттого, что в платье милой

Я милую видел без платья,
Но за эти виденья днем мне мстило
Перчатки рукопожатье.

Еще многим подросткам, верно, снится
Закройщица тех одиночеств,
Накидка подкидыша, ее ученицы,
И гербы на картонке ночи.

2

И даже в портняжной,
Где под коленкор
Канарейка об сумерки клюв свой стачивала,
И даже в портняжной, каждый спрашивает
О стенном приборе для измеренья чувств.

Исступленье разлуки на нем завело
Под седьмую подводину стрелку,
Протяжней влюбленного взвыло число,
Две жизни да ночь в уме!
И даже в портняжной,
Где чрез коридор
Рапсодия венгерца за неуплату денег,
И даже в портняжной,
Сердце, сердце,
Стенной неврастеник нас знает в лицо.

Так далеко ль зашло беспамятство,
Упрямится ль светлость твоя
Смотри: с тобой объясняется знаками
Полярная швея.

Отводит глаза лазурью лакомой,
Облыжное льет стекло,
Смотри, с тобой объясняются знаками…
Так далеко зашло.

Улыбаясь, убывала

Улыбаясь, убывала
Ясность масленой недели,
Были снегом до отвала
Сыты сани, очи, ели.

Часто днем комком из снега,
Из оттаявшей пороши

Месяц в синеву с разбега
Нами был, как мяч, подброшен.

Леденцом лежала стужа
За щекой и липла к небу,
Оба были мы в верблюжьем,
И на лыжах были оба.

Лыжи были рыжим конским
Волосом подбиты снизу,
И подбиты были солнцем
Кровли снежной, синей мызы.
В беге нам мешали прясла,
Нам мешали в беге жерди,
Капли благовеста маслом
Проникали до предсердья.
Гасла даль, и из препятствий
В место для отдохновенья
Превращались жерди. В братстве
На снег падали две тени.
От укутанных в облежку
В пух, в обтяжку в пух одетых
Сумрак крался быстрой кошкой,
Кошкой в дымчатых отметах.
Мы смеялись, оттого что
Снег смешил глаза и брови,
Что лазурь, как голубь с почтой,
В клюве нам несла здоровье.

Предчувствие

Камень мыло унынье,
Всхлипывал санный ком,
Гнил был линючий иней,
Снег был с полым дуплом.
Шаркало. Оттепель, харкая,
Ощипывала фонарь,
Как куропатку кухарка,
И город, был гол, как глухарь.
Если сползали сани
И расползались врозь,
Это в тумане фазаньим
Перьям его ползлось.
Да, это им хотелось
Под облака, под стать
Их разрыхленному телу.
Черное небу под стать.

Но почему

Но почему
На медленном огне предчувствия
Сплавляют зиму?

И почему
Весь, как весною захолустье,
Уязвим я?
И почему,
Как снег у бака водогрейни,
Я рассеян?
И почему
Парная ночь, как испаренье
Водогреен?
И облака
Раздольем моего ночного мозга
Плывут, пока
С земли чужой их не окликнет возглас,
И волоса
Мои приподымаются над тучей.
Нет, нет! Коса
Твоя найдет на камень, злополучье!

Пусть сейчас
Этот мозг, как бочонок, и высмолен,
И ни паруса!
Пена и пена.

Но сейчас,
Но сейчас дай собраться мне с мыслями
Постепенно
Пусти! Постепенно.
Нет, опять
Тетка оттепель крадется с краденым,
И опять
Город встал шепелявой облавой,

И опять
По глазным, ополоснутым впадинам
Тают клады и плавают
Купола с облаками и главы
И главы.

Materia prima[13]

Чужими кровями сдабривавший

---

[13] первоматерия (лат.)

Свою, оглушенный поэт,
Окно на софийскую набережную,
Не в этом ли весь секрет?

Окно на софийскую набережную,
Но только о речке запой,
Твои кровяные шарики,
Кусаясь, пускаются за реку,
Как крысы на водопой.

Волненье дарит обмолвкой.
Обмолвясь словом: река,
Открыл ты не форточку,
Открыл мышеловку,

К реке прошмыгнули мышиные мордочки
С пастью не одного пасюка.
Сколько жадных моих кровинок
В крови облаков, и помоев, и будней
Ползут в эти поры домой, приблудные,
Снедь песни, снедь тайны оттаявшей вынюхав!
И когда я танцую от боли
Или пью за ваше здоровье,
Все то же: свирепствует свист в подполье,
Свистят мокроусые крови в крови.

С рассветом, взваленным за спину

С рассветом, взваленным за спину,
Пусть с корзиной с грязным бельем,
Выхожу я на реку заспанный
Берега сдаются внаем.
Портомойные руки в туманах пухнут,
За синением стекол мерзлых горишь,
Словно детский чулочек, пасть кошки на кухне
Выжимает суконную мышь;
И из выжатой пастью тряпочки
Каплет спелая кровь черным дождиком на пол,
С горьким утром в зубах ее сцапала кошка,
И комок того утра за шкапом;
Но ведь крошечный этот чулочек
Из всего предрассветного узла!
Ах, я знаю, что станет сочиться из ночи,
Если выжать весь прочий облачный хлам.

Вслед за мной все зовут вас барышней

Вслед за мной все зовут вас барышней,

Для меня ж этот зов зачастую,
Как акт наложенья наручней,
Как возглас: «я вас арестую».
Нас отыщут легко все тюремщики
По очень простой примете:
Отныне на свете есть женщина
И у ней есть тень на свете.
Есть лица, к туману притертые
Всякий раз, как плашмя на них глянешь,
И только одною аортою
Лихорадящий выплеснут глянец.

Pro Domo[14]

Налетела тень. Затрепыхалась в тяге
Сального огарка. И метнулась вон
С побелевших губ и от листа бумаги
В меловый распах сыреющих окон.

В час, когда писатель только вероятье,
Бледная догадка бледного огня,
В уши душной ночи как не прокричать ей:
«Это час убийства! Где-то ждут меня!»

В час, когда из сада остро тянет тенью
Пьяной, как пространства, мировой, как скок
Степи под седлом, я весь на иждивенье
У огня в колонной воспаленных строк.

Осень. Отвыкли от молний

Осень. Отвыкли от молний.
Идут слепые дожди.
Осень. Поезда переполнены
Дайте пройти! Все позади.

Какая горячая кровь у сумерек

Какая горячая кровь у сумерек,
Когда на лампе колпак светло-синий.
Мне весело, ласка, понятье о юморе
Есть, верь, и у висельников на осине;

---

[14] о себе (лат.)

Какая горячая, если растерянно,
Из дома Коровина на ветер вышед,
Запросишь у стужи высокой материи,
Что кровью горячей сумерек пышет,

Когда абажур светло-синий над лампою,
И ртутью туман с тротуарами налит,
Как резервуар с колпаком светло-синим…
Какая горячая кровь у сумерек!

Скрипка Паганини

1

Душа, что получается?

Он на простенок выбег,
Он почернел, кончается
Сгустился, целый цыбик
Был высыпан из чайницы.

Он на карнизе узком,
Он из агата выточен,
Он одуряет сгустком
Какой-то страсти плиточной.
Отчетлив, как майолика,
Из смол и молний набран,
Он дышит дрожью столика
И зноем канделябров.
Довольно. Мгла заплакала,
Углы стекла всплакнули…
Был карликом, кривлякою
Messieurs[15], расставьте стулья.

2

Дома из более чем антрацитовых плиток,
Сады из более чем медных мозаик,
И небо более паленое, чем свиток,
И воздух более надтреснутый, чем вскрик,
И в сердце, более прерывистом, чем «слушай»
Глухих морей в ушах материка,
Врасплох застигнутая боле, чем удушьем,
Любовь и боле, чем любовная тоска!

---

[15] господа (франц.)

3

Я дохну на тебя, мой замысел,
И ты станешь, как кожа индейца.
Но на что тебе, песня, надеяться?
Что с тобой я вовек не расстанусь?
Я создам, как всегда, по подобию
Своему вас, рабы и повстанцы,
И закаты за вами потянутся,
Как напутствия вам и надгробья.
Но нигде я не стану вас чествовать
Юбилеем лучей, и на свете
Вы не встретите дня, день не встретит вас,
Я вам ночь оставляю в наследье.
Я люблю тебя черной от сажи
Сожиганья пассажей, в золе
Отпылавших андант и адажий,
С белым пеплом баллад на челе,
С загрубевшей от музыки коркой
На поденной душе, вдалеке
Неумелой толпы, как шахтерку,
Проводящую день в руднике.

Она

Изборожденный тьмою бороздок,
Рябью сбежавший при виде любви,
Этот, вот этот бесснежный воздух,
Этот, вот этот руками лови?

Годы льдов простерлися
Небом в отдаленьи,
Я ловлю, как горлицу,
Воздух голой жменей,

Вслед за накидкой ваточной
Все долой, долой!
Нынче небес недостаточно,
Как мне дышать золой!

Ах, грудь с грудью борются
День с уединеньем.
Я ловлю, как горлицу,
Воздух голой жменей.

Он

Я люблю, как дышу. И я знаю:
Две души стали в теле моем.
И любовь та душа иная,
Им несносно и тесно вдвоем;

От тебя моя жажда пособья,
Без тебя я не знаю пути,
Я с восторгом отдам тебе обе,
Лишь одну из двоих приюти.

О, не смейся, ты знаешь какую
О, не смейся, ты знаешь к чему
Я и старой лишиться рискую,
Если новой я рта не зажму.

Порою ты, опередив

Порою ты, опередив
Мгновенной вспышкой месяцы,
Сродни пожарам чащ и нив,
Когда края безлесятся;

Дыши в грядущее, теребь
И жги его залижется
Оно душой твоей, как степь
Пожара беглой жижицей.

И от тебя по самый гроб
С судьбы твоей преддверия,
Дни, словно стадо антилоп,
В испуге топчут прерии.

Apassionata[16]

От жара струились стручья,
От стручьев струился жар,
И ночь пронеслась, как из тучи
С корнем вырванный шар.
Удушьем свело оболочку,
Как змей, трещала ладья,
Сегодня ж мне кажется точкой
Та ночь в небесах бытия.
Не помню я, был ли я первым,

---

16 страстная (итал.)

Иль первою были вы
По ней барабанили нервы,
Как сетка из бичевы.
Громадой рубцов напружась,
От жару грязен и наг,
Был одинок, как ужас,
Ее восклицательный знак.
Проставленный жизнью по сизой
Безводной сахаре небес,
Он плыл, оттянутый книзу,
И пел про удельный вес.

Последний день Помпеи

Был вечер, как удар,
И был грудною жабой
Лесов багровый шар,
Чадивший без послабы.
И день валился с ног,
И с ног валился тут же,
Где с людом и шинок,
Подобранный заблудшей
Трясиной, влекся. Где
Концы свели с концами,
Плавучесть звезд в воде
И вод в их панораме.
Где словно спирт, взасос
Пары болот под паром
Тянули крепость рос,
Разбавленных пожаром.

И был, как паралич,
Тот вечер. Был, как кризис
Поэм о смерти. Притч
Решивших сбыться, близясь.

Сюда! Лицом к лицу
Заката, не робея!
Сейчас придет к концу
Последний день Помпеи.

Это мои, это мои

Это мои, это мои,
Это мои непогоды
Пни и ручьи, блеск колеи,
Мокрые стекла и броды,

Ветер в степи, фыркай, храпи,
Наотмашь брызжи и фыркай!
Что тебе сплин, ропот крапив,
Лепет холстины по стирке.

Платья, кипя, лижут до пят,
Станы гусей и полотнищ,
Рвутся, летят, клонят канат,
Плещут в ладони работниц.

Ты и тоску порешь в лоскут,
Порешь, не знаешь покрою,
Вот они там, вот они тут,
Клочьями кочки покроют.

Прощанье

Небо гадливо касалось холма,
Осенью произносились проклятья,
По ветру время носилось, как с платья
Содранная бурьянами тесьма.

Тучи на горку держали. И шли
Переселеньем народов на горку.
По ветру время носилось оборкой
Грязной, худой, затрапезной земли.

Степь, как архангел, трубила в трубу,
Ветер горланил протяжно и властно:
Степь! Я забыл в обладании гласной,
Как согласуют с губою губу.

Вон, наводя и не на воды жуть,
Как на лампаду, подул он на речку,
Он и пионы, как сальные свечки,
Силится полною грудью задуть.
И задувает. И в мрак погрузясь,
Тускло хладеют и плещут подкладкой
Листья осин. И, упав на площадку,
Свечи с куртин зарываются в грязь.
Стало ли поздно в полях со вчера
Иль до бумажек сгорел накануне
Вянувший тысячелетник петуний,
Тушат. Прощай же. На месяц. Пора.

Муза девятьсот девятого

Слывшая младшею дочерью

Гроз, из фамилии ливней,
Ты, опыленная дочерна
Громом, как крылья крапивниц!
Молния былей пролившихся,
Мглистость молившихся мыслей,
Давность, ты взрыта излишеством,
Ржавчиной блеск твой окислен!
Башни, сшибаясь, набатили,
Вены вздымались в галопе.
Небо купалося в кратере,
Полдень стоял на подкопе.
Луч оловел на посудинах.
И, как пески на самуме,
Клубы догадок полуденных
Рот задыхали безумьем.
Твой же глагол их осиливал,
Но от всемирных песчинок
Хруст на зубах, как от пылева,
Напоминал поединок.

Наброски к фантазии "Поэма о ближнем"

1

* * *

Во все продолженье рассказа голос
Был слушатель холост, рассказчик женат,
Как шляпа бегущего берегом к молу,
Мелькал и мелькал,
И под треск камелька
Взвивался канат
У купален.
И прядало горе, и гребни вскипали
Был слушатель холост, рассказчик женат.

И часто рассказом, был слушатель холост,
Рассказчик женат; мелькающий голос,
Как шляпа бегущего молом из глаз
Скрывался сбивало и в черные бреши
Летевших громад, гляделась помешанным
Осанна без края и пенилась, пела и жглась.

Как будто обили черным сукном
Соборные своды, и только в одном
Углу разметались могучей мечты
Бушующие светоносно листы.

Как будто на море, на бурный завет,
На библию гибели пенистый свет

Свергался, и били псалмами листы,
И строки кипели, дышали киты.

И небо рыдало над морем, на той
Странице развернутой, где за шестой
Печатью седьмую печать сломив,
Вся соль его славит, кипя, суламифь.

И молом такого-то моря (прибой
Впотьмах городил баррикаду повстанца)
Бежал этот голос, ужасный, как бой
Часов на далекой спасательной станции.

Был слушатель холост, был голос была
Вся бытность разрыта, вся вечность, рассеянный,
Осклабясь во все лицо, как скала,
И мокрый от слез, как маска бассейная,
Он думал: "Мой бог!
Где же был ране
Этот клубок
Нагнанных братом рыданий?

Разве и я
Горечи великолепий,
В чаши края
Сердцем впиваяся, не пил?
Как же без слез,
Как же без ропота, молча
Жжение снес
Ропота, слез я и желчи?
Или мой дух, как молитвенник,
Лютых не слыша ран,
К самому краю выдвинут
Черной доски лютеран.
Служит им скорбью настольной,
Справочником и с тем
Жизнь засолила больно
Тело моих поэм?"

1

Я тоже любил. И за архипелаг
Жасминовых брызг, на брезгу, меж другими,
В поля, где впотьмах еще, перепела
Пылали, как горла в ангине,
Я ангела имя ночное врезал,
И в ландыша жар погружались глаза.
……
Как скряги рука
В волоса сундука,

В белокурые тысячи английских гиней.

2

Земля пробуждалась, как Ганг
……
……
……
……
……
……
……
……

3

……
……
……

Не я ли об этом же о спящих песках,
Как о сном утомленных детях,
Шептал каштанам, и стучало в висках,
И не знал я, куда мне деть их.

И сравнивал с мелью спокойствия хмель,
С песчаной косой, наглотавшейся чалений
И тины носившихся морем недель…
Что часто казалось, ушей нет,
В мире такая затишь!
Затишь кораблекрушенья,
Часто казалось, спятишь.

Тучи, как цирка развалины,
Нагреты. Разможжено
О гроты оглохшее дно.
И чавкают сыто скважины
Рубцами волны расквашенной.

Пастбищем миль умаленный,
Ты закрываешь глаза;
Как штиль плодоносен!
Как наливается тишь!

Гнется в плодах спелый залив,
Олово с солью!
Волны, как ветви. Жаркая осень.
Шелест налившихся слив.

Олово с солью!
Клонит ко сну чельные капли полудня.
Спится теплу.
Господи боже мой! Где у тебя, непробудный,
В этой юдоли
Можно уснуть?
Площадь сенная,
Голуби, блуд.
Красный цыган конокрад,
Смоль борода, у палатки
Давится алчным распалом
Заполыхавшего сена.
Без треска и шипу
Сено плоится,
Слова не молвя.
Сонная смотрит толпа,
Как заедает ржаною горбушкой,
Пальцы в солонку,
Пышный огонь он.

Корчится сено,
Как с бороды отрясает
Крошки и тленье.
Тянутся низко лабазы.
Ваги и гири.
Пыль и мякина.
Лязга не слышно
Идущих мимо вагонов.
То полевою
Мышью потянет, то ветер
Из винокурни ударит
Жаркой изжогой,
То мостовая
Плоско запреет конюшней,
Краской, овсом и мочою.
Ты открываешь глаза.
Тощ молочай.
Прыщет песчинками чибис.
Ящерица, невзначай.
Пенно лущится крошево зыби
В грудках хряща.
Здесь так глубоко.
Так легко захлебнуться.
Плеск этот, плеск этот, плеск…
Словно лакает скала;
Словно блюдце
Глубь с ободком.
Зыбь.
Жара.
Колосится зной,
Печет,
Течет в три ручья.

В топке
Индига
Солонеет огонь.
К дохлой
Пробке
Присохла
Вонь.
И, как в ушах водолаза,
В рослых водах балласт
Грузимых гулов; фраза
Зыби: музыка, муза
Не даст. Не предаст. Не даст.
Тускнеет, трескаясь,
Рыбья икра.

День был резкий,
Марбург, жара,
По вечерам, как перья дрофе,
Городу шли озаренья кафе,
И низко, жар-птицей, пожар в погреба
Бросая, летела судьба,
Струей раскаленного никеля
Слепящий кофе стекал.
А в зарослях парковых глаз хоть выколи,
Но парк бокал озарял
Луной, леденевшей в бокале,
И клумбы в шарах умолкали.
……..

* * *

Уже в архив печали сдан
Последний вечер новожила.
Окно ему на чемодан
Ярлык кровавый наложило.

Перед отъездом страшный знак
Был самых сборов неминучей
Паденье зеркала с бумаг,
Сползавших на пол грязной кучей.

Заря ж и на полу стекло,
Как на столе пред этим, лижет.
О счастье: зеркало цело,
Я им напутствуем не выжит.

Драматические отрывки

1

В Париже. На квартире Леба. В комнате окна стоят настежь. Летний день. В отдалении гром. Время действия между 10 и 20 мессидора (29 июня – 8 июля) 1794 г.

Сен-Жюст

Таков Париж. Но не всегда таков,
Он был и будет. Этот день, что светит
Кустам и зданьям на пути к моей
Душе, как освещают путь в подвалы,
Не вечно будет бурным фонарем,
Бросающим все вещи в жар порядка,
Но век пройдет, и этот теплый луч
Как уголь почернеет, и в архивах
Пытливость поднесет свечу к тому,
Что нынче нас слепит, живит и греет,
И то, что нынче ясность мудреца,
Потомству станет бредом сумасшедших.

Он станет мраком, он сойдет с ума,
Он этот день, и бог, и свет, и разум.
Века бегут, боятся оглянуться,
И для чего? Чтоб оглянуть себя.
Наводят ночь, чтоб полдни стали книгой,
И гасят годы, чтоб читать во тьме.
Но тот, в душе кого селится слава,
Глядит судьбою: он наводит ночь
На дни свои, чтоб полдни стали книгой,
Чтоб в эту книгу славу записать.
(К Генриетте, занятой шитьем, живее и проще)
Кто им сказал, что для того, чтоб жить,
Достаточно родиться? Кто докажет,
Что этот мир как постоялый двор.
Плати простой и спи в тепле и в воле.
Как людям втолковать, что человек
Дамоклов меч творца, капкан вселенной,
Что духу человека негде жить,
Когда не в мире, созданном вторично,
Они же проживают в городах,
В бордо, в Париже, в Нанте и в Лионе,
Как тигры в тростниках, как крабы в море,
А надо резать разумом стекло,
И раздирать досуги, и трудами…

Генриетта

Ты говоришь…

Сен-Жюст (продолжает рассеянно)

Я говорю, что труд
Есть миг восторга, превращенный в годы.

Генриетта

Зачем ты едешь?

Сен-Жюст

Вскрыть гнойник тоски.

Генриетта

Когда вернешься?

Сен-Жюст

К пуску грязной крови.

Генриетта

Мне непонятно.

Сен-Жюст

Не во все часы
В Париже рукоплещут липы грому,
И гневаются тучи, и, прозрев,
Моргает небо молньями и ливнем.
Здесь не всегда гроза. Здесь тишь и сон.
Здесь ты не всякий час со мной.

Генриетта (удивленно)

Не всякий?
А там?

Сен-Жюст

А там во все часы атаки.

Генриетта

Но там ведь нет…

Сен-Жюст

Тебя?

Генриетта

Меня.

Сен-Жюст

Но там,
Там, дай сказать: но там ты постоянно.
Дай мне сказать. Моя ли или нет
И равная в любви или слабее,
Но это ты, и пахнут города,
И воздух битв тобой, и он доступен
Моей душе, и никому не встать
Между тобою в облаке и грудью
Расширенной моей, между моим
Волненьем по бессоннице и небом.
Там дело духа стережет дракон
Посредственности и Сен-Жюст георгий,
А здесь дракон грознее во сто крат,
Но здесь георгий во сто крат слабее.

Генриетта

Кто там прорвет нарыв тебе?

Сен-Жюст

Мой долг.
Живой напор души моих приказов.
Я так привык сгорать и оставлять
На людях след моих самосожжений!
Я полюбил, как голубой глинтвейн,
Бездымный пламень опоенных силой
Зажженных нервов, погруженных в мысль
Концом свободным, как светильня в масло.
Покою нет и ночью. Ты лежишь
Одетый.

Генриетта

Как покойник!

Сен-Жюст

Нет покоя
И ночью. Нет ночей. Затем, что дни
Тусклее настоящих и тоскливей,
Как будто солнце дышит на стекло
И пальцами часы по нем выводит,
Шатаясь от жары. Затем, что день
Больнее дня и ночь волшебней ночи.
Пылится зной по жнивьям. Зыбь лучей
Натянута, как кожа барабанов
Идущих мимо войск……
……

Генриетта

Как это близко мне! Как мне сродни
Все эти мысли. Верно, верно, верно.
И все ж я сплю; и все ж я ем и пью,
И все же я в уме и в здравых чувствах,
И белою не видится мне ночь,
И солнце мне не кажется лиловым.

Сен-Жюст

Как спать, когда родится новый мир,
И дум твоих безмолвие бушует,
То говорят народы меж собой
И в голову твою, как в мяч, играют,
Как спать, когда безмолвье дум твоих
Бросает в трепет тишь, бурьян и звезды
И птицам не дает уснуть. Всю ночь
Стоит с зари бессонный гомон чащи.
И ночи нет. Не убранный стоит
Забытый день, и стынет и не сходит
Единый, вечный, долгий, долгий день.

2

Из ночной сцены с 9 на 10 термидора 1794 г.

Внутренность парижской ратуши. За сценой признаки приготовлений к осаде, грохот стягиваемых орудий, шум и т. п. Коффингаль прочел декрет конвента, прибавив к объявленным вне закона и публику в ложах. Зал Ратуши мгновенно пустеет. Хаотическая гулкость безлюдья. Признаки рассвета на капителях колонн. Остальное погружено во мрак. Широкий канцелярский стол посреди изразцовой площадки. На столе свеча.

Анрио лежит на одной из лавок вестибюля. Коффингаль, Леба, Кутон, Огюстен, Робеспьер и др. В глубине сцены, расхаживают, говорят промеж себя, подходят к Анрио. Этих в продолжении начальной сцены неслышно. Авансцена. У стола со свечой: Сент-Жюст и Максимилиан Робеспьер. Сен-Жюст расхаживает. Робеспьер сидит за столом, оба молчат. Тревога и одуренье.

Робеспьер

Оставь. Прошу тебя. Мелькнула мысль.
Оставь шагать.

Сен-Жюст

А! Я тебе мешаю?

долгое молчанье.

Робеспьер

Ты здесь, Сен-Жюст? Где это было все?
Бастилия, Версаль, октябрь и август?

Сен-жюст останавливается, смотрит с удивленьем
На Робеспьера.

Робеспьер

Они идут?

Сен-Жюст

Не слышу.

Робеспьер

Перестань.
Ведь я просил тебя. Мне надо вспомнить.
Не знаешь: Огюстен предупредил
Дюпле?

Сен-Жюст

Не знаю.

Робеспьер

Ты не знаешь.
Не задавай вопросов. Не могу
Собраться с мыслью. Сколько било? Тише.
Есть план. Зачем ты здесь? Иди, ступай!
Я чувствую тебя, как близость мыши,
И забываю думать. Может быть,
Еще не поздно. Впрочем, оставайся.
Сейчас. Найду. Осеклось! Да. Сейчас.
Не уходи. Ты нужен мне. О, дьявол!
Но это ж пытка! У кого спросить,
О чем я думал только? Как припомнить!

Молчанье. Сен-Жюст расхаживает.

Робеспьер

Они услышат. Тише. Дай платок.

Сен-Жюст

Платок?

Робеспьер

Ну да. Ты нужен мне. О, дьявол!

Иди, ступай! Погибли! Не могу!
Ни мысли вихрь. Я разучился мыслить!

(Хрипло, хлопнув себя по лбу)
Дальнейшие слова относятся к голове Робеспьера.
В последний миг, о дура! Ведь кого,
Себя спасать; кобылою уперлась!
Творила чудеса! Достань вина.
Зови девиц! Насмешка! «Неподкупный»
Своей святою предан головой
И с головой убийцам ею выдан!
Я посвящал ей все, что посвятить
Иной спешил часам и мигам страсти.
Дантон не понимал меня. Простак,
Ему не снилось даже, что на свете
Есть разума твердыни, есть дела
Рассудка, есть понятий баррикады
И мятежи мечтаний, и восторг
Возвышенных восстаний чистой мысли.
Он был преступен, скажем; суть не в том.
Но не тебе ль, не в честь твою ли в жертву
Я именно его принес. Тебе.
Ты, только ты была моим ваалом.

Сен-Жюст

В чем дело, Робеспьер?

Робеспьер

Я возмущен
Растерянностью этой подлой твари!
Пытался. Не могу. Холодный пот,
Сухой туман вот вся ее работа.
Пересыхает в горле. Пустота,
И лом в кости, и ни единой мысли.
Нет, мысли есть, но как мне передать
Их мелкую, крысиную побежку!
Вот будто мысль. Погнался. Нет. Опять
Вот будто. Нет. Вот будто. Хлопнул. Пусто!
Имей вторую я! И головы
Распутной не сносить бы Робеспьеру!

Сен-Жюст

Оставь терзать себя. Пускай ее
Распутничает. Пусть ее блуждает
В последний раз.

Робеспьер

Нет, в первый! Отчего

И негодую я. Нашла минуту!
Нашла когда! Довольно. Остается
Проклясть ее и сдаться. Я сдаюсь.

Сен-Жюст

Пускай ее блуждает. Ты спросил,
Где это было все: октябрь и август,
Второе июня.

Робеспьер (вперебой, о своем)

Вспомнил!

Сен-Жюст

Брось. И я
Об этом думал.

Робеспьер (свое)

Вспомнил. На мгновенье!
Минуту!

Сен-Жюст

Брось. Не стоит. Между тем
Я тоже думал. Как могло случиться.

Робеспьер (желчно)

Ведь я прошу! За этим преньем слов…
Ну так и есть.

Пауза, в течение которой коффингаль, леба
И другие уходят, и задний план пустеет,
Исключая анрио, который спит и не в счет.

Робеспьер (хрипло, в отчаяньи)

Когда б не ты. Довольно
Я слушаю. Ну что ж ты? Продолжай,
Пропало все. Ведь я сказал, что сдался.
Ну добивай. Прости. Я сам не свой.

Сен-Жюст

А это так естественно. Ты с мышью
Сравнил меня и с крысой мысль твою.
Да, это так. Да, мечутся как крысы
В горящем доме мысли. Да, они
Одарены чутьем и пред пожаром

Приподымают морды, и кишит

Не мозг не он один, но царства мира,
Охваченные мозгом беготней
Подкуренных душком ужасной смерти
Зверьков проворных: мерзких, мерзких дум.
Не мы одни, нет, все прошли чрез это
Ужасное познанье, и у всех
Был предпоследний час и день последний,
Но побеждали многие содом
Наглеющих подполий и всходили
С улыбкою на плаху. И была
История республики собраньем
Предсмертных дней. Быть может, никого
Не посетила не предупредивши
И не была естественною смерть.

Робеспьер (рассеянно)

Где Огюстен?

Сен-Жюст

С Кутоном.

Робеспьер

Где?

Сен-Жюст

С Кутоном.

Робеспьер

Но это не ответ. А где Кутон?

Сен-жюст

Пошли наверх. Все в верхнем зале. Слушай.
Во Франции не стали говорить:
«Не знаю, что сулит мне день грядущий»,
Не стало тайн. Но каждый, проходя
По площади – музею явных таинств,
По выставке кончин, мог лицезреть
Свою судьбу в бездействии и в деле.

Робеспьер

Ты каешься?

Сен-Жюст

далек от мысли. Нет.
Но летопись республики есть повесть
Величия предсмертных дней. Сама
Страна как бы вела дневник загробный,
И не чередование ночей
С восходами бросало пестрый отблеск
На Францию; но оборот миров,
Закат вселенной, черный запад смерти
Стерег ее и нас подстерегал…

Любовь Фауста

Все фонари, всех лавок скарлатина,
Всех кленов коленкор
С недавних пор
Одно окно стянули паутиной.

Клеенки всех столовых. Весь масштаб
Шкапов и гипсов мысли. Все казармы.
Весь шабаш безошибочной мечты.
С недавних пор
К violette de parme.[17] (*)

Весь душный деготь магий. Доктора
И доги. Все гремучие загрузки
Рожков, кружащих полночь – со вчера
К несчастной блузке.

Зола всех июлей, зелень всех калений,
Олифа лбов; сползающий компресс
Небес лечебных. Все, что о галене
Гортанно и арабски клегчет бес
и шепчет гений.

Все масло всех портретов; все береты,
Все жженой пробкой, чертом, от руки,
Чулком в известку втертые
поэты.
и чудаки.
С недавних пор.

1917?

Голос души

[17] к пармской фиалке (франц.)

Все в шкафу раскинь,
И все теплое
Собери, – в куски
Рвут вопли его.

Прочь, не трать труда,
Держишь, – вытащу,
Разорвешь – беда ль:
Станет ниток сшить.
Человек! Не страх?
Делать нечего.
Я – душа. Во прах
Опрометчивый!
Мне ли прок в тесьме,
Мне ли в платьице.
Человек, ты смел?
Так поплатишься!
Поражу глаза
Дикой мыслью я —
– это я сказал!
– нет, мои слова.
Головой твоей
Ваших выше я,
Не бывавшая
И не бывшая.

1918

Голод

1

Во сне ты бредила, жена,
И если сон твой впрямь был страшен,
То он был там, где, шпатом пашен
Стуча, шагает тишина.
То ты за тридцать царств отсель,
Где Дантов ад стал обитаем,
Где царство мертвых стало краем,
Стонала, раскидав постель.

2

Страшись меня как крыжака,
Держись как чумного монгола,
Я ночью краем пиджака
Касался этих строк про голод.
Я утром платья не сменил,

Карболкой не сплеснул глаголов,
Я в дверь не вышвырнул чернил,
Которыми писал про голод.
Что этим мукам нет имен,
Я должен был бы знать заране,
Но я искал их, и клеймен
Позором этого старанья.

1922

Gleisdreieck

Надежде Александровне Залшупиной

Чем в жизни пробавляется чудак,
Что каждый день за небольшую плату
Сдает над ревом пропасти чердак
Из Потсдама спешащему закату?

Он выставляет розу с резедой
В клубящуюся на версты корзину,
Где семафоры спорят красотой
Со снежной далью, пахнущей бензином.

В руках у крыш, у труб, у недотрог
Не сумерки, – карандаши для грима.
Туда из мрака вырвавшись, метро
Комком гримас летит на крыльях дыма.

30 января 1923
Берлин

1 мая

О город! О сборник задач без ответов,
О ширь без решенья и шифр без ключа!
О крыши! Отварного ветра отведав,
Кыш в траву и марш, тротуар горяча!

Тем солнцем в то утро, в то первое мая
Умаяв дома до упаду с утра,
Сотрите травою до первых трамваев
Грибок трупоедских пиров и утрат.

Пусть взапуски с зябкостью запертых лавок
Бежит, в рубежах дребезжа, синева
И, бредя исчезнувшим снегом, вдобавок
Разносит над грязью без связи слова.

О том, что не быть за сословьем четвертым,
Ни к пятому спуска, ни отступа вспять,
Что счастье, коль правда, что новым нетвердым
Плетням и межам меж людьми не бывать,

Что ты не отчасти и не между прочим
Сегодня с рабочим, – что всею гурьбой
Мы в боги свое человечество прочим.
То будет последний решительный бой.

1923

Морской штиль

Палящим полднем вне времен
В одной из лучших экономий
Я вижу движущийся сон, —
Историю в сплошной истоме.

Прохладой заряжен револьвер
Подвалов, и густой салют
Селитрой своды отдают
Гостям при входе в полдень с воли.
В окно ж из комнат в этом доме
Не видно ни с каких сторон
Следов знакомой жизни, кроме
Воды и неба вне времен.
Хватясь искомого приволья,
Я рвусь из низких комнат вон.
Напрасно! За лиловый фольварк,
Под слуховые окна служб
Верст на сто в черное безмолвье
Уходит белой лентой глушь.
Верст на сто путь на запад занят
Клубничной пеной, и янтарь
Той пены за собою тянет
Глубокой ложкой вал винта.
А там, с обмылками в обнимку,
С бурлящего песками дна,
Как кверху всплывшая клубника,
Круглится цельная волна.

1923

Стихотворенье

Стихотворенье? – Малыши!
Известны ль вам его оттенки,
Когда во всех концах души
Не спят его корреспондентки?

И пишут вам: "Среда. Кивач.
Встаю, разбуженная гулом,
Рассвет кидается кивать
И хлопает холстиной стула.
Как глаз усталых ни таращь,
Террасу оглушает гомон,
Сырой картон кортомных чащ,
Как лапой, грохотом проломан.
И где-то выпав из корыт,
Катясь с лопаты на лопату,
Озерный округ сплошь покрыт
Холодным потом водопада".

1923

Трепещет даль. Ей нет препон

Трепещет даль. Ей нет препон.
Еще оконницы крепятся.
Когда же сдернут с них кретон,
Зима заплещет без препятствий.

Зачертыхались сучья рощ,
Трепещет даль, и плещут шири.
Под всеми чертежами ночь
Подписывается в четыре.

Внизу толпится гольтепа,
Пыхтит ноябрь в седой попоне.
При первой пробе фортепьян
Все это я тебе напомню.

Едва распущенный Шопен
Опять не сдержит обещаний,
И кончит бешенством, взамен
Баллады самообладанья.

Осень

Ты распугал моих товарок,
Октябрь, ты страху задал им,
Не стало астр на тротуарах,
И страшно ставней мостовым.

Со снегом в кулачке, чахотка
Рукой хватается за грудь.
Ей надо, видишь ли, находку
В обрывок легких завернуть.

А ты глядишь? Беги, преследуй,
Держи ее – и не добром,
Так силой – отыми браслеты,
Завещанные сентябрем.

Перелет

А над обрывом, стих, твоя опешит
Зарвавшаяся страстность муравья,
Когда поймешь, чем море отмель крешет,
Поскальзываясь, шаркая, ревя.

Обязанность одна на урагане:
Перебивать за поворотом грусть
И сразу перехватывать дыханье,
И кажется, ее нетрудно блюсть.

Беги же вниз, как этот спуск ни скользок
Где дачницыно щелкает белье,
И ты поймешь, как мало было пользы
В преследованьи рифмой форм ее.
Не осмотрясь и времени не выбрав
И поглощенный полностью собой,
Нечаянно, но с фырканьем всех фибров
Летит в объятья женщины прибой.
Где грудь, где руки брызгавшейся рыбки?
До лодок доплеснулся жидкий лед.
Прибой и землю обдал по ошибке…
Такому счастью имя – перелет.

Стихи для детей

Карусель

Листья кленов шелестели,
Был чудесный летний день.
Летним утром из постели
Никому вставать не лень.
Бутербродов насовали,
Яблок, хлеба каравай.
Только станцию назвали,
Сразу тронулся трамвай.
У заставы пересели
Всей ватагой на другой.
В отдаленьи карусели
Забелели за рекой.
И душистой повиликой,
Выше пояса в коврах,

Все от мала до велика
Сыпем кубарем в овраг.
За оврагом на площадке
Флаги, игры для ребят,
Деревянные лошадки
Скачут, пыли не клубят.
Черногривых, длиннохвостых
Челки, гривы и хвосты
С полу подняло на воздух,
Опускает с высоты.
С каждым кругом тише, тише,
Тише, тише, тише, стоп.
Эти вихри скрыты в крыше,
Посредине крыши – столб.

Круг из прутьев растопыря,
Гнется карусель от гирь.
Карусели в тягость гири,
Парусину тянет вширь.

Точно вышли из токарни,
Под пинками детворы
Кони щелкают шикарней,
Чем крокетные шары.

За машиной на полянке
Лущит семечки толпа.
На мужчине при шарманке
Колокольчатый колпак.

Он трясет, как дождик банный,
Побрякушек бахромой,
Колотушкой барабанной,
Ручкой, ножкою хромой.

Как пойдет колодкой дергать,
Щиколоткою греметь,
Лопается от восторга,
Со смеху трясется медь.

Он, как лошадь на пристяжке,
Изогнувшись в три дуги,
Бьет в ладоши и костяшки,
Мнется на ногу с ноги.

Погружая в день бездонный
Кудри, гривы, кружева,
Тонут кони, и фестоны,
И колясок кузова.

И навстречу каруселям
Мчатся, на руки берут

Зараженные весельем
Слева роща, справа пруд.

С перепутья к этим прутьям
Поворот довольно крут,
Детям радость, встретим – крутим,
Слева – роща, справа – пруд.

Пропадут – и снова целы,
Пронесутся – снова тут,
То и дело, то и дело
Слева роща, справа пруд.

Эти вихри скрыты в крыше,
Посредине крыши – столб.
С каждым кругом тише, тише,
Тише, тише, тише, стоп!

1924

Зверинец

Зверинец расположен в парке.
Протягиваем контрамарки.
Входную арку окружа,
Стоят у кассы сторожа.
Но вот ворота в форме грота.
Показываясь с поворота
Из-за известняковых груд,
Под ветром серебрится пруд.
Он пробран весь насквозь особым
Неосязаемым ознобом.
Далекое рычанье пум
Сливается в нестройный шум.
Рычанье катится по парку,
И небу делается жарко,
Но нет ни облачка в виду
В зоологическом саду.
Как добродушные соседи,
С детьми беседуют медведи,
И плиты гулкие глушат
Босые пятки медвежат.
Бегом по изразцовым сходням
Спускаются в одном исподнем
Медведи белые втроем
В один семейный водоем.
Они ревут, плещась и моясь.
Штанов в воде не держит пояс,
Но в стирке никакой отвар
Неймет косматых шаровар.
Пред тем как гадить, покосится

И пол обнюхает лисица.
На лязг и щелканье замков
Похоже лясканье волков.
Они от алчности поджары,
Глаза полны сухого жара, —
Волчицу злит, когда трунят
Над внешностью ее щенят.
Не останавливаясь, львица
Вымеривает половицу,
За поворотом поворот,
Взад и вперед, взад и вперед.
Прикосновенье прутьев к морде
Ее гоняет, как на корде;
За ней плывет взад и вперед
Стержней железных переплет.

И той же проволки мельканье
Гоняет барса на аркане,
И тот же брусяной барьер
Приводит в бешенство пантер.
Благовоспитаннее дамы
Подходит, приседая, лама,
Плюет в глаза и сгоряча
Дает нежданно стрекача.
На этот взрыв тупой гордыни
Грустя глядит корабль пустыни, —
«на старших сдуру не плюют»,
Резонно думает верблюд.
Под ним, как гребни, ходят люди.
Он высится крутою грудью,
Вздымаясь лодкою гребной
Над человеческой волной.

Как бабьи сарафаны, ярок
Садок фазанов и цесарок.
Здесь осыпается сусаль
И блещут серебро и сталь.
Здесь, в переливах жаркой сажи,
В платке из черно-синей пряжи,
Павлин, загадочный, как ночь,
Подходит и отходит прочь.
Вот он погас за голубятней,
Вот вышел он, и необъятней
Ночного неба темный хвост
С фонтаном падающих звезд!

Корытце прочь отодвигая,
Закусывают попугаи
И с отвращеньем чистят клюв,
Едва скорлупку колупнув.
Недаром от острот отборных
И язычки, как кофе в зернах,

Обуглены у какаду
В зоологическом саду.
Они с персидскою сиренью
Соперничают в опереньи.
Чем в птичнике, иным скорей
Цвести среди оранжерей.

Но вот любимец краснозадый
Зоологического сада,
Безумьем тихим обуян,
Осклабившийся павиан.
То он канючит подаянья,
Как подобает обезьяне,
То утруждает кулачок
Почесываньем скул и щек,
То бегает кругом, как пудель,
То на него находит удаль,
И он, взлетев на всем скаку,
Гимнастом виснет на суку.

В лоханке с толстыми боками
Гниет рассольник с потрохами.
Нам говорят, что это – ил,
А в иле – нильский крокодил.
Не будь он совершенной крошкой,
Он был бы пострашней немножко.
Такой судьбе и сам не рад
Несовершеннолетний гад.
Кого-то по пути минуя,
К кому-то подходя вплотную,
Идем, встречая по стенам
Дощечки с надписью: «К слонам».
Как воз среди сенного склада,
Стоит дремучая громада.
Клыки ушли под потолок.
На блоке вьется сена клок.
Взметнувши с полу вихрь мякины,
Повертывается махина
И подает чуть-чуть назад
Стропила, сено, блок и склад.
Подошву сжал тяжелый обод,
Грохочет цепь и ходит хобот,
Таскаясь с шарком по плите,
И пишет петли в высоте.
И что-то тешется средь суши:
Не то обшарпанные уши,
Как два каретных кожуха,
Не то соломы вороха.
Пора домой. Какая жалость!
А сколько див еще осталось!
Мы осмотрели разве треть.
Всего зараз не осмотреть.

В последний раз в орлиный клекот
Вливается трамвайный рокот,
В последний раз трамваиный шум
Сливается с рычаньем пум.

1924

Асееву

(надпись на книге "Сестра моя-жизнь")

Записки завсегдатая
Трех четвертей четвертого,
Когда не к людям – к статуям
Рассвет сады повертывает,
Когда ко всякой всячине
Пути – куда туманнее,
Чем к сердцу миг, охваченные
Росою и вниманием.

На памяти недавнего
Рассвета свеж тот миг,
Когда с зарей я сравнивал
Бессилье наших книг.

Когда живей запомнившись,
Чем лесть, чем ложь, чем лед,
Меня всех рифм беспомощность
Взяла в свое щемло.

Но странно, теми ж щемлами
Был сжат до синяков
Сок яблони, надломленной
Ярмом особняков.

1924

Мороз

Над банями дымятся трубы
И дыма белые бока
У выхода в платки и шубы
Запахивают облака.

Весь жар души дворы вложили
В сугробы, тропки и следки,
И рвутся стужи сухожилья,
И виснут виэга языки.

Лучи стругают, вихри сверлят,
И воздух, как пила, остер,
И как мороженая стерлядь
Пылка дорога, бел простор.

Коньки, поленья, елки, миги,
Огни, волненья, времена,
И в вышине струной вязиги
Загнувшаяся тишина.

1927

Когда смертельный треск сосны скрипучей

Когда смертельный треск сосны скрипучей
Всей рощей погребает перегной,
История, нерубленою пущей
Иных дерев встаешь ты предо мной.

Веками спит плетенье мелких нервов,
Но раз в столетье или два и тут
Стреляют дичь и ловят браконьеров
И с топором порубщика ведут.

Тогда, возней лозин глуша окрестность,
Над чащей начинает возникать
Служилая и страшная телесность,
Медаль и деревяшка лесника.
Трещат шаги комплекции солидной,
И озаренный лес встает от дрем,
Над ним плывет улыбка инвалида
Мясистых щек китайским фонарем.
Не радоваться нам, кричать бы на крик
Мы заревом любуемся, а он,
Он просто краской хвачен, как подагрик,
И ярок тем, что мертв, как лампион.

Мгновенный снег, когда булыжник узрен

Мгновенный снег, когда булыжник узрен,
Апрельский снег, оплошливый снежок!
Резвись и тай, – земля как пончик в пудре,
И рой огней – как лакомки ожог.
Несись с небес, лишай деревья весу,
Ерошь березы, швабрами шурша.
Ценители не смыслят ни бельмеса,
Враги уйдут, не взявши ни шиша.
Ежеминутно можно глупость ляпнуть,
Тогда прощай охулка и хвала!

А ты, а ты, бессмертная внезапность,
Еще какого выхода ждала?
Ведь вот и в этом диком снеге летом
Опять поэта оторопь и стать —
И не всего ли подлиннее в этом?
– Как знать?

Жизни ль мне хотелось слаще?

Жизни ль мне хотелось слаще?
Нет, нисколько, я хотел
Только вырваться из чащи
Полуснов и полудел.
Но откуда б взял я силы,
Если б ночью сборов мне
Целой жизни не вместило
Сновиденье в ирпене?

Никого не будет в доме,
Кроме сумерек. Один
Серый день в сквозном проеме
Незадернутых гардин.

Хлопья лягут и увидят:
Синь и солнце, тишь и гладь.
Так и нам прощенье выйдет,
Будем верить, жить и ждать.

1931

Будущее! Облака встрепанный бок

Будущее! Облака встрепанный бок!
Шапка седая! Гроза молодая!
Райское яблоко года, когда я
Буду, как бог.

Я уже пережил это. Я предал.
Я это знаю. Я это отведал.
Зоркое лето. Безоблачный зной.
Жаркие папоротники. Ни звука.
Муха не сядет. И зверь не сигнет.
Птица не порхнет – палящее лето.
Лист не шелохнет – и пальмы стеной.
Папоротники и пальмы, и это
Дерево. Это, корзины ранета
Раненной тенью вонзенное в зной,
Дерево девы и древо запрета.
Это и пальмы стеною, и "Ну-ка,

Что там, была не была, подойду-ка".

Пальмы стеною и кто-то иной,
Кто-то как сила, и жажда, и мука,
Кто-то, как хохот и холод сквозной —
По лбу и в волосы всей пятерней, —
И утюгом по лужайке – гадюка.
Синие линии пиний. Ни звука.
Папоротники и пальмы стеной.

Я понял: все живо

Я понял: все живо.
Векам не пропасть,
И жизнь без наживы —
Завидная часть.

Спасибо, спасибо
Трем тысячам лет,
В трудах без разгиба
Оставившим свет.

Спасибо предтечам,
Спасибо вождям.
Не тем же, так нечем
Отплачивать нам.
И мы по жилищам
Пойдем с фонарем
И тоже поищем,
И тоже умрем.
И новые годы,
Покинув ангар,
Рванутся под своды
Январских фанфар.
И вечно, обвалом
Врываясь извне,
Великое в малом
Отдастся во мне.
……..
Железо и порох
Заглядов вперед,
И звезды, которых
Износ не берет.

Все наклоненья и залоги

Все наклоненья и залоги
Изжеваны до одного.

Хватить бы соды от изжоги!
Так вот итог твой, мастерство?
На днях я вышел книгой в Праге.
Она меня перенесла
В те дни, когда с заказом на дом
От зарев, догоравших рядом,
Я верил на слово бумаге,
Облитой лампой ремесла.
Бывало, снег несет вкрутую,
Что только в голову придет.
Я сумраком его грунтую
Свой дом, и холст, и обиход.
Всю зиму пишет он этюды,
И у прохожих на виду
Я их переношу оттуда,
Таю, копирую, краду.

Казалось альфой и омегой —
Мы с жизнью на один покрой;
И круглый год, в снегу, без снега,
Она жила, как alter ego,[18]
И я назвал ее сестрой.

Землею был так полон взор мой,
Что зацветал, как куослеп
С сурепкой мелкой неврасцеп,
И пил корнями жженый, черный
Цикорный сок густого дерна,
И только это было формой,
И это – лепкою судеб.

Как вдруг – издание из Праги.
Как будто реки и овраги
Задумали на полчаса
Наведаться из грек в варяги,
В свои былые адреса.

С тех пор все изменилось в корне.
Мир стал невиданно широк.
Так революции ль порок,
Что я, с годами все покорней,
Твержу, не знаю чей, урок?

Откуда это? Что за притча,
Что пепел рухнувших планет
Родит скрипичные капричьо?
Талантов много, духу нет.

Поэт, не принимай на веру

---

[18] другое «я», двойник (лат.)

Примеров дантов и торкват.
Искусство – дерзость глазомера,
Влеченье, сила и захват.

Тебя пилили на поленья
В года, когда в огне невзгод
В золе народонаселенья
Оплавилось ядро: народ.

Он для тебя вода и воздух,
Он – прежний лютик луговой,
Копной черемух белогроздых
До облак взмывший головой.

Не выставляй ему отметок.
Растроганности грош цена.
Грозой пади в объятья веток,
Дождем обдай его до дна.

Не умиляйся, – не подтянем.
Сгинь без вести, вернись без сил,
И по репьям и по плутаньям
Поймем, кого ты посетил.
Твое творение не орден:
Награды назначает власть.
А ты – тоски пеньковой гордень,
Паренья парусная снасть.

Правда

Чего бы вздорного кругом
Вражда ни говорила,
Ни в чем не меряйся с врагом,
Тебе он не мерило.
Ни с кем соперничества нет.
У нас не поединок.
Полмиру затмевает свет
Несметный вихрь песчинок.
Пусть тучи пыли до небес,
Ты высишься над прахом.
Вся суть твоя – противовес
Коричневым рубахам.
Ты взял над всякой спесью верх
С того большого часа,
Как истуканов ниспроверг
И вечностью запасся.
Пусть у врага винты, болты,
И медь, и алюминий.
Твоей великой правоты
Нет у него в помине.

1941

1917 – 1942

Заколдованное число!
Ты со мной при любой перемене.
Ты свершило свой круг и пришло.
Я не верил в твое возвращенье.
Как тогда, четверть века назад,
На заре молодых вероятий,
Золотишь ты мой ранний закат
Светом тех же великих начатий.
Ты справляешь свое торжество,
И опять, двадцатипятилетье,
Для тебя мне не жаль ничего,
Как на памятном первом рассвете.

Мне не жалко незрелых работ,
И опять этим утром осенним
Я оцениваю твой приход
По готовности к свежим лишеньям.

Предо мною твоя правота.
Ты ни в чем предо мной неповинно,
И война с духом тьмы неспроста
Омрачает твою годовщину.

6 ноября 1942

Спешные строки

Чувствовалась близость фронта.
Разговор катюш
Заносило с горизонта
В тыловую глушь.

И когда гряда позиций
Отошла к орлу,
Все задвигалось в столице
И ее тылу.

Помню в поездах мороку,
Толчею подвод,
Осень отводил к востоку
Сорок первый год.

Помнится искус бомбежек,
Хриплый вой сирен,
Щеткою торчавший ежик

Улиц, крыш и стен.

Тротуар под небоскребом
В страшной глубине
Мертвым островом за гробом
Представлялся мне.

И когда от бомбы в небо
Кинуло труху,
Я и Анатолий Глебов
Были наверху.

Чем я вознесен сегодня
До семи небес,
Точно вновь из преисподней
Я на крышу влез?

Я сейчас спущусь к жилицам,
Объявлю отбой,
Проведу рукой по лицам,
Пьяный и слепой.

Я скажу: долой суровость!
Белую на стол!
Сногсшибательная новость:
Возвращен орел.
Я великолепно помню
День, когда он сдан.
Было жарко, словно в домне,
И с утра – туман.
И с утра пошло катиться,
Побежало вширь:
Отдан город, город – птица,
Город – богатырь.
Но тревога миновала.
Он освобожден.
Поднимайтесь из подвала,
Выходите вон!
Слава павшим. Слава строем
Проходящим вслед.
Слава вечная героям
И творцам побед!

7 августа 1943

Зарево <начало поэмы>

Вступление

1

Нас время балует победами,
И вещи каждую минуту
Все сказочнее и неведомей
В зеленом зареве салюта.
Все смотрят, как ракета, падая,
Ударится о мостовую,
За холостою канонадою
Припоминая боевую.
На улице светло, как в храмине,
И вид ее неузнаваем.
Мы от толпы в ракетном пламени
Горящих глаз не отрываем.

2

В пути из армии, нечаянно
На это зарево наехав,
Встречает кто-нибудь окраину
В блистании своих успехов.

Он сходит у опушки рощицы,
Где в черном кружеве, узорясь,
Ночное зарево полощется
Сквозь веток реденькую прорезь.

И он сухой листвою шествует
На пункт поверочно-контрольный
Узнать, какую новость чествуют
Зарницами первопрестольной.

Там называют операцию,
Которой он и сам участник,
И он столбом иллюминации
Пленяется, как третьеклассник.

3

И вдруг его машина портится.
Опять с педалями нет сладу.
Ругаясь, как казак на хортице,
Он ходит, чтоб унять досаду.

И он отходит к ветлам, стелющим
Вдоль по лугу холсты тумана,
И остается перед зрелищем,
Прикованный красой нежданной.

Болотной непроглядной гущею

Чернеют заросли заречья,
И город, яркий, как грядущее,
Вздымается из тьмы навстречу.

4

Он думает: "Я в нем изведаю,
Что и не снилось мне доселе,
Что я купил в крови победою
И видел в смотровые щели.

Мы на словах не остановимся,
Но, точно в сновиденьи вещем,
Еще привольнее отстроимся
И лучше прежнего заблещем".

Пока мечтами горделивыми
Он залетает в край бессонный,
Его протяжно, с перерывами
Зовет с дороги рев клаксона.

Глава первая

1

В искатели благополучия
Писатель в старину не метил.
Его герой болел падучею,
Горел и был страданьем светел.

Мне думается, не прикрашивай
Мы самых безобидных мыслей,
Писали б, с позволенья вашего,
И мы, как Хемингуэй и Пристли.
Я тьму бумаги перепачкаю
И пропасть краски перемажу,
Покамест доберусь раскачкою
До истинного персонажа.
Зато без всякой аллегории
Он – зарево в моем заглавьи,
Стрелок, как в песнях Черногории,
И служит в младшем комсоставе.

2

Все было громко, неожиданно,
И спор горяч и чувства пылки,
И все замолкло, все раскидано.
Супруги спят. Блестят бутылки.
С ней вышел кто-то в куртке хромовой.
Она смутилась: "ты, Володя?
Я только выпущу знакомого".
– «А дети где?» – "На огороде.
Я их тащу домой, – противятся".
– «Кого ты это принимала?»
– "Делец. Приятель сослуживицы.
Достал мне соды и крахмалу.
Да, подвигам твоим пред родиной
Здесь все наперечет дивятся.
Все говорят: звезда володина
Уже не будет затмеваться.
Особенно с губою заячьей
Пристал как банный лист поганый:
– Вы заживете припеваючи…"
– «Повесь мне полотенце в ванну».

3

Ничем душа не озадачена
Его дражайшей половины.
Набит нехитрой всякой всячиной,
Как прежде, ум ее невинный.
Обыкновенно напомадится,
Табак, цыганщина и гости.
Как лямка, тяжкая нескладица,
И дети бедные в коросте.

А он не вор и не пропоица,
Был ранен, захватил трофеи…
И он, раздевшись, жадно моется
И мылит голову и шею.

4

Ах это своеволье Катино!
Когда ни вспомнишь, перепалка
Из-за какой-нибудь пошлятины.
Уйти – детей несчастных жалко.

Детей несчастных и племянницу.
Остаться – обстановка давит.
Но если с ней он и расстанется,
Детей в беде он не оставит.

Людей переродило порохом,
Дерзанием, смертельным риском.
Он стал чужой мышиным шорохам
И треснувшим горшкам и мискам.

Как он изменит жизни воина,
Бесстрашью братии бродячей,
Лесам, стоянке неустроенной,
Боям, поступкам наудачу!

А горизонты с перспективами!
А новизна народной роли!
А вдаль летящее прорывами
И победившее раздолье!

А час, пробивший пред неметчиной,
И внятно – за морем и дома
Всем человечеством замеченный
Час векового перелома!

Ай время! Ай да мы! Подите-ка,
Считали: рохли, разгильдяи.
Да это ж сон, а не политика!
Вот вам и рохли. Поздравляю.

Большое море взбаламучено!
И видя, что белье закапал,
Он все не попадает в брючину
И, крякнув, ставит ногу на пол.

5

"Дай мне уснуть. Не разговаривай.
Нельзя ли, право, понормальней".
Он видит сон. Лесное зарево
С горы заглядывает в спальню.

Он спит, и зубы сжаты в скрежете.
Он стонет. У него диалог
С какой-то придорожной нежитью.
Его двойник смешон и жалок.
"Вам не до нас, такому соколу.
В честь вас пускают фейерверки.
Хоть я все время терся около,
Нас не видать, мы недомерки.
Нет этих мест непроходимее.
Я в город с погребенья тети,
Но малость нагрузился химией.
Нам по пути. Не подвезете?

Над рощей буквы трехаршинные
Зовут к далеким идеалам.
Вам что, вы со своей машиною,
А пехтурою, пешедралом?
За полосатой перекладиной,
Где предъявляются бумаги,
Прогалина и дачка дядина.
Свой огород, грибы в овраге.
Мой дядя жертва беззакония,
Как все порядочные люди.
В лесу их целая колония,
А в чем ошибка правосудия?
У нас ни ведер, ни учебников,
А плохи прачки, педагоги.
С нас спрашивают, как с волшебников,
А разве служащие – боги?"
– "Да, боги, боги, слякоть клейкая,
Да, либо боги, либо плесень.
Не пользуйся своей лазейкою,
Не пой мне больше старых песен.
Нытьем меня своим пресытили,
Ужасное однообразье.
Пройди при жизни в победители
И волю ей диктуй в приказе.
Вертясь, как бес перед заутреней,
Перед душою сердобольной,
Ты подменял мой голос внутренний.
Я больше не хочу. Довольно".

6

"Володя, ты покрыт испариной.
Ты стонешь. У тебя удушье?"
– "Во сне мне новое подарено,
И это к лучшему, Катюша.

Давай не будем больше ссориться.
И вспомним, если в стенах этих
Оно когда-нибудь повторится,
О нашем будущем и детях".

Из кухни вид. Оконце узкое
За занавескою в оборках,
И ходики, и утро русское
На русских городских задворках.

И золотая червоточина
На листьях осени горбатой,
И угол, бомбой развороченный,
Где лазали его ребята.

Октябрь 1943

Памяти Марины Цветаевой

Хмуро тянется день непогожий.
Безутешно струятся ручьи
По крыльцу перед дверью прихожей
И в открытые окна мои.

За оградою вдоль по дороге
Затопляет общественный сад.
Развалившись, как звери в берлоге,
Облака в беспорядке лежат.

Мне в ненастье мерещится книга
О земле и ее красоте.
Я рисую лесную шишигу
Для тебя на заглавном листе.

Ах, марина, давно уже время,
Да и труд не такой уж ахти,
Твой заброшенный прах в реквиеме
Из Елабуги перенести.

Торжество твоего переноса
Я задумывал в прошлом году
Над снегами пустынного плеса,
Где зимуют баркасы во льду.

– —

Мне так же трудно до сих пор
Вообразить тебя умершей,
Как скопидомкой мильонершей
Средь голодающих сестер.

Что делать мне тебе в угоду?
Дай как-нибудь об этом весть.
В молчаньи твоего ухода
Упрек невысказанный есть.

Всегда загадочны утраты.
В бесплодных розысках в ответ
Я мучаюсь без результата:
У смерти очертаний нет.
Тут все – полуслова и тени,
Обмолвки и самообман,
И только верой в воскресенье

Какой-то указатель дан.
Зима – как пышные поминки:
Наружу выйти из жилья,
Прибавить к сумеркам коринки,
Облить вином – вот и кутья.
Пред домом яблоня в сугробе,
И город в снежной пелене —
Твое огромное надгробье,
Как целый год казалось мне.
Лицом повернутая к богу,
Ты тянешься к нему с земли,
Как в дни, когда тебе итога
Еще на ней не подвели.

1943

Одесса

Земля смотрела именинницей
И все ждала неделю эту,
Когда к ней избавитель кинется
Под сумерки или к рассвету.
Прибой рычал свою невнятицу
У каменистого отвеса,
Как вдруг все слышат, сверху катится:
«Одесса занята, Одесса».
По улицам, давно не езженным,
Несется русский гул веселый.
Сапер занялся обезвреженьем
Подъездов и домов от тола.
Идет пехота, входит конница,
Гремят тачанки и телеги.
В беседах время к ночи клонится,
И нет конца им на ночлеге.
А рядом в яме череп скалится,
Раскинулся пустырь безмерный.
Здесь дикаря гуляла палица,
Прошелся человек пещерный.

Пустыми черепа глазницами
Глядят головки иммортелей
И населяют воздух лицами,
Расстрелянными в том апреле.

Зло будет отмщено, наказано,
А родственникам жертв и вдовам
Мы горе облегчить обязаны
Еще каким-то новым словом.

Клянемся им всем русским гением,
Что мученикам и героям

Победы одухотворением
Мы вечный памятник построим.

1944

Бессонница

Который час? Темно. Наверно, третий.
Опять мне, видно, глаз сомкнуть не суждено.
Пастух в поселке щелкнет плетью на рассвете.
Потянет холодом в окно,
Которое во двор обращено.
А я один.
Неправда, ты
Всей белизны своей сквозной волной
Со мной.

1953

Под открытым небом

Вытянись вся в длину,
Во весь рост
На полевом стану
В обществе звезд.

Незыблем их порядок.
Извечен ход времен.
Да будет так же сладок
И нерушим твой сон.

Мирами правит жалость,
Любовью внушена
Вселенной небывалость
И жизни новизна.

У женщины в ладони,
У девушки в горсти
Рождений и агоний
Начала и пути.

1953

Нежность

Ослепляя блеском,
Вечерело в семь.
С улиц к занавескам
Подступала темь.

Люди – манекены,
Только страсть с тоской
Водит по вселенной
Шарящей рукой.
Сердце под ладонью
Дрожью выдает
Бегство и погоню,
Трепет и полет.
Чувству на свободе
Вольно налегке,
Точно рвет поводья
Лошадь в мундштуке.

Актриса

Анастасии Платоновне Зуевой

Прошу простить. Я сожалею.
Я не смогу. Я не приду.
Но мысленно – на юбилее,
В оставленном седьмом ряду.
Стою и радуюсь, и плачу,
И подходящих слов ищу,
Кричу любые наудачу,
И без конца рукоплещу.
Смягчается времен суровость,
Теряют новизну слова.
Талант – единственная новость,
Которая всегда нова.
Меняются репертуары,
Стареет жизни ералаш.
Нельзя привыкнуть только к дару,
Когда он так велик, как ваш.
Он опрокинул все расчеты
И молодеет с каждым днем,
Есть сверхъестественное что-то
И что-то колдовское в нем.
Для вас в мечтах писал Островский
И вас предвосхищал в ролях,
Для вас воздвиг свой мир московский
Доносчиц, приживалок, свах.

Движеньем кисти и предплечья,
Ужимкой, речью нараспев
Воскрешено Замоскворечье
Святых и грешниц, старых дев.

Вы – подлинность, вы – обаянье,
Вы вдохновение само.
Об этом всем на расстояньи

Пусть скажет вам мое письмо.

22 февраля 1957

В разгаре хлебная уборка

В разгаре хлебная уборка,
А урожай – как никогда.
Гласит недаром поговорка:
Берут навалом города.

Как в океане небывалом,
В загаре и пыли до лба,
Штурвальщица крутым увалом
Уходит на версты в хлеба.

Людей и при царе горохе,
Когда владычествовал цеп,
Везде, всегда, во все эпохи
К авралу звал поспевший хлеб.

Толпились в поле и соломе,
Тонули в гаме голоса.
Локомобили экономий
Плевались дымом в небеса.

Без слов, без шуток, без ухмылок,
Батрачкам наперегонки,
Снопы к отверстьям молотилок
Подбрасывали батраки.

Всех вместе сталкивала спешка,
Но и в разгаре молотьбы
Мужчина оставался пешкой,
А женщина – рабой судьбы.

Теперь такая же горячка, —
Цена ее не такова,
И та, что встарь была батрачкой,
Себе и делу голова.

Не может скрыть сердечной тайны
Душа штурвальщицы такой.
Ее мечтанья стук комбайна
Выбалтывает за рекой.

Выбалтывает за рек когда владычествовал цеп,
Везде, всегда, во все эпохи
К авралу звал поспевший хлеб.

Толпились в поле и соломе,

Тонули в гаме голоса.
Локомобили экономий
Плевались дымом в небеса.

Без слов, без шуток, без ухмылок,
Батрачкам наперегонки,
Снопы к отверстьям молотилок
Подбрасывали батраки.

Всех вместе сталкивала спешка,
Но и в разгаре молотьбы
Мужчина оставался пешкой,
А женщина – рабой судьбы.

Теперь такая же горячка, —
Цена ее не такова,
И та, что встарь была батрачкой,
Себе и делу голова.

Не может скрыть сердечной тайны
Душа штурвальщицы такой.
Ее мечтанья стук комбайна
Выбалтывает за рекой.

И суть не в красноречьи чисел,
А в том, что человек окреп.
Тот, кто от хлеба так зависел,
Стал сам царем своих судеб.
Везде, повсюду, в Брянске, в Канске,
В степях, в копях, в домах, в умах —
Какой во всем простор гигантский!
Какая ширь! Какой размах!